Ангара



Л. КРАСОВСКИЙ
В. ГУСЕНКОВ
Б. ЛЕВАНТОВСКАЯ
Б. ЛАПИН
Б. ЛЕБЕДИНСКИЙ

4

1966



Ангара

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО И ЧИТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

4(73) 1966

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1966

СОДЕРЖАНИЕ

На 2—3-й страницах обложки фото Б. Дмитриева

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР. Телефон 56-76.

ЛЕОНИД КРАСОВСКИЙ

ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

ПОВЕСТЬ

1

Даже не верится, что война уже у Карпат, и мы возвращаемся домой. Кажется, мы снова снимаемся с места, чтобы еще дальше уйти от страшных черных кустов, которыми вырастали бомбовые взрывы. Война осточертела, но и стала привычной. Не верится, что жизнь может быть иной, будет иной. Ведь четыре года! Для меня — особенных года: именно в это время я стал почти взрослым и все, что было до войны, осталось в далеком детстве.

Но все же мы уезжаем домой, на Украину. Мы покидаем алтайский город. Прощаемся со знакомыми и теми родными, которые оставались на этой земле. Они не дожили.

Не верится... Еще и вот почему: наши сборы на станции очень уж походили на то, как мы уезжали в сорок первом. Только как-то все наоборот. То же, а наоборот. В эшелоне единственная теплушка с закутком для людей, остальное — платформы со станками. Вот это только, пожалуй, было так же в сорок первом. И все же не так. Станки теперь в ящиках, высоких и длинных.

Мы собрались в дорогу за два дня. Нас торопили: освобожденным районам нужна техника. Когда мы погрузили свой небогатый скарб, железнодорожник ткнул пальцем в сторону моего отца:

— Вы тут вроде старший. На вас надеюсь. Прошу помнить, что если в дороге пропадет хоть одна деталь с какого станка — там,— кивок через плечо,— станок без детали совсем не понадобится. Немцы запасные части не оставляли. Так что поимейте совесть, не трогайте.

В сорок первом мы тоже торопились. Погрузили кто что успел взять. А потом целый день ждали отправления на подъездной ветке завода.

На платформах стояли станки. Ничем не укрытые, только проволокой прикрученные к бортам.

Город был тихим и громким. Тихим потому, что остающиеся люди ждали с минуты на минуту прихода немцев и забились в свои квартиры. Громким он был от бесконечных взрывов: в воздух взлетало все, что могло служить врагу. Заводы, шахты, дороги.

Пожилой мужчина с сединой на висках и винтовкой за плечами, обращаясь сразу ко всем, тихо сказал:

— Хоть по гайке разберите... Если что, хоть по гайке с этих станков снимите. И все. И в лес. Сюда не вертайтесь. Тут будет жарко.

Паровоз давно прицепили к нашему эшелону, но мы все стояли.

— Мени шо,— говорил машинист, когда ему надоедали нетерпеливыми вопросами.— Скажуть — поедем. Мабуть, где-то дорогу разбомбило.

Потом мы немного забыли о своем нетерпении. Отвлек Павло, мой сосед. Он сбегал на почту и притащил радиоприемник.

— Мой же!— кричал он, снимая с плеча огромный ящик.— Сам его делал, Берлин брал, а его отобрали. Хе, вот он!

Ящик стоял на полу товарного вагона. Павло повертел белые ручки, снял заднюю крышку. И сел рядом с ящиком.

— Холера!— удивился он.— Брюхо целое, а в нем — мусор.

Он отошел немного от ящика и спихнул его ногой на землю. Всем было смешно, но смеялись тихо. Как-то боялись шума, хотя вокруг так гремело, что небу и земле было тошно.

К нашему вагону, единственному вагону с людьми в эшелоне, подошел мужчина в толстых очках, с крючковатым носом. Рядом с ним шли женщина, повязанная цветастым платком, и девочка лет пяти. Мужчина остановился перед нашей широко распахнутой дверью.

— Товарищи, — он умоляюще приложил руки к груди. — Только на вас надежда. Возьмите нас. Видите,— он протянул руку к женщине и девочке,— как есть, ничего с собой не взяли, все бросили. Пусть Гитлер нашим добром подавится, но быть под ним не хочу. Возьмите.

Все, кто был в вагоне, робко переглянулись. Знали приказ: посторонних не брать. Все молчали. Один Павло, к моему восхищению, смело вступил в разговор с мужчиной в очках.

— Значит, боитесь Гитлера? — сказал он голосом, не остывшим еще после конфуза с приемником.

— Разве дело в боязни,— несмело ответил мужчина.— Ведь фашисты...

— Конечно, фашисты.— Павло притворно вздохнул.

Наверное, в другой раз каждый сказал бы: «Нет, нельзя брать посторонних». Но всем стало неловко после слов Павла — и все молчали. Еще и потому молчали, что Павло уже протянул руку и помог мужчине, женщине и девочке забраться в вагон.

Павлу в сорок первом стукнуло восемнадцать. Он был атаманом на нашей улице. Его слушались даже взрослые. Почему? Тогда мне было всего четырнадцать, и я над этим не задумывался. А сейчас мне все ясно. Первые месяцы войны — было такое время, когда самое малое, но твердое решение казалось и самым правильным. Очень трудно это было — принять твердое решение. Оно обязывало ко многому. И многие боялись решать. А уж если находился такой человек— ему доверяли во всем.

Павло не боялся ответственности. Он на свой страх и риск приютил беглую семью. Он распределил места на двухэтажных нарах в вагоне. Он больше всех надоедал машинисту, и он же сообщил самую радостную новость: через полчаса отправка. Он на одной из ночных станций разговаривал по телефону с немецким офицером и потом с небрежной улыбкой передал его слова: «Ты, русский свинья, пробежал у меня под носом. Но я догоню твой экспресс».

Наш «экспресс» двигался с черепашьей скоростью, но из немецкого «кольца» мы выскользнули. Мы не видели ни одного встречного поезда. Да и куда ему было идти, встречному?

— Все же — сила, — задумчиво сказал как-то Павло,— сколько народу у нас — устоять не можем.

— А ты почему не на фронте?— это меня удивляло, мне самому хотелось двигаться не на восток, а в обратном направлении.

Павло щелкнул меня по носу и объяснил:

— Кто железо добудет для винтовок и снарядов? Шахтер. Как я. Понятно? У меня — броня. Знаешь, что такое броня? Непробиваемая штука.

Не такой уж она была «непробиваемой», но это я понял позже...

И вот мы снова едем обратно. Все, кого связала война в один узел, кому в сорок первом удалось выскользнуть из «кольца». Люди вроде те же, а все же не те. На каждом война борозды оставила. И на душе, и на лице. Все молчим. Видно, не только мне не верится в то, что домой возвращаемся. Вещи на жесткие нары побросали как попало, будто ехать час, не месяц. Скоро стемнеет, а постели никто не устраивает. Двери приоткрыты, и четыре металлические задвижки на оконцах свободно побрякивают о стены вагона. Я сижу наверху, у одного из этих окошек, смотрю на расплывающиеся вдали в июльской дымке трубы полиметаллического комбината, на горы, горящие лилово-розовыми кострами цветущего шиповника. Это уже не забыть: детства больше не будет.

2

Эшелон идет неторопливо, укачивает. Пришли сумерки, и немного спала духота. Хочется есть, но я знаю, что сегодняшний паек уже съеден. Во сне мне тоже немного хочется есть. И, как это бывало, я очень боюсь проснуться: тогда голод просыпается тоже. И все же я просыпаюсь среди ночи. Не знаю от чего. Видно, кто-то неосторожно тронул гитару. Она долго еще гудит и всхлипывает, когда вагон подрагивает на стыках. Ее тоже разбудили. Это гитара Павла.

Теперь я лежу с открытыми глазами, смотрю на неясные тени, прыгающие иногда из окна на потолок.

На другой половине вагона побрякивают ящики. В них какие-то детали. Рядом слышится тяжелый усталый храп отца. Устал отец. За четыре года первый отпуск получил. Подо мной, на нижних нарах, кто-то всхлипывает. Кажется, Тамара. Во сне обижают. Мне всегда хочется разбудить человека, ко-

торый плачет во сне или кричит. Это же значит избавить его от какой-то неприятности.

Снова всхлипывает Тамара. Отец перестал храпеть, и я слышу, как мужчина внизу забормотал что-то невнятное. Это Павло. У стены, где я лежу, нары подогнаны не плотно. Сквозь щель я слышу голос Павла, но не могу разобрать слов. Будто он говорит, уткнувшись лицом в подушку.

Мама говорит, что в первые годы я часто кричал во сне: «Летят, ховайтесь!» А еще чаще: «Батько, встань! Встань, они уже не летят!»

Тамара всхлипывает. Павло шепчет. Тамара заговорила тоже. Видно, разбудил ее, чтобы прогнать страшный сон.

Наши нары скрипнули, зашевелился отец. Чувствую, что он осторожно спускается вниз.

— Павло,— слышу его глухой голос.—Иди покурим.

На нижних нарах гуднула и смолкла прижатая быстрой рукой гитара.

— Иди сюда,— голос отца.

Чиркнула спичка. Я приподнимаюсь на локте, вижу внизу отца и Павла. Они закурили. Отец делает долгую трескучую затяжку, наклоняется к Павлу и что-то шепчет. Быстро и, как мне показалось, сердито. Разобрать слов не могу. Павло молчит. Отец еще раз затягивается, растаптывает самокрутку и лезет на свое место. Огонек Павла долго еще вспыхивает в темноте. Потом гаснет и он. Нижние нары скрипнули. Еще раз гуднула и захлебнулась гитара.

В ту ночь больше никто не всхлипывает. Никто не шепчет. Мне долго не спится. Не могу никак догадаться, о чем отец говорил с Павлом. Да еще так вот, тайно. Никогда у них не было никаких дел. Павло и его мать приходились нам дальними родственниками, но об этом никто никогда и не вспоминает.

Эшелон остановился прямо на перегоне. Не видно ни станции, ни будки стрелочника. С одной стороны к насыпи подходит крутая гора, заросшая малиной. С другой ее подпирает небольшое озерко. Только что проснувшиеся, мы обрадовались воде, сыпанули из вагона. Я спрыгиваю со своей верхотуры, чтобы кинуться вслед за всеми, и вижу Тамару. Она сидит на нарах, прислонившись плечом к стене.

— Бежим!— я хватаю ее за руку.

— А?— она вздрагивает от неожиданности.

— Бежим умываться.

— Да, да.

Вода в озерке теплая и скользкая, но все же это вода.

— Хорошо бы,— болтаю я, отфыркиваясь,— каждое утро вот так. Просыпаемся мы, а тут, пожалуйста, водичка. Завтрак бы еще на подносе. Ножка куриная в чашечке дымится.

— Хорошо бы,— тихо соглашается Тамара. Она умылась нехотя и теперь, сидя на корточках, переливает воду из пригоршни в пригоршню. Потом, глянув на меня вверх, добавляет:— А ты фырчишь совсем как взрослый.

Непонятно было, смеется она или нет, но моего болтливого настроения как не бывало. Напоминание о моем возрасте всегда злит. Вытерев лицо рукавом сатиновой сорочки, я провожу пятерней по своим белым вихрам и, собравшись с мыслями, отвечаю:

— Мне скоро будет восемнадцать. Значит, взрослый.

— Да ты не сердись,— она встает, протягивает ко мне руку, словно хочет погладить, как маленького.

— А что младше тебя,— продолжаю я, отступая на шаг,— так тебе же лучше. Не влюблюсь, другого любить не помешаю.

— Что?— ее рука останавливается на весу, в черных глазах мелькает испуг, смуглые щеки бледнеют.— Что ты городишь!

— Что слышала.

Я бегу к эшелону.

Обида и злость распирают меня. Еще немного и выдавят слезы. Ну нет, этому не бывать. Залезу на нары и буду читать хоть целый день. Пусть знает.

Хорошо, что все на озере, никто не увидит меня.

Но на озере были не все. Подбежав к вагону, я слышу голоса. Отец и Павло. Вспомнив их ночной разговор, останавливаюсь, прислушиваюсь.

— Дядя Степан,— почти нараспев, успокаивающе говорит Павло.—Вы не были на фронте и это очень заметно. Знаете, сколько там этих самых баб того... Жуть! А в основном по милости оккупантов. Так можем ли мы жалеть любви женской для советского человека? А?

— Любви!— зло ворчит отец.— Разве ж это любовь? Только отъехали, в первую ночь полез к девчонке, как кобель.

— Ах, вот вы о чем! Какая же она девчонка! Давно уж вроде как жена мне.

— Жена!— отец кряхтит, видимо, ошарашенный словами Павла.— Пойми ты, парень, одна она. На всю жизнь обижена. Ей ласка нужна, а если еще и свои обидят — как жить? В кого верить? А ты: «вроде».

Павло устало вздыхает.

— Хватит об этом. Люблю я ее, дядя Степан. Обижать не собираюсь.

— А она тебя любит? Может, потянулась к теплу, а ты рад.

— Говорит, что любит.

— Ну смотри. Только будь человеком, не обижай Тамару.

Тамару? Так вот о ком они говорят!

— Чем дома думаешь заниматься?— снова говорит отец.

Павло не торопится отвечать. Снова вздыхает.

— Дома!.. А где он — дом?

— Как это где?

— Э, нет, не то.

— Зачем же едешь?

— Не еду,— Павло тихо смеется.— Везу. Старуха моя постановила: хочу умереть на своей земле. Ну и будет ей своя. Разве Донбасс не наша, украинская? А мне работа там найдется. Шахты новые строить буду... Так что вам направо, а нам — налево.

— Ну, как знаешь...

В вагоне зашевелились. Я ныряю под него, на другую сторону насыпи. Оттуда смотрю, как отец и Павло спускаются на землю по деревянной лесенке, идут к озерку. Павло припадает на левую, раненую ногу. Отец широко размахивает правой рукой и сдерживает левую — раненую. Они еще о чем-то говорят.

Через минуту я лежу на своих нарах и рву зубами подушку.

«Несчастный брехун,— говорю я себе,— ты брехал Тамаре, что не влюбишься в нее, а сам давно влюбился.

Несчастный трус, до сих пор ты не мог сказать ей об этом. И дождался, что тебя опередил другой. Ты, глупый пацан, не мог сказать из-за сухарей. Ох, эти сухари, спасибо им и будь они неладны!»

С Тамарой я познакомился зимой на воскреснике. Наша школа грузила на платформы отливки снарядов. Из штабеля мы брали по одной шершавой болванке и гуськом по широкому трапу забирались на платформу. Там болванки снова укладывали в штабель.

Пожилая математичка Надежда Петровна была у нас за старшего. Она сама грузила и следила за нами: чтобы никто не брал больше одной отливки. Они были небольшого калибра, не такие уж тяжелые, но нам, тощим от постоянного недоедания, хватало и по одной. И то каждые десять — пятнадцать минут слышался простуженный голос Надежды Петровны:

— Дети, отдых!

И мы были рады отдыху.

Мы загрузили больше половины платформы, когда возле штабеля что-то произошло. Вскрикнула какая-то девчонка, за ней вторая. Все кинулись туда, я тоже. Протиснулся к штабелю. Вижу, девчонка-десятиклассница сидит на снарядах. Голову назад откинула, глаза закрыты. Черная коса выбилась из-под платка, обвилась вокруг снаряда. Рука одна обвисла, вторая за снаряд хватается, будто помощи у него просит.

Мы не суетились, не охали. Мы знали, что это такое: голодный обморок. Надежда Петровна молча пузырек из кармана вынула, дала понюхать девчонке. А когда та глаза открыла, сказала ровным голосом:

— Домой, Васильева. Отправляйтесь домой. Вас кто-нибудь проводит. Кто рядом живет?

Рядом жил я. В одном доме. Иногда встречал эту ленинградку в нашем дворе и в школе, но никогда не разговаривал с ней. Знал, что она живет с больной матерью.

— Кто проводит Тамару?— спросила Надежда Петровна.

— Он живет с ней в одном доме,— это сказал, показывая на меня, мой одноклассник.— Иди, Витя.

— Не!— мотнул я головой.— Пускай девчонки.

— Идите, — строго сказала Надежда Петровна.— Девочка может не справиться. Вот, возьмите этот флакончик.

Мы шли с Тамарой под руку, и мои уши горели от стыда. Когда навстречу попадались люди, я останавливался и совал ей под нос пузырек.

— Может, тебе плохо?— все знали, что такое пузырек с нашатырным спиртом.

— Нет, мне уже лучше,— отвечала она прерывающимся голосом.— Пойдем дальше.

Во дворе нашего дома я отпустил ее руку еще раз.

— Может, ты уже сама пойдешь?

— Пойду,— согласилась Тамара и посмотрела на меня своими большими черными глазами так жалобно, что я не вытерпел.

— Знаешь,— говорю,— айда к нам. Ты не бойся, дома никого нет. У нас тепло. Ты не бойся...

— Хорошо,— ни секунды не колеблясь, ответила она.

У нас было тепло лишь по сравнению с улицей. Поэтому мы не сняли пальто. Так и уселись у электрической печки. Долго молчали.

— Витя,— заговорила она,— я уже согрелась. Поставь чайник на плитку. Кипяточку...

Меня словно подбросило. Быстро налил воды в чайник, поставил его на плитку. Неожиданная жалость захлестнула меня. Неожиданная потому, что то время было таким: если всех жалеть, кто нуждался в жалости, то жалеть было бы некому. В книжках я не раз читал, что жалость унижает человека. Не всегда, по-моему. Ты сволочь, если жалеешь человека вместо того, чтобы помочь ему. Ну, а если помочь нечем?

Крышка чайника заплясала и я разлил кипяток по кружкам. Пили без заварки. Где ее взять? Моя мать на последние деньги купила у спекулянтки плитку чая и выменяла за нее у казахов валенки. Для меня.

Хотелось расшевелить Тамару, развеселить.

— Шай кирпишный, вода иртышный,— вспомнил я дразнилку.— Пей вода, ешь вода — не помрешь никогда.

Тамара улыбнулась.

— А знаешь, Витя, говорят, что казахи пьют чай с солью.

— Слыхал. Попробуем?

— Ага.

Сыпанули в кружки по ложке соли, размешали, попробовали.

— Ничего, лучше, чем пустой кипяток,— сказал я, хотя мои скулы чуть-чуть повело.

— Ничего,— согласилась Тамара.

Поняв друг друга, мы рассмеялись.

Эх, подумал я, съесть бы сейчас что-нибудь! Картошка кончилась, хлебные карточки у матери.

Совсем не надеясь что-нибудь найти, я все же пошарился в буфете, заглянул даже наверх, где лежал всякий хлам. И там нашел стеклянную банку, закрытую тряпкой. Обыкновенную банку. Необыкновенным было то, что я увидел сквозь стекло. Что-то хлебное. Спрыгнув на пол, я развязал тряпку. Сухари! Нет, не поджаристые ломти. Почти крошки, но все же сухари.

Насыпав горсть, я протянул Тамаре.

— На возьми. С чаем хорошо.

Она отшатнулась.

— Что ты, Витя! Разве можно. Это же мать, наверное, твоему братишке бережет.

Моя рука дрогнула. Как я мог забыть? Действительно, наверное, мать для Коли по крошке насобирала эту банку.

— Возьми!— повторил я все же, вспомнив вдруг, что могу оправдать свой поступок. — Не бойся, со своей пайки добавлю.

Она покачала головой, прикрыв глаза, блеснувшие голодной усталостью.

— Не надо.

— Не возьмешь? Хочешь, выброшу тогда в таз.

Она подалась вперед, посмотрела на меня испуганно.

— Что?— ее рука потянулась к моей.— Хорошо, половину мне, половину тебе. Остальное убери.

Я высыпал в ее горсть почти все.

Теперь чай с солью был по-настоящему вкусным. Мы пили его, улыбались друг другу, как заговорщики.

Она съела не все свои сухари. Половину завернула в платочек.

— Это я тете отнесу. Хорошо?

— Какой тете?— не понял я.

— С которой живу.

— Разве она тебе не мать?

Она грустно улыбнулась, помолчала. Совсем по-старушечьи, со скорбным видом развязала платок и положила его на колени. Спросила вдруг:

— Ты не пробовал оладьи из горчицы?

— Нет.

— Вкусные. В Ленинграде, в блокаду, ели. А жаркое из кожаного кресла?

— Нет.

— Вкусное... А когда все съели, мы пошли к нашим. Кто-то папе сказал, что наши прорвались. Мы и пошли. А прорвались немцы. Папа нашел по дороге винтовку. Гордый был такой: «С оружием к своим иду». А когда увидел немцев, стал стрелять. Ну, они из пулемета. И папу, и маму, и меня. Да вот, видишь, я-то жива. Подобрала меня вот эта самая тетя. Не родная она мне совсем... Что я говорю! Родная теперь. К партизанам увела, когда я поднялась, потом нас на большую землю самолетом отвезли...

Неловко мне стало после этого рассказа. Оттого, что все мои приключения, которыми иногда хвастался перед ребятишками, показались теперь детской забавой. Подумаешь, под бомбежками был! Кто их в войну не видел?

— Ну, ничего,— вздохнула, вставая, Тамара,— война еще идет. Поступлю на курсы снайперов... Мы еще посчитаемся... Спасибо, Витя, пойду.

А вечером я держал ответ перед матерью. Не стал дожидаться, когда она заглянет в заветную банку. С детства привык: чем быстрее мне всыплют, тем лучше. Быстрее страх пройдет.

— Мам,— начал я, глядя в пол.— Там, на буфете, банка с сухарями.

— Ну,— она держала на коленях двухлетнего Колю. При моих первых словах ее глаза сурово округлились.

— Так я ее брал.

Поставив малыша на пол, она проворно вскочила на табуретку, схватила банку.

— Ты что, Виктор,— голос ее сорвался,— ты что же это? Ведь ребенок!

— Мам, соседка наша, девчонка ленинградка, в обморок упала на заводе... Ну, вот я ей...

«Ох и дурак!— ругнул я себя.— Зачем говорю об этом? Мама скажет: своей беды мало. Уж лучше бы сказал, что сам съел».

Она медленно, тяжело ступила с табуретки на пол, поставила на стол банку и направилась ко мне. Ну, держитесь вихры! Материна рука легла на мою голову. И неожиданно притянула к себе, прижала к жесткой вздрогнувшей груди. По моей щеке скользнуло что-то горячее и соленой каплей застряло в губах.

— Ладно,— прошептала она,— ты правильно сделал.

После того дня мы с Тамарой стали большими друзьями. Вместе ходили в школу и обратно. Вместе готовили уроки. Но так было недолго.

Тамара окончила школу и вслед за этой радостью на нее свалилось два горя. Умерла тетя. Потом Тамаре отказали, когда она стала проситься на курсы снайперов. Отказали, объяснив все одной фразой: «Пока, девушка, мы вас будем откармливать — война кончится».

Она поступила на завод. В тот же цех, где работала моя мама. Она очень часто бывала у нас, не раз говорила: «Витины сухари спасли меня». А я чувствовал, как все дальше и дальше она уходит от меня. Потому что я уже не мог просто так болтать с ней о пустяках. Я вздрагивал, когда слышал в передней: она! Угрюмо молчал при ней, краснел, нечаянно коснувшись ее руки. Так хотелось сказать: «Мне с тобой очень хорошо». Но я боялся, что она подумает, будто я считаю ее обязанной за те самые сухари.

Несколько раз она приходила к нам вместе с Павлом, приехавшим после ранения. Тогда я над этим совсем не задумывался. Мне не нравилась шумливость Павла, но мысли слишком были заняты одной Тамарой, чтобы подумать о тех, кто рядом с ней.

Когда мы собирались в дорогу, Тамара пришла помогать. Пришел и Павло. В тот вечер разговоры не клеились. Павло подмигнул отцу, сбегал домой и принес бутылку водки. Она удивила всех, будто они нашли необычайно большой самородок золота. После первой чарки языки немного развязались.

— Верите,— пожал плечами отец,— домой хочется, аж пятки свербят. И уезжать жалко. Тут тоже все стало своим. Сколько пота нашего и слез останется на алтайской земле!

— Мне легче,— засмеялся Павло.— Не успел привыкнуть, а что касается фронта, так ей-богу не жалко было оставлять.

Мама, захмелевшая, с блаженной улыбкой на лице, кивнула.

— Конечно! Кому ж это надо...

К своей рюмке величиной с наперсток я не притронулся. Ждал, когда выпьет Тамара. О ней забыли. А она сидела, обессиленно опустив руки. Сидела, склонив голову набок и глядя в одну точку.

Первой заметила это мама и качнулась к девушке с виноватым видом.

— Томочка! Шо ж это ты? Мы не видим, а она... Хай наши вороги печаляться. Выпей!

Отец собирался что-то произнести и застыл, осененный какой-то идеей. Так мне показалось, и я не ошибся.

— Дочка,— сказал он торжественно.— Поедем с нами. А? Похлопочем завтра — и айда. А?

Тамара с растерянной улыбкой глянула на него, на Павла, на миг задержалась на моем вспыхнувшем от радости лице — и снова к Павлу. Он улыбался и смотрел в стол. Он молчал.

— Спасибо,— прошептала она.— Если разрешат, поеду.

...Вагон давно уже покачивается, стучит. Я соображаю это, когда мама трогает меня за плечо.

— Хватит спать, поесть надо.

Как красиво стучат колеса. Та-тата-татататата... Но это не просто «та-та-та». Это музыка. Ее можно петь: «На позицию девушка...»

Вдруг я начинаю понимать, что играют вовсе не колеса. Играет гитара внизу, на нижних нарах. Играет Павло. У него хорошая гитара, с фронта привез. Он не знает, чья она — венгерская или цыганская, но говорит, что один музыкант отдавал за нее рояль.

Будто вспомнив что-то, Павло ударяет по всем струнам, а потом начинает незнакомый, расплывчатый мотив. И подпевает шутливо томным голосом:

Ах, любовь, ты любовь!
Это ж страшные муки.
Разыгралася кровь,
К тебе тянутся руки...

Он смеется. И я слышу смех Тамары. Струны снова начинают звучать тихо и нежно.

Хорошо играет Павло, ничего не скажешь. Что ни попроси, все сыграет. А вот «Огонек» он выводит не зря. Тамара любит «Огонек».

Значит у них получилась песня.

3

Мы останавливаемся у каждого столба. То пропускаем воинский эшелон, а то и вовсе не знаем, почему стоим. Иногда проносимся мимо станции, а потом в двух-трех километрах от нее торчим до вечера. Сегодня наш вагон остановился у самой станции. На ее фасаде — серые облупившиеся буквы: «Новосибирск». Нам повезло. Станция — это пайки, кипяток. Можно и лишний кусок хлеба выменять за какую-нибудь тряпку.

Эшелоны стоят плотно, на каждом пути. Мы где-то в середине этого скопища. Рядом с нами вагоны с решетками на окнах, с закрытыми дверьми. В конце этого эшелона, над последним вагоном возвышается будка, сколоченная из некрашеных досок. Я замечаю, что из будки выглядывает солдат. И вдоль эшелона, по хрустящему ракушечнику шагают два солдата с автоматами за плечами.

— Заключенных везут!— слышу я рядом с собой голос Тамары. Привстав на цыпочки, она через мое плечо выглядывает в дверь.

К вагону напротив два солдата в белых передниках подносят зеленый армейский термос, алюминиевые миски и ложки. Третий солдат, с автоматом, откидывает засов с двери и с натугой отодвигает ее. Я чувствую, как рядом вздрагивает Тамара, когда к открытой двери вагона напротив кидаются несколько человек в серо-зеленых мундирах.

— Немцы!— вздохом восклицает Тамара и оттесняет меня от двери.

Я вижу ее горячечно заблестевшие глаза и молча отступаю в сторону.

— Немцы!— повторяет она.— Сволочи! Их еще кормят!

Солдаты в передниках наливают по полной миске наваристого, густого супа и подают в вагон. По нашему вагону идет крутой дух вареного мяса. Я чувствую, как мои скулы заныли, будто я хватил кислоты, и рот до кашля заполняется слюной. С трудом сглотнув, я положил руку на плечо Тамары.

— Ну их. Отойдем.

— Нет,— она отстраняется.— Я их не видела вот так, пленными.

Высокий рыжий немец в пилотке набекрень жестом официанта поднимает в руке свою миску и протягивает ее вперед, приложив вторую руку к груди.

— Фройлен,— он обращается к Тамаре.— Битте.

— Сволочь!— охает Тамара, оборачивается к своим нарам, хватает что-то, и я вижу, как кусок хлеба падает к ногам рыжего немца.— Жри, гадина! Да я бы тебя, я бы тебя...

Кто-то берет ее за плечи и властно отводит в сторону. Это Павло. Загородив собой весь просвет двери, он наклоняется вперед и говорит зычным командирским голосом:

— Сержант, вы что спектакль устраиваете здесь? Накормили этих недобитков — и на замок. Разболтались в тылу!

— Да я, товарищ... товарищ капитан...

Конвоир не знает, как обращаться к Павлу: на нем нет погон. Но есть командирская фуражка с малиновым околышем. Ремень с портупеей. Гимнастерка и галифе хлопчатобумажные, но явно офицерского покроя. Хромовые сапоги. Павло был лейтенантом. Конвоир не дурак, он понимает, что, назвав его капитаном, может прибавить звание, но никак не убавить.

— Сейчас, товарищ капитан. Заканчиваем.

— Кончайте, кончайте.

Павло поворачивается к двери спиной и смотрит на всех с победной улыбкой, поглаживая под крупным мясистым носом щеточку «кавказских» усов.

— И все!— говорит он громко и весело.— А то развели тут... А ты чего?

Последние слова — к Тамаре. Она лежит, уткнувшись в подушку. Ее плечи вздрагивают.

— Плачешь?— удивляется Павло.— Зачем плакать? Закон войны: кто попался, тот пусть плачет. А нам это ни к чему. А, перестань!

Он забирается к ней, говорит что-то, шепчет на ухо.

Вагон напротив с грохотом закрывается. А к нам подходят молоденький лейтенант и морщинистый солдат с красными повязками на рукавах. У лейтенанта почему-то в руках немецкая авторучка. Он постукивает ею по стенке вагона и громко объявляет:

— Проверка документов. Пра-а-шу предъявить. Касается только мужчин.

Павло соскакивает с нар.

— Ха, чего это! Вам мало этих?— он кивает в сторону вагона напротив.— Своих еще ловите.

— Не своих,— официально, строго поджав тонкие губы, говорит лейтенант.— Дезертиры случаются.

— А-а-а,— Павло достает из гимнастерки портмоне, подает бумаги.— Прошу ознакомиться.

Лейтенант читает, водя авторучкой по строчкам, потом возвращает бумаги и спрашивает с почтительностью:

— Тяжелое и легкое?

— Что? А, ранение,— Павло согласно кивает.— Ничего, досталось.

— Все?— подает голос солдат, поправляя сползающую вниз кобуру нагана.— Больше мужчин нет?

— Как нет!— Павло оборачивается, кидает взгляд в глубь вагона, смотрит по сторонам, насмешливо кривит большие губы и вдруг обрадованно хватает меня за плечо.— Вот еще мужчина!

— Документы,— строго хмурится лейтенант.

Павло с хохотом отталкивает меня.

— К сожалению, несовершеннолетний.

— А ну вас!— лейтенант засовывает в карман гимнастерки свою авторучку и делает знак солдату.— Пошли дальше.

Они уходят. Несколько минут в вагоне стоит тишина. Я ничего не могу понять. Почему куда-то девался отец? Почему о нем не сказал Павло? Я забираюсь на свои нары и тут слышу резкий голос Павла.

— Дядя Степа!

В углу шевелятся тряпки, перевертывается подушка. Мама тянет на себя одеяло. И я вижу прокуренные седые усы отца. Лицо его так бледно, что видна каждая синяя крапинка — память о взрыве в шахте. Один раз я уже видел его таким.

Это было в сорок первом. Нас бомбили и днем, и ночью. В темноте это было не так страшно: вой и грохот раздаются со всех сторон, но ты не видишь, как тебя расстреливает в упор нахальный «фокер».

Но бомбили не только ночью. В тот ясный августовский день наш эшелон змейкой выбрался из тенистого лесного коридора и сразу попал под бомбы. Пикировщики будто ждали нас здесь. С первыми взрывами вагонные колеса сбились с привычного ритма, заскрипели. Люди кинулись к выходу. Отец подтолкнул вперед мать, схватил меня за руку.

Мы скатились в глубокий пыльный кювет. Хотелось раздвинуть высокий бурьян, посмотреть на воющее небо. Отец прижал меня к земле.

— Не шевелись!

Но и он, наверное, не мог все время лежать вот так, не шевелясь. Едва лишь его рука ослабла, я поднял голову. И почувствовал, что глаза мои становятся большими-большими. Прямо на меня шел пикировщик. С его крыльев беспрерывно срывались вспышки пулеметных очередей. Под ним поднималась и поднималась с оглушительным грохотом земля. Казалось, что самолет — не самолет, корабль катится по черному водяному валу.

Совсем близко вздрогнула земля. Пулеметная трасса прошила ее, как швейная игла. Я еще успел подумать, что это похоже на то, будто много, много людей встали перед туго натянутым брезентом и по очереди, почти враз, ударили по нему крепкими палками.

И страшный вой и грохот стали затихать, удаляться от нас. Только что-то потрескивало недалеко, да на одной ноте, все громче и громче голосила женщина. Я приподнял голову. Наш эшелон, разорванный на части, в нескольких местах горел с веселым треском огромных костров. Совсем рядом кричала женщина, прижимая к животу красно-белую подушку. С ужасом я узнал в ней ту, что говорила: «А вот сын мой родится в Сибири»,— и во время налетов обкладывалась белыми подушками. Она была уверена, что подушку не пробьет никакой осколок.

Надо было что-то делать. Люди уже поднимались из пыльного кювета. Мать спешила к нам. Я тронул отца.

— Батько, вставай. Они уже не летают.

Тронул его и отдернул руку, почувствовав что-то липкое. Посмотрел на свои пальцы — кровь. Когда мать подбежала, я снова лежал, запрятав лицо в траву, пахнущую полынью и гарью. Мне сдавило горло. Я хотел плакать и чувствовал, что если у меня появятся слезы, то я захохочу. Так захохочу, что у самого волосы дыбом встанут.

— Витя! Витя!— тормошила меня мать.— Да помоги же мне!

Помочь? Что помочь? Я приподнялся и увидел лицо отца. Бледное, с густым разбрызгом синих крапинок. Его рот хватал воздух, глаза были закрыты. Жив! Я вскочил на ноги. К нам бежали люди. Кто-то рванул рукав его рабочей куртки, кто-то кричал, что надо наложить жгут.

Потом отца перенесли в вагон. Похоронили беременную женщину, выстелив могилу ее подушками.

Наш обгоревший эшелон двинулся дальше. На первой же станции в вагон заглянули военные медики. Спросили, есть ли больные. Узнав, что есть раненый, осмотрели отца, сделали перевязку.

— Очень удачное ранение,— сказал военный, скрипящий новыми ремнями.— В госпиталь надо.

— Нет, нет!— отец помотал головой, сморщился от боли.— Не надо в госпиталь.

— Правильно,— мрачно согласился военный.— Нет у нас госпиталя. Разбомбили. А вы едете как раз туда, куда нужно. У вас очень удачное ранение. Все навылет. Рану мы обработали, теперь все зависит от вас. Оставляем вам белый стрептоцид и перевязочные пакеты. Присыпайте, перевязывайте. Где будет возможно, обращайтесь к медицине. Счастливого пути!

Ранение отца было очень «удачным». Осколок пробил плечо, не задев кости. Но все-таки что-то он задел. На Алтае рана окончательно зажила. С виду отец был совсем здоровым человеком, вот только руку выше плеча теперь поднять не мог.

Совсем с виду здоровым был человеком. А дрова рубить выйдет во двор — одной рукой тюкает.

Сколько раз доставалось ему от вдов-солдаток! Стоит в очереди за хлебом, а иная с обозленного сердца и накинется.

— Ишь, какой в тылу окопался! Руки-ноги целые, а он за наши спины прячется. На развод тебя, окаянного, оставили?

После каждого такого случая отец долго бывал угрюмым, молчаливым. В военкомат ходил чуть ни каждую неделю. Без толку...

— Дядя Степан,— строго повторяет Павло.— Не слышите?

— Ну, что?— отец смотрит на него, выбираясь из-под одеяла.

— Почему это вы, дядя Степан, заставляете нас обманывать Советскую власть?

— Кто тебя заставляет?— голос отца звучит тихо и неуверенно.

Павло хватается за бока и даже приседает от удивления.

— Побойтесь бога, дядя Степан! Чего ж это вы сховались?

Отец молчит. Долго молчит. Наконец, хрипло выдавливает из себя:

— Документы я потерял.

— По-те-рял!?— Павло озадаченно щупает козырек своей фуражки.— М-да! Это да!.. А зачем же прятаться? Надо заявить.

Отец похож на провинившегося школьника, и мне жалко его.

— Заявить?— несмело улыбается он.— Чтоб сняли с поезда? Дома заявлю.

— Ну, дядя Степан,— Павло снимает фуражку и ходит по вагону, приглаживая рукой густую черную шевелюру.— Представь себя на нашем месте. Едем мы в одном вагоне с человеком, у которого нет документов. Кто он? На вид вполне здоровый человек, руки — ноги на месте, не хромает,— а не на фронте? Почему?

— Может, ты меня не знаешь?— начинает сердиться отец.

— Вполне возможно... Вдруг опять проверка...

Я вижу отца и Павла. У остальных — только глаза. Умоляющие — мамины. Растерянные — Тамары. Испуганные — матери Павла, молчаливой сухой старушки, что целыми днями сидит в своем углу и гадает на картах.

— Конечно,— продолжает Павло,— как родственник, я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Но, дядя Степан, вам придется слушаться меня. Иначе...— у Павла особенные глаза. Его зрачки иногда блестят и я ловлю себя на мысли, что эти глаза похожи на автокарандаши: то покажется грифель, уколет,— то спрячется и видна только круглая пустота. — Иначе, — «грифели» спрятались,— буду вынужден...

Больше не могу молчать. Перехожу дорогу Павлу, так, что ему приходится остановиться, и говорю мимоходом, но зло:

— Трепло!

Он реагирует моментально. Не чувствую ни удара, ни толчка, но моя правая нога вдруг цепляется за левую, и я падаю, едва успев ухватиться за нары. Я привык давать сдачи, когда меня задевают. Вскочив, круто поворачиваюсь к Павлу, сжимаю кулаки, но он цепко хватает меня за руку и добродушно смеется.

— Да ты что? Пошутковать нельзя? Вот петух!

Вижу все глаза — улыбающиеся. А Тамарины — еще и насмешливые. Не помня себя от злости и унижения, я запрыгиваю на свои нары и оттуда кричу Павлу:

— Трепло! Все равно я набью тебе морду. Все равно!

Больше никого не вижу. Слышу только, что все смеются. Беззлобно, как смеются над забавной и неожиданной выходкой ребенка.

4

Снова играет гитара. На другой половине вагона громыхают ящики.

Снова играет гитара... Легко живется таким, как Павло, весело. Война для него позади. Пока он хромает, наши Гитлера добьют. А там, глядишь, совсем вылечится и хромать

перестанет. Да это и не так важно, все равно его вон какая девушка любит, Тамара.

Перед отъездом он говорил, что потерял хлебную карточку. Потерял или, может, вытащили. Он рассказывал об этом и смеялся. А что ему плакать, денег с фронта кучу привез. Это я так думаю. Потому что Павло купил бычка и сам говорил, что «за такую цену до войны можно было взять целое стадо». Этот бычок сейчас едет вместе с Павлом. Вареный, в кадушке, залитый салом.

Снова играет гитара... Павло, наверное, уже забыл, как издевался только что над моим отцом. Легко живется тем, кто не мучается угрызениями совести. Может, так и надо? У меня так не получается.

Никогда не забуду, как обидел одного человека, деда Цицо. К нам на Алтай приехало много ссыльных чеченцев. Расселили их по свободным квартирам и запретили выезжать из города. Представляете, что значит для ламаройцев[1] жить в пыльном, душном городе? В многоквартирном доме на втором, а то и на третьем этаже? Трудно они жили. Поначалу держались на кукурузной муке, что привезли с собой, а потом начали пухнуть. А когда приходит голод, и болезни всякие тут как тут.

Среди чеченцев были мальчишки. Один из них, Эльдар Шамсадов, жил в нашем доме. Зимой во дворе мы делали каток и каждый день после школы носились там, кто на чем мог. У меня были настоящие коньки-снегурки, привезенные еще с Украины. Мама впопыхах сунула их в узел, а потом долго ругала себя за то, что не положила вместо них «синенькую кастрюльку».

Однажды, катаясь на коньках, я заметил смуглолицего мальчишку. Он стоял у бровки и наблюдал за мной с восхищением человека, видящего что-то впервые. Конечно, мне захотелось блеснуть перед чеченцем. Я начал выписывать немыслимые зигзаги, но перестарался. Лопнул ремешок на коньке. Пришлось сойти со льда. Пока я возился с коньками, чеченец все смотрел. Даже на корточки присел. Я чувствовал, как ему хочется покататься и, связав ремешки, снял второй конек, протянул оба мальчишке.

— На, покатайся.

Его глаза радостно блеснули. Он сделал шаг ко мне и остановился, спрятав руки за спину.

— Баркалла... Спа-си-ба... Не умеет.

— Не умеешь? Давай научу.

Он закивал согласно. Я привязал ему коньки на валенки и взял за руку.

[1] Ламароец — горец.

— Ну, держись.

За услугу надо платить услугой. Так, видимо, решил Эльдар. Так требовала традиция его народа. И он настойчиво стал учить меня играть на бубне. Научил. Вскоре чеченские ритмы я выстукивал не хуже чеченца.

Этот же Эльдар, сам не желая этого, натолкнул меня на поступок, за который буду ругать себя всю жизнь.

Как-то я спросил его:

— Эльдар, зачем ему кувшин?

Я показывал на старика, медленно шагавшего через двор. В одной руке его была сучковатая, отполированная ладонями палка, в другой — маленький серебряный кувшин с узким горлышком.

Эльдар улыбнулся.

— Знаешь, куда идет дедушка Цицо?

На этот вопрос можно было не отвечать. Старик проковылял в угол двора и скрылся за дверью, на которой темнела буква «М».

— Ну и что?

— Дедушка Цицо — старый человек. Он родился, когда бумага в горах была как золото. А воды у нас много. Дедушка Цицо уважает бумагу.

— Ха! — удивился я и сразу же забыл этот разговор.

Забыл, но быстро вспомнил. Через несколько дней я снова увидел деда Цицо с кувшинчиком. У меня мелькнула озорная мысль.

— Пацаны,— сказал я ребятам.— Сейчас что-то будет.

Эльдара не было рядом. Если бы он был!

Перемахнув через забор, я на цыпочках подошел к туалету с тыльной стороны. Здесь была выломана доска. Заглянул в дырку — вот он кувшинчик, рядом. Я взял его за ручку и потянул к себе. Рука моя проходила в дырку свободно, а вот кувшинчик застрял. Я потянул сильнее — скрипнула доска. В ту же секунду кувшинчик выскользнул из моей руки. Старик закричал что-то непонятное, а я со всех ног кинулся на улицу, обежал дом и вернулся во двор. Старик не мог меня видеть, бояться было нечего.

Ребята кинулись ко мне.

— Чего он кричал? Ты что сделал?

— Кувшин хотел свистнуть,— ответил я, переводя дух.

Ребята завизжали от восторга, плотно окружили меня.

— Ну и что? Попутал?

— Атас! — предостерегающе шепнул кто-то, и все мигом рассыпались по катку.

Дед Цицо шел домой, постукивая палкой.

Худой, согнутый годами. У катка он остановился. Долго смотрел на нас из-под лохматого малахая и что-то бормотал по-чеченски. Потом покачал головой и отправился дальше.

Мне показалось, что у него на глазах были слезы. И я вспомнил сразу, что совсем недавно от сыпного тифа умерла внучка деда Цицо, шестнадцатилетняя Кужа. Вспомнил, как Эльдар в тот же день отказался от коньков:

— Нет, Витя, баркалла. Мы идем к дедушке Цицо на тезет[1].

— А что это такое?

— Потом узнаешь.

Очень мне стыдно стало за свою злую шутку. Как ребята потом ни просили рассказать подробности, я молчал.

...Останавливаемся на разъезде. Нас загоняют в тупик, значит — надолго. Но опять мы у воды, рядом журчит речушка. Узкая, перепрыгнуть можно.

Мы все недовольно ворчим: хочется ехать и ехать. Только мама спокойна. Осмотревшись с видом командира, она выносит бесповоротное решение:

— Будем стирать. Тебе, батько, костер, Вите — вода.

Все понятно. Беру два ведра, спускаюсь к речушке.

Мама не успокаивается, что-то придумывает. Когда я поднимаюсь на косогор с полными ведрами, она уже в голове эшелона, откуда только что отошел паровоз, и кричит:

— Витя, неси сюда! Та швиденько!

Почему туда? Ведь отец с Павлом раскладывают костер у самого вагона. Но я не спорю: ей виднее.

Мама берет у меня ведра и ставит их на свежий дымящийся шлак. Вот оно что! Мне даже интересно, что с этого будет.

— А на костре,— говорит она,— обед сварим. Как закипит вода, неси. Я пошла.

И она уходит, торопливо, будто боится опоздать куда-то. Она всегда торопится и страшно не любит, если что-то делают медленно.

Долго ждать мне не пришлось. Через несколько минут вода в ведре забурлила. Надрав два пучка травы, я обматываю ими дужки и несу ведро к вагону. Всю эту операцию проделываю еще раз и тогда подсаживаюсь к костру. Здесь уже сидят все, кроме мамы. Она стоит на коленях перед корытом и тормошит мою сорочку. Я вижу ее большие руки с буграми вен, когда-то круглые, а теперь опавшие щеки. Они трясутся при каждом движении, и я почему-то думаю, что, наверное, щеки мешают ей сейчас.

Отец одной рукой вбивает в землю палки и подвешивает над огнем кастрюлю.

— Возьми две пачки концентрата,— наставляет его мама.— Хватит нам на обед. Картошки штучки три-четыре...

Мать Павла сидит, скрестив ноги по-казахски, смотрит, не мигая, в огонь и тасует карты. Потом вытирает двумя пальцами иссиня-бледные губы и расправляет подол широченного платья. Первая карта падает на подол, вторая, третья...

— А ну сгадайте, баба Груня,— улыбается мама и легким девичьим движением поправляет гладкие белые волосы: будто только прикоснулась ладонью к своим кудрям, проверила, на месте ли прическа.

— Шо тебе сгадать?— поворачивает к ней баба Груня крючковатый нос и смотрит с надеждой: наконец-то кому-то понадобилось ее искусство.

— Скоро война кончится?

Старушка хмыкает, собирает карты. Ее глаза от хитрой улыбки тонут в морщинах.

— Не буду. Сама знаешь: скоро.

Павло снисходительно улыбается.

— Это что, мама, карты вам так говорят?

— Э,— она слюнявит пальцы,— сам ведь балакал, наши взяли Кыш... Кыш...

— Кишинев,— подсказывает Павло.— Ну и что? Мы вот едем, а вот как попрет немец снова...

— Тьфу!— баба Груня бросает на него недовольный взгляд и прячет карты за пазуху.— А то бы нас везли! Ты шо...

Мама вмешивается в этот спор.

— Ладно, ладно. Сгадайте, что нас ждет там, дома.

Гадалка снова раскладывает карты, задумчиво качает головой.

— Хлопоты, хлопоты, хлопоты...

Мама распрямляет спину, вздыхает.

— Это я тоже знаю... Ну ничего, не то было,— и она снова набрасывается на сорочку, стараясь долгой стиркой возместить недостаток мыла.

Павло разделся до пояса, лег на траву, подставив солнцу крепкую спину. Рядом с ним сидит Тамара. Тонкой веточкой она небольно бьет его по голому телу и что-то говорит вполголоса.

Мне тоже хочется раздеться. Только не здесь, не рядом с Тамарой. Я встаю и спускаюсь к речушке. За густым кустом раздеваюсь до трусов, вхожу в воду. Жары как не бывало, по телу пробегает озноб. Вода ледя-

[1] Тезет — обряд соболезнования.

ная. Все-таки заставляю себя окунуться и выскакиваю на берег.

— Как вода?— слышу рядом голос Тамары и едва успеваю натянуть штаны.

Она появляется из-за куста, боком опускается на траву.

— Ничего вода,— говорю я.— Попробуй.

— Посинел даже,— хмыкает она.

— У меня такой цвет кожи. Я синей расы.

— Ого, какие мы остроумные!.. Слушай, Виктор, мы почему-то всегда около воды ругаемся.

Я пожимаю плечами.

— Давай не будем ругаться. Разве я тебя заставляю?

— Не будем,— она делает паузу и продолжает:— Витя, скажи по правде, ты любишь меня?

Я подпрыгиваю, хочу убежать и чуть не сваливаюсь в воду.

— Витя, подожди,— останавливает она.— Сядь.

Сажусь, не глядя на нее.

— Вижу, что любишь, не отказывайся. Но, Витя... При чем же здесь Павло? Он мой муж, понимаешь? Ну, он же ни при чем... Зачем ты на него сердишься? Ну, может быть, я плохая, так ты на меня сердись.

В ее голосе что-то фальшивило.

— Тебя Павло послал?

Она молчит. Спохватившись, говорит быстро, сбивчиво.

— Опять ты на Павла. Сама я... Нельзя так... Все вместе едем, а ты...

Мы оба молчим.

— Витя,— наконец говорит она тихо,— почему ты его не любишь?

Поднимаю голову. Ее круглые, всегда удивленные глаза ждут ответа с таким нетерпением, словно я — высший судья, словно только я могу открыть тайну, разгадать которую ей самой не по силам.

Не хочу врать, выкручиваться.

— Не люблю тех, кому война легко достается.

В ее глазах еще большее удивление и боль.

— Ты не прав. Он воевал, ранен.

— Ну и что? Мой отец даже на фронте не был, а война у него во, поперек горла стоит.

— Откуда ты знаешь, что Павло...

— Твой Павло воевал, потому что все должны воевать. А добровольцем он не пошел бы.

— Откуда ты взял?..

— Не слепой.

Она прикладывает руку к пылающей щеке и говорит почти шепотом:

— Ты глупый, обозленный пацан. Ты глупый, глупый пацан!

На этот раз не соскакиваю, не убегаю. Необычное волнение Тамары удерживает меня. Мысленно ругаю себя за горячность (действительно, как пацан!) и стараюсь успокоить ее.

— Ладно, прости. Плохого тебе не желаю.

Она наклоняется с берега, плещет воду в лицо. Утершись платочком, встает, принужденно улыбается.

— Пойдем, кавалер. Свидание окончено.

Мы поднимаемся по косогору рядом. Я смущаюсь, но креплюсь, не подаю вида. Вижу, что за нами из-под руки наблюдает Павло. Отец сидит у костра, задумчиво глядя в огонь. Мама помешивает в кастрюле. Увидев нас, говорит громко и весело:

— О, молодые с пляжа вернулись.

Баба Груня хихикает и кричит слабым, остывающим голосом:

— Зараз я вам сгадаю. Как жить будете, сколько детей народите.

Меня передергивает от ее слов. Смотрю на Тамару, стараюсь поймать ее взгляд, но она отворачивается, говорит тихо:

— Чего ты? Нарочно она, меня дразнит.

Подходим ближе к нашему «кочевью». Баба Груня потрясает картами.

— Рудый у вас будет, рудый!

Приседаю около нее на корточки, говорю:

— Павлу погадайте. На него обязательно тройня цыганят выпадет.

Баба Груня отмахивается. Ее блеклые глаза тонут в хитрых морщинах.

5

Ящики, что занимают половину вагона, тяжеленные. Все же Павло кое-как выдвинул на середину четыре ящика. Три стула, один — стол. Павло сделал это на другой день нашей поездки, перед обедом. За «стол» сели трое: Павло, его мать и Тамара. Нам мест не было. Мы обедали потом, во вторую очередь. Так началось, так и продолжалось. Ни разу мы не ели вместе.

Сегодня эшелон идет, как подстегнутый. Полдня мелькают станции и полустанки. У нижних нар на обед «бычок». У нас — ржавая селедка. И они, и мы запиваем вчерашней водой, которая нагрелась и похожа на остывший чай, заваренный пылью.

Все расползаются по своим местам. И я тоже забираюсь наверх. Делать нечего — тоска смертная.

Вчера мне попалась книжка — обрадовался страшно. На какой-то станции иду по перрону, вижу в урне книжка лежит. Посмотрел — ни начала ни конца. Но книжка толстая. Ладно, думаю, почитаю. Толкаю ее под мышку и в вагон. Только тронулись — начал читать. Начал и пожалел. На первой же странице князь В. устраивает прием. Да с таким смаком описано, чем князь угощал своих гостей-дармоедов, что я не выдержал. Сунул книжку в окно. Вот так, думаю, лучше. В урне ей было самое подходящее место.

Все дремлют после обеда. Так мне кажется. Но вот слышу голоса внизу. Сначала Тамарин. Потом погромче Павла. Слушать его не мешает даже перестук колес.

— Как это получилось? — спрашивает он.— В общем-то и даже глупо. Под Синельниково это было. Нашей роте приказали залечь в балке и не высовываться. Понимаешь, какая неприятная штука. Где-то рядом рвутся снаряды, трещат автоматные очереди, люди кричат. Рядом друг другу глотки рвут, а ты лежи молча. И думай: вдруг сейчас над балкой пулеметный хобот повиснет и начнет поливать. Или снарядом хлопнет. Нет, лучше бежать, стрелять, бить, чем вот так...

Павло молчит. Слышно, как Тамара несердито ругает его, вырывается и, наконец, говорит:

— Ну, ну, а дальше как было?

— Как было... По цепи приказ передали: приготовиться. Не отставать. Командир наш вскочил — и мы за ним. Все было хорошо придумано. На поле рукопашный бой идет. Чья возьмет — это еще бабушка надвое сказала. А тут мы, как снег на голову. Перевес явный. Жиманули мы противника. И вот тут получилась такая штука. Бегу я, ору, сам не знаю что ору, и вдруг вижу — лейтенант раненый приподнимается с земли и целится в меня пистолетом. Ну, резанул я его из автомата. Не знаю, как это получилось, а резанул. Только успел — и сам упал рядом с ним. Мины нас накрыли. Упал и подняться не могу. Только злость меня такая взяла на того лейтенанта, что боли не чувствую. Волочу ногу, а сам ползу к нему. Автомат уронил, так пистолет его хватаю... Ну, а он уже был готов... Потом опять мины... И все. В госпитале очнулся.

— Как же так? — слышу удивленный голос Тамары.— Свой лейтенант...

— Свой! — смеется Павло.— Говорили мне потом — власовец.

— Власовец! — еще больше удивляется Тамара.— Вот гад!.. Не могу я понять таких людей. За что они воюют, за кого?

— Гм, за кого... За себя, наверно. Что ему делать остается, если сразу поверил в победу Гитлера? Теперь свои не помилуют. Так что воюй до конца или...

— Что или?

— Руки вверх! — снова смеется Павло, и на нижних нарах начинается веселая возня.

Меня всегда бесит эта возня. Тамара вырывается, щиплет, щекочет Павла. Он хохочет, шутливо рычит. Потом они затихают, и в перестук колес вплетаются звуки гитары.

Как я завидую Павлу! Тому, что он был на фронте, знает настоящий бой. Что собственными руками бил поганых фашистов.

До чего же я невезучий! В прошлом году я ходил в военкомат проситься на фронт. Мне просто показали на дверь и пояснили: «Не мешай работать». Тогда я в метрике исправил свой год рождения. Только исправил — и матери понадобилась моя метрика. Для какой-то справки. Она оттаскала меня за вихры, а отец только сказал: «Всякому овощу свое время».

Все сложилось бы проще, будь я поумнее в сорок первом году. Хотя бы в один день этого года. Когда в разведку посылали...

В тот день наш эшелон миновал «кольцо». Люди успокоились. Думали, что теперь все страхи позади. Бомбили, как и раньше, но уже не так часто. Целый день мы проехали без приключений. К вечеру эшелон сбавил ход, пошел с такой скоростью, что можно было спрыгнуть, поиграть в камешки и догнать вагон. Въехали в лесочек и совсем остановились. Вот тут мне стало не по себе: очень уж часто подводили нас лесочки, за которыми голая степь. Люди заволновались, шепчутся. Но делать нечего, стоим.

— Что-то случилось,— решил Павло и хотел уже спрыгнуть на землю.

К вагону подошел машинист. Здоровенный дядька с красными от бессонницы глазами.

— Такое дело,— сказал он.— За лесом сразу мост должен быть. Должен... Разведать треба. А то поскачем в яр головой.

Павло хмыкнул.

— Чего ж вам самим не разведать?

— Самому? — машинист помял в руках маслянистую тряпку.— А паровоз ты поведешь?

— Я не умею.

— Вот. Надо осторожно понаблюдать из леса. И все.

— Ну, это ерунда. Пойдем, Витя.— Пав-

ло кивнул мне, но вдруг, передумав, добавил:— Хотя... не надо. Сам пойду.

И я был рад, что он передумал. Лес пугал меня своей угрюмой тишиной. Я не стал проситься.

Павло спрыгнул на землю и хотел сразу же идти. Машинист удержал его.

— Не спеши поперек батьки в пекло... Если что неладное заметишь, бегом назад. Если все в порядке, выходи к путям. Поедем тихо, на ходу залезешь. Жду час. Есть часы?

— Есть.

Они ушли вперед. Час ожидания растянулся в тягучую муку. Никогда раньше не думал, что так долго может длиться час. В школе бывало, даже урок немецкого языка проходил быстрее.

В вагоне долго стояла тишина, как в пустом доме. Потом заплакала напуганная тишиной девчонка. На нее шикнули, и она замолчала. Я высунулся в дверь — на меня зашипели со всех сторон.

Наконец кто-то несмело кашлянул. Отец сказал слабым голосом:

— Ровно час.

Его услышали. Все зашевелились, потянулись к дверям. В ту же минуту дернулся вагон. Мы поехали тихо, без перезвона буферов.

Вот и лес уже стал редеть. Впереди, за последними деревьями, виднеются фермы моста. До него километра полтора, не больше. Значит, все в порядке!

Наш вагон вынырнул из леса. Поезд начал набирать скорость.

Где же Павло? В какой-нибудь тамбур заскочил, наверное. Потом на остановке подойдет и засмеется:

— Что, потеряли меня? Много слез пролили?

Не такой он, чтобы отстать.

И вдруг совсем близко хлестко ударил пулемет. Я сжался от неожиданности. До сих пор я смотрел вперед, высунувшись в окно. Глянул назад, увидел две машины, пылившие по степи. Они догоняли поезд. На кабине передней бился в лихорадке пулемет. В кузовах сидели солдаты в глубоких, не наших касках. Немцы! Я почувствовал, как в моем животе что-то холодное опустилось, будто кусок льда проглотил.

Нам не нужны были команды. Мы знали, что делать. Переспевшим горохом все сыпанули вниз, на пол.

Поезд дернулся, побежал еще быстрее.

В первую секунду я кинулся вниз со всеми вместе. Вспомнил: отец. Он не сможет слезть с нар. Мама тоже не спешила. Она склонилась над отцом.

— Степа, я помогу тебе.

— Быстро!— закричал он с натугой.— Быстро вниз. Витька, кому говорю! Не трогайте меня! Ну!

Мама упала рядом с отцом, с той стороны, откуда стрелял пулемет, меня схватила за шиворот, прижала к доскам.

— Уйдите!— хрипел отец.— Вниз! Вниз!

Я зажмурил глаза и ревел от страха, уткнувшись в его раненое плечо. Не соображая, что ему больно и от крика, и от того, что я тычусь в рану своим носом.

Пулемет то замолкал, как пес, перетянувший себе горло ошейником, то начинал лаять еще громче. По стене вагона, словно игла по туго натянутой парусине, ходили и ходили пулеметные строчки.

Под нами загудела пустота. Мост. Назад, все дальше и дальше назад удалялся лай пулемета и, наконец, он совсем умолк.

Уже не было пустоты. Под вагоном звенело обычное та-тата-та-та-та... Я перестал реветь, но по-прежнему лежал, не открывая глаза. Боялся подниматься первым. Мне казалось, если я встану первым, мама останется лежать. Как в тот раз отец.

— Степа,— услышал я мамин голос.

— Что?— отец зашевелился, потрогал меня.— Витя, живой?

— У,— промычал я с закрытыми глазами.

— Степа, ты почему молчал?— спросила мама.

— Боялся, что ты не откликнешься.

Они помолчали.

— Эх ты, защитница,— хохотнул отец.— Смотри сюда.

Я повернул голову, открыл глаза. Отец показывал здоровую руку. Вместо часов на ней висел бесформенный кусок металла.

Мама тихо, счастливо засмеялась.

— А ты говорил, что плохие часы. Теперь на память оставим.

Внизу было тихо. И вдруг тишину рванул нечеловеческий крик.

— Лю-ди!.. Люди, помогите!

Внизу зашумели. Я вскочил, перегнулся через край нар. Мужчина с крючковатым носом, наш нечаянный попутчик, стоял, схватив себя обеими руками за волосы. У его ног на полу лежала жена, прижимая к груди ребенка. Девчонка всхлипывала, стараясь высвободиться.

— Мама, отпусти. Мам, уже отпусти...

На спине женщины, на белой блузке, красной кляксой расплывалась кровь.

В тот день у нас опять были похороны. Времени на это хватило: на пустынной, брошенной станции машинист выбирал паровоз. Его изрешеченная «овечка» везти нас больше не могла.

Гроб не делали: не из чего было, да и некогда. Убитую завернули в простыню и два сшитых одеяла. Могилу выкопали рядом со зданием станции пожарными лопатами. Они почему-то уцелели на доске.

Осиротевшую девочку отец подвел к могиле в последнюю минуту.

— Попрощайся с мамой,— сказал он сквозь слезы.

— Там мама?— девочка показывала пальцем в могилу.

— Да, там мама.

И она весело позвала:

— Мам, не надо прятаться. Уже не надо.

Она долго звала маму и наконец, почувствовав неладное, горько заплакала. И вместе с ней плакал ветер, что гулял по залам станции.

А Павло так и не появился. Его мать сидела в углу вагона, раскачивалась из стороны в сторону и причитала:

— Зачем же ты пошел в лихую годину? Убили тебя вороги проклятые, убили...

С тех пор она и стала гадать на картах. Все на Павла. Разное говорили ей карты. Иногда хорошее, иногда плохое. Чаще хорошее, потому что очень хотелось бабе Груне, чтобы Павло остался живым. Время от времени она приходила к нам и какой бы разговор ни заводила — обязательно получалось так, что без имени Павла ей не обойтись. А то и просто вспоминала вслух:

— Года ему не было, как Андрея в шахте придавило. Перед смертью сказал: «Сына добре учи. Нехай свою голову на плечах носит, а то заклюют. Людям только поддайся».— Глаза бабы Груни тонули в морщинах.— Научила. Клевать себя никому не давал. Та и не за что было. Умел он с людьми ладить. Потому и не верю, чтоб убили его. Не такой он...

Три года она ждала от Павла вестей и дождалась письма из госпиталя.

Как-то прибежала к нам возбужденная, радостная.

— Шо я вам казала,— она потрясала листком.— Карты не брешуть. Ось! Живой, только поранетый.

«Дошел я до края леска,— писал Павло в своем первом письме,— все высмотрел. Хотел уже к путям выходить — слышу голоса. Не по-нашему говорят. Притаился. Пройдут, думаю, выбегу к эшелону. Тут слышу — колеса вагонов застучали. Немцы как загалдят, машина загудела, вторая. Там, в лесу дорога проходила. Машины из леса — я к путям. Только поздно было. Поезд проскочил. Так я и остался один. Блукал, пока не наткнулся на окруженцев. К ним пристал. Много нас собралось, но когда переходили линию фронта, осталось совсем мало. Бил нас немец, как ястреб курчат. Потом меня немного подучили — и в бой. Искал вас, запросы посылал. Думал, на Урал, как все шахтеры наши. А сейчас получил ваш адрес. Рана моя заживает. Воевать больше вряд ли придется. Белым билетом пахнет. Из госпиталя скоро выпишут. Ждите...»

Да, Павло много повидал, много испытал. Я думаю об этом и хочется мне видеть его добрым, своим. Таким, которому можно завидовать по-хорошему, как завидуешь Павке Корчагину, или Чапаеву, или Матросову. Хочется, а не могу. Почему — и сам не знаю. Убеждаю себя, что Тамара тут ни при чем, но чувствую, что просто стараюсь отвернуться от правды. Еще как при чем! И она и отец. Не могу простить Павлу Тамарину любовь. Не могу простить унижение отца. Завидую Павлу, но он мне — не друг.

6

Мама тихо плачет. Она отвернулась к отцу, чтобы я не видел, но я чувствую, что плачет. Мама всегда плачет, если кто-нибудь напомнит о Коле. Сегодня отец нечаянно назвал меня именем умершего брата. И страшно испугался, зная, что мама расплачется. Несколько раз повторил:

— Витя, Витя,— подойди ко мне.

Но было уже поздно. Мама слышала. Она сразу задумалась, стала смотреть перед собой затуманенными глазами, а потом отвернулась к окну.

У меня тоже глаза щиплет, когда я вспоминаю Колю. Он рос хорошим парнем. Мама приберегала ему не только сухари. Да и мы с отцом о нем не забывали. Конечно, у меня были не такие уж большие возможности доставать что-нибудь съестное. Все же, если Эльдар делился со мной кукурузной лепешкой — я делился с Колей. Когда в школе нам стали давать пончики с повидлом, я приносил половину домой.

Потом вообще мы зажили получше. Появился коммерческий хлеб. Дороже обычного, но без карточек. Помню, как Николай чмокал от удовольствия и улыбался, уплетая

белый хлеб. Впервые в жизни он ел белый хлеб!

Потом появились американские посылки. Красивые такие коробки из толстого картона. Мама с отцом принесут — и начинается праздник. Соберемся все вокруг коробки, распаковываем ее. В коробке — коробочки, баночки. В них — шпиг, подсоленые фисташки, сигареты с верблюдом на блестящей пачке. Баночки интересные — железный ключик покрутишь — крышка отвалится.

Вкусные посылки. Жаль, коробок и банок было больше, чем еды.

Ну, об этом я вспомнил между прочим. Главное не это. Главное — манная каша. Обыкновенная, бело-синяя, сваренная на воде. Каждый день после школы я шел в детскую консультацию с поллитровой банкой и там мне накладывали этой каши. Для Коли.

От консультации до нашего дома идти минут десять. Каждый раз для меня это было десятиминутной пыткой. Банка грела руку. Я то и дело приподнимал крышку и вдыхал дурманящий запах. Мне казалось в те минуты, что нет ничего на свете более вкусного. С недоверием вспоминал слова мамы о том, что в детстве я ненавидел манную кашу.

Страшно хотелось попробовать, хоть лизнуть. Но ни разу я не сделал этого.

Так продолжалось недолго.

Однажды мама была с Колей во дворе. Она сидела на скамейке, в тени. Он возился в куче песка. Пересыпал желтые струйки из ладошки в свой ботинок. Скоро, однако, это занятие ему надоело. Он проворно вскочил, забрался на самую вершину песчаной кучи и с радостным визгом ринулся вниз. Побежать хотел, но не получилось, запнулся.

Вскрикнула мама, кинулась к нему, подхватила на руки. Коля захлебывался плачем. На затылке, у самого уха, расплывался огромный синяк: угодил на камень.

Мама растерялась, не знает, что делать.

— Степа!— кричит, а у самой слезы из глаз капают.

Я стоял тут же. Когда она закричала, бросился в дом за отцом. Но он услыхал маму, выбежал мне навстречу. Мама ничего не успела сказать, отец и так все понял, выхватив у нее Колю, он побежал на улицу. Мама за ним.

Не мог я после этого оставаться во дворе. Мои друзья притихли. Игра в «цурку» расстроилась. Я ушел домой. Побродил по комнатам, придумывая себе занятие. Готовить уроки не хотелось: успею, мне во вторую смену. Ничего нового не придумав, взял книгу Купера «Следопыт» и пристроился у кухонного стола.

«Могиканин продолжал насыщаться, тогда как его белый товарищ встал и, учтиво сняв шапку, поклонился Мэйбл. Это был цветущий юноша...»

Я читал и почти ничего не понимал. Тревога за брата не давала покоя.

«...Это была одна из тех минут, когда сердце останавливается и кровь застывает в жилах...»

В детстве мне частенько доводилось ходить с синяками на голове. Только за себя как-то не боишься в таких случаях.

«...Выстрел гремел за выстрелом, смешиваясь с грохотом воды, пули свистели над головой, а он неуклонно шел вперед...»

Нет, не идут в голову приключения Следопыта. Закрыв книгу, я долго сидел, глядя в окно, на плоскую сопку за полиметаллическим комбинатом.

Хлопнула входная дверь. Первым вошел отец с Колей на руках. Голова Коли была перебинтована. Он всхлипывал и смотрел испуганно по сторонам.

— Как?— поднялся я навстречу.

Мама отмахнулась. Взяла Колю и унесла в комнату. Отец сел на табуретку, молча стал развязывать кисет. Я ни о чем больше не спрашивал.

Вскоре мама вышла.

— Притих. Может, уснет,— шепотом сказала она и, осторожно ступая, подошла ко мне.— Витя, ты знаешь Мельничиху, из того подъезда?

— Знаю,— ответил я. Кто ж ее не знал, лесникову старуху. Говорили, что у нее круглый год мед не выводится и ягоды разные.

— Попроси банку малинового варенья. Отдай вот это,— в руках мамы шуршало, переливалось синими волнами шелковое платье.

Отец поперхнулся дымом.

— Маня, зачем это? Лучше мое что-нибудь...

— Ладно,— спокойно ответила мама.— На балы мне теперь не ходить, обойдусь.

Почти то же сказала и Мельничиха, увидев платье. Поглаживая на столе шелк, она смеялась тоненько, будто притворялась. Так не шел этот смех ей, здоровенной бабе с тройным подбородком.

— Куда оно мне? А мануфактура ничо. Грех, чо говорить. Мануфактура ничо. Рази чо продать.

Подумав, она пошла было к дверям. Потом, глянув на меня подозрительно, позвала за собой.

— Во дворе подожди.

Она сходила в сарай, сложенный из толстенных бревен, и принесла банку заплесневелого варенья.

— Последнее,— сказала она.— Да уж ладно. Сама понимаю — ребенку.

Варенье помогло Коле. Жар спал. А через неделю он опять заболел. На этот раз не помогали ни варенья, ни всемогущий сульфидин, ни красный стрептоцид. В нашей квартире старый, сгорбленный врач произнес страшное слово «менингит». И оно повисло над нами, как смертный приговор. «Надежды нет»,— сказал врач.

Коля не мог плакать, только стонал. Теряя сознание, на какие-то минуты становился веселым. Улыбался, лепетал без умолку. Его трудно было понять, только отдельные слова вырывались знакомые, вроде «папа», «мама», «Витя». Потом его лицо передергивала мгновенная гримаса. Он тяжело вздыхал и вместо веселого лепета с губ срывался стон.

Мама пыталась накормить Колю манной кашей — он не ел. Ни капли.

Сутками мама была у Колиной постели. В эти дни я ни разу не видел ее спящей, ни разу не видел с сухими глазами. Отец молчал. И беспрерывно курил, курил...

— Как же я могла проглядеть!— убивалась мама.— Колечка, сыночек мой, зачем же ты упал? Это я, я виновата. Не доглядела.

Врач сказал, что тянуть больше невозможно. Надо Колю положить в больницу.

Мамины глаза загорелись надеждой.

— Доктор, он будет жить?

Врач помялся.

— Будем надеяться... Очень тяжелая болезнь. Не буду вас обманывать, перенесшие менингит, как правило, остаются на всю жизнь умственно неполноценными.

Видимо, это последнее и было самым страшным, но мама ничего не поняла, не хотела понимать. Она услышала, что Коля может выжить и уцепилась за эту возможность.

Колю увезли в больницу. Уехала и мама.

На другой день я, как всегда, сходил в консультацию за кашей. Когда вернулся, мама и отец уже были дома. Мама сидела на кровати, отец на стуле перед ней. Мне показалось незнакомым лицо мамы. Твердое, окаменелое, с плотно сжатыми губами. Глаза отца растерянно блуждали.

Ничего не подозревая, я окликнул маму.

— Ну что, мам. Коле лучше?

Она молчала.

— Ему уже можно есть? Ты отнесешь ему кашу?

Мамины губы задрожали.

— Ешь, Витя,— прошептала она с усилием.— Коле больше ничего не нужно.

Она со стоном упала на кровать, уткнулась лицом в подушку.

Мне стало холодно от внезапной догадки. Я снова, как в сорок первом во время бомбежки, почувствовал, что если буду сдерживать подступающие слезы — захохочу. Мое лицо уже подергивалось, расплывалось в дикой улыбке.

Я выбежал из квартиры во двор, потом на улицу. Бежал до самой Быструхи и там, на берегу, свалился под куст. И лежал оцепеневший, пока меня не отыскал отец.

В квартире было тихо. Весь дом уже, наверное, знал о нашем горе: потому что никто не приходил. Не хотели мешать.

Я забился в угол у окна и долго-долго думал. О том, что каждый год смерть уносит моих знакомых и родных. Зачем? Почему? Мне было жутко от того, что я не мог ответить на эти вопросы. От того, что смерть, может быть, подкарауливает и меня. Только ждет удобного случая.

Мама тяжело встала с кровати, начала готовить ужин. Все валилось у нее из рук. Она швырнула к печке фарфоровую чашку и положила на стол полено. То и дело падал нож на пол. Отец стал ей помогать.

— Ешь кашу,— сказала мне мама.— Пока еще картошка поджарится.

Я не шелохнулся. Нет, нельзя есть «колину кашу». И не стал есть.

На другой день, вечером, мама, заметив на столе пустую банку, посмотрела на меня удивленно.

— Ты не ходил?

— Нет.

— Почему? До конца месяца мы можем получать...

— Не пойду,— эти слова я произнес твердо, как мог.— Ты же знаешь, что я не люблю манную кашу.

Решил: пусть даже мне попадет — не пойду.

Мама молчала. Она, наверное, все поняла.

7

Говорят, скоро Челябинск. Мы проехали Курган и остановились в Чурилове. Кажется, надолго. Стоим час, стоим два, как вкопанные. Тишина, будто мы не в дороге, а дома. Не слышно привычного постукивания молотков по колесам. Не хлопают крышки букс, как обычно, когда подливают масло.

Всем до чертиков надоело ехать. Надое-

ло лежать на нарах. И все же мы лежим. Потому что соскакивать на частых остановках тоже надоело.

Все молчат. Павло иногда трогает струны гитары. Она тяжело вздыхает, словно жалуется на жару и скуку. А жара неимоверная. Хотя бы небольшой дождик пошел. Мы все время убегаем от дождя. Позади нас, на горизонте, не раз уже собирались тучи, похожие на охапки весеннего, потемневшего снега. Нам вдогонку гремело, стрелы молнии обгоняли нас, зигзагами перегораживали путь. А дождь так и не мог догнать.

— Дети,— слышится скрипучий голос бабы Груни.— Шо вы тут паритесь? Принесли бы холодной воды.

— Действительно,— подает голос мама.— Сходи, Витя.

Под солнцем еще хуже, чем в вагоне, но делать нечего, надо идти. Беру наше ведро. Оно совсем пустое.

— Захвати второе,— подает голос Павло.— Помогу.

Он натягивает гимнастерку. Я не жду. Подхватываю второе ведро с остатками воды и спускаюсь вниз. Как всегда, мы стоим не на первом пути. Чтобы добраться до станции, надо несколько раз нырнуть под вагон. Мигом, гремя ведрами: вдруг поезд тронется.

Павло догоняет меня у самой колонки, когда тугая струя холодной воды ударяет в звонкое дно ведра.

У колонки стоят двое раненых. Пожилой усач с костылями и другой, помоложе, с рукой на перевязи. Они жадно курят, беседуют весело, будто о житейских пустяках.

— Вхожу я в хату,— рассказывает усач.— Так и так, говорю, хенде хох. А хозяин мне по-русски. Ну, значит, не совсем по-русски, но понятно. Кто такой?— спрашиваю. Болгарин. Во как! Не заметил, значит, я, как в пределы Болгарии вступил.

— Да,— мечтательно щурится молодой,— а меня шарахнуло на венгерской земле. И зачем это мадьярам с немцами идти? Спросил я так одного мадьяра, а он мне: «Такого больше не будет».

Я заслушался, не заметил, как вода через край полилась. Павло потянулся к ведрам.

— Дай-ка понесу.

Еще чего!

— Не маленький,— говорю,— если хочешь, бери одно.

Он идет впереди, припадая на раненую ногу. Вода в ведре с каждым его шагом вздрагивает, льется через край и быстрыми струйками смывает пыль с голенища сапога. Павло несет ведро, как пустой портфель, нисколько, наверное, не чувствуя тяжести.

Сгибаться под вагонами ему неловко. Все же ведро с водой — не портфель, под мышку не возьмешь. Я вижу, как он неуклюже отставляет в сторону больную ногу. Кряхтя, боком пролазит под вагоном.

Так повторяется несколько раз.

— Давай ведро, буду переносить,— говорю я, но мой голос тонет в реве паровозного гудка.

Павло не слышал меня. Может, и слышал, но промолчал. Повторять не буду.

Еще один поезд на нашем пути. Павло пригибается, переносит ногу через рельс. И в эту секунду судорожно вздрагивает вагон. Звонко лязгают буфера. В руке Павла подпрыгивает ведро и отлетает в сторону. Я вижу, как круглый бак, что под вагоном, ударяет Павла в спину. Павло вскрикивает и падает ничком. Черное маслянистое колесо накатывается на него... Что-то хрустнуло под колесом.

Оторопев от неожиданности, я с оцепенелой осторожностью опускаю на землю ведро и смотрю по сторонам. Хочу позвать когонибудь на помощь, но вокруг ни души. Не могу смотреть туда, под колеса, которые уже начали выстукивать все быстрее и быстрее: «та-тата-та-тата...» Тошнота подступает к горлу. Я отворачиваюсь, медленно опускаюсь на землю и закрываю глаза.

Позади — «та-тата-та-тата...» И вдруг — человеческий голос. Громкий, но неразборчивый. Я соскакиваю, оборачиваюсь. Павло лежит там, под поездом, набирающим скорость. Лежит неподвижно. Но это его голос. Не поднимая головы, он яростно ругается. Остервенело, в бога и мать.

Что же ему сделало черное маслянистое колесо? Вижу руки и ноги. На спине, на зелени гимнастерки, выделяется светлое пятно. Что это? Пятно кажется мне то красным, то белым. Кровь?

Колеса завертелись, завертелись... «тататата-тата...» И смолкли. Сообразив, что передо мной больше не мелькают колеса, что поезд прошел, я кидаюсь к Павлу:

— Вставай!

Он молчит.

— Вставай!— кричу я громче, хватая его за плечо.

Он медленно отрывает лицо от грязных шпал, смотрит по сторонам, останавливает взгляд на мне. Тяжело поднимается, проводит ладонями по груди, переступает с ноги на ногу. Расслабленной походной подходит к моему ведру, берет его за бока и подносит ко

рту, как чашку. Руки его дрожат, вода заливает грудь.

Но ведь колесо накатывалось... Что-то хрустнуло под ним. Как же так? Оглядываюсь и вижу на рельсе ведро. То, что от него осталось: сплющенную жестянку.

Павло неловко свертывает «козью ножку», рассыпая махорку. Протягивает мне кисет. Я качаю головой.

— Пошли тогда,— говорит он и поднимает изуродованное ведро.— Для отчета надо взять. Не поверит старуха.

И снова мы ныряем под вагоны. Сначала я, потом Павло. Теперь он не отставляет ногу, а прыгает, будто кидается в воду.

Еще раз, последний. За этим поездом — наш. Он приметный, этот поезд. Весь из платформ. А на платформах уголь, густо политый известью, чтобы заметно было, если кто позарится на драгоценный груз. Мы пришли. Мы останавливаемся и смотрим друг на друга: нашего эшелона нет. За платформами с углем, за последними путями, в тупике, с кладбищенской смиренностью стоит потускневший, никому уже не нужный, облупившийся бронепоезд. Еще дальше — целая плантация серых от пыли лопухов.

— Отстали, — невесело хмыкает Павло, пощипывая щеточку усов.— Только этого не хватало.

— Отстали,— повторяю я с ужасом.— Что теперь делать? У нас же ничего с собой нет.

— Как ничего,— смеется Павло.— Полное ведро воды... Да, придется к военному коменданту идти.

Он снова становится самим собой, не унывающим, верящим, что найдет выход из любого положения.

Он одергивает гимнастерку, стряхивает пыль с локтей.

— У тебя вся морда в мазуте,— говорю я.— Сразу видно, что со шпалой целовался. И дыра на спине.

— Да ну!— Павло мигом растегивает ремень, снимает гимнастерку, и, оглядев дыру, удивленно свистит. — Это надо же! Чуть пониже — и как раз по спине бы шваркнуло.

Не долго думая, он садится на рельс, подложив измятое ведро, достает из бумажника иголку с ниткой.

— Да,— говорит он, аккуратно зашивая дыру. — Вот такие дела. Хотел бы ты, Витька, испытать то, что испытал я, лежа между колесами?

— Хотел бы. Проверить себя, но только в бою.

Кустистые брови Павла удивленно поднимаются.

— У-у-у! В герои хочешь попасть?

— Ну и что?

— Ну и дурак!

— Ты умный!— вскидываюсь я.— По-твоему, героями становятся от дурости? И герои — дураки?

— Нет, почему же. Героям почет, уважение и все такое... Только ты, Витька, ничего еще в жизни не понимаешь.

— Пойму, успею. Мне не пятьдесят лет.

— Хм, все герои, наверно, на это надеялись. И остались там, за Днепром, на вечный покой. Э, да что с тобой говорить!..

Он прячет иголку и, хватнув пальцами песок под ногами, подставляет руки.

— Такого мыла не пробовал?.. Полей.

Военный комендант — в здании вокзала. Чтобы добраться к нему, надо снова нырять под вагоны.

— Хватит,— говорит Павло.— Будем переходить через тамбуры.

Выплеснув на землю остатки воды, я вешаю на руку ведро. Я не возражаю: он может переходить через тамбуры. Мне под низ хочется.

Комендант, пожилой капитан с лиловыми мешками под глазами, долго читает документы Павла и мои военкоматские бумаги. Поглядывает то на него, то на меня. Долго слушает рассказ Павла о том, как мы пошли по воду и отстали от своего эшелона. Я простодушно добавляю:

— Он же под поезд попал. Хорошо, что живой остался.

— Под поезд? — капитан недоверчиво улыбается. — Как это, лейтенант?

Павло смотрит на меня укоризненно, но охотно рассказывает. Капитан смеется и ахает. Под конец, совсем подобрев, выписывает талоны на обед.

— Пункт питания рядом, сразу за станцией,— говорит он.— Торопиться вам некуда. Вот-вот прибудет воинский, но вас на него вряд ли возьмут. Через полчаса пойдет эшелон с углем. Им и уедете.

В стороне, у окна, все это время молча сидит еще один капитан, помоложе коменданта. Мне кажется, что он внимательно присматривается к Павлу и порывается что-то сказать. Уже в дверях нас настигает его голос.

— Одну минутку, лейтенант...

Павло останавливается, медленно, но четко, оборачивается.

— Слушаюсь, товарищ капитан.

— Ваше лицо мне знакомо. Особенно эти... усики. Но где встречал вас, убей — не помню. Вы под Синельниково не были?

Павло улыбается, отрицательно качает головой.

— Нет, я был под Харьковом. Разрешите идти?

— Да, конечно.

Павло козыряет и выходит. Я — за ним.

Как же так? Тогда, в вагоне, Павло рассказывал Тамаре, как его ранило. Он же сам говорил, что было это под Синельниково. Или мне показалось? А если не показалось, кому он соврал? Тамаре или капитану? И зачем ему врать?

— Слушай, Павло,— говорю я.— А тебе капитан не показался знакомым?

Павло несколько секунд с интересом смотрит на меня и говорит:

— Показался.

— Так почему ж ты...

— Вот что,— перебивает он.— Если я с каждым встречным начну болтать да вспоминать всякие героические эпизоды, то мы с тобой догоним своих месяца через два дома на печи. Понял? Сейчас подойдет воинский. Черта с два мы будем ждать углярку.

«А обед?»— хочу я напомнить, но сдерживаюсь. Ладно, догнать своих важнее.

Воинский подкатывает по первому пути. Это значит, что долго стоять не будет. Из вагонов высыпают солдаты в новеньком, еще совсем зеленом обмундировании. Они и сами еще зеленые. Все, как на подбор. Не старше меня, разве только на месяц-два. Я с завистью смотрю на них. Страшно хочется вот так, как они, иметь свою гимнастерку, галифе, крепкие сапоги. Иметь свой автомат.

Павло говорит с солдатом о чем-то и направляется к вагону, снизу доверху заклеенному плакатами. По ступенькам лестницы из вагона спускается круглолицый заспанный майор. Крепко потягивается, вскидывая короткие толстые руки. Увидев козырнувшего ему Павла, строго хмурится, говорит сиплым, раздраженным голосом:

— Чего ты? Без погон можешь и не чесать за ухом. Отвоевался?— он тычет пальцем в желтую и красную нашивку на груди Павла.

— Так точно,— отвоевался. Два ранения,— отвечает Павло.

— Ну и что? Пропился и ехать домой не на что?

— Никак нет. Отстали от эшелона. То есть я и вот со мной мальчишка.

— Ну и что? Хочешь, чтоб я вас взял?

— Так точно.

— Не положено.

— Я не прошусь в вагон, товарищ майор. Мы в тамбуре.

— Умный. Я и сам не против в такую жару в тамбуре прохладиться... Ишь, умный. А ежели мы проскочим твой эшелон? Он же стоит, наверно, целыми сутками, а мы шпарим со скоростью курьерского.

— Ничего, товарищ майор,— кажется начальник поезда заколебался.

— Лучше проскочить, чем не доскочить.

Майор кряхтит.

— Жаль, что ты без погон. А то бы я тебя за лишние разговорчики на губу отправил.

Они долго молчат. Я от нечего делать рассматриваю плакаты. «На запад!»— наш солдат прикладом сшибает стрелку с надписью «Nach Osten!» Правильно делает! «Бей насмерть!»— солдат у пулемета. «Пусть на фронте будет воин за свою семью спокоен...»

— Ладно,— говорит майор.— Тебя я возьму, если документы в порядке.

— В порядке,— голос Павла веселеет.— Комендант уже проверял.

— Возьму,— продолжает майор.— Но только тебя одного. Гражданское население брать не могу. Строго запрещено.

Что? До меня доходит смысл этих слов, я кидаюсь к майору.

— А как же я?

— Не маленький,— кряхтит майор.— Догонишь другим. Не могу я, молодой человек. Не мо-гу,— и, считая вопрос решенным, он поворачивается к вагону.— Кузьма!

В дверях вырастает дядька с погонами сержанта.

— Я тут, товарищ майор.

— Что это за «я тут»,— морщится майор.— Совсем разбаловался на фронте. Накорми товарища. С нами поедет. Я к коменданту загляну и двинем дальше.

— Павло,— говорю я,— что ж ты молчишь?

Он заложил руки за спину, смотрит на меня вприщур, будто знает что-то, но не хочет сказать. В глазах нет «грифелей», одна круглая пустота.

— Павло, попроси майора за меня.

— Это бесполезно. Он человек военный, обязан выполнять приказы.

— Ну попроси все же.

— Знаешь что,— Павло достает из кармана талоны на обед.— Возьми. Сходи поешь. На углярке догонишь в Челябинске.

Он сует мне талоны в руку и неловко, отставляя в сторону раненую ногу, взбирается по ступенькам в вагон начальника поезда.

Я иду прочь, гремя ведром, проклиная

себя и Павла. Особенно Павла. Сволочь, о своей шкуре беспокоится. А еще на фронте был, говорит, что в жизни понимает.

Ныряю под воинский вагон, нагибаюсь под следующий, решив сразу же добраться до платформ с углем. Отчаянная мысль останавливает меня. Рядом тамбур воинского. И никто не видит меня. На этой стороне. Взлетаю по ступенькам, сажусь на пол, свертываюсь, насколько могу, в комок. Ах, как бы я хотел иметь в эту минуту шапку-невидимку!

Звонко гудит станционный колокол. Что-то протрубил горнист. Где-то совсем рядом, на земле и за стенкой вагона, смех, крики, возня молодых солдат.

Кто-то трясет меня за плечо. Пропал! Нет, это вагон дернулся. Облупленное станционное здание поплыло назад. На перроне стоит комендант. Увидев меня, он бежит за поездом, размахивая руками и крича. Страшно хочется показать ему нос. Поезд уже не остановить.

Я мчусь со скоростью, о которой давно забыл. Мимо частоколом мелькают столбы. Полустанки и станции спешат назад, назад. Рев паровозного гудка разрывает небо. Свистящие кнуты пара и дыма хлещут по бокам вагонов, подгоняя их: скорее, скорее, скорее...

8

В Челябинске сразу узнаю наш эшелон, платформы со станками и один вагон. Воинский не успевает остановиться, как я соскакиваю на землю.

Первой меня видит мама. Она беспокойно выглядывает в дверь и, заметив меня, кричит, обернувшись в вагон:

— Витя идет!

Ей хочется обнять меня, я чувствую, но это ни к чему. Не маленький. Поднимаюсь в вагон, ставлю на пол пустое ведро, осматриваюсь. Высовывается остроносое лицо бабы Груни. Она смотрит тревожно.

— Павлуша ж где?

— А карты что вам говорят?— я улыбаюсь и чувствую, что улыбка получилась кривая, неестественная.

— За смертью вас только посылать,— сердится она.

Рядом со мной встает Тамара, смотрит требовательно.

— Где он?

— Явится сейчас, утрите слезы.

— Витя,— хмурится мама,— нельзя так разговаривать.

— Можно,— меня душит обида.

Тамара презрительно кривит губы.

— Псих. Ненормальный.

Из темного угла подает голос отец:

— Залазь сюда.

Опять отсиживается наш «дезертир».

Забираюсь на свое место. Отец улыбается, глядя исподлобья, будто даже виновато.

— Ну, рассказывай. Зря тебя, конечно, послали.

Начал я, да замолчал: в вагоне появился Павло. Руки раскинул, хохочет. Тамару обнимает.

— Здоровеньки булы! Вот и я. Ну, напугались?

— Еще как,— говорит Тамара.

— Вот история!— Павло вдруг вспоминает:— А почему про Виктора не спрашиваете? Ничего с ним не случилось. Он другим поездом едет, вот-вот будет.

Баба Груня стучит пальцем по нашим нарам.

— Уже приехал. Раньше тебя.

Не веря этому, Павло заглядывает наверх, смотрит на меня растерянно и быстро ныряет вниз.

— Да,— слышу его голос,— история. А ведь я мог и не догнать вас. Как подумаю: пули за мной гонялись — не догнали, а тут, в тылу, опять перед глазами костлявая появилась. Коса шею холодком обдала... Воды мы с Витькой уже набрали, пошли обратно...

Все в вагоне примолкли, слушают. Мне теперь и рассказывать незачем. А слушать не хочется. Все известно. Если Павло что и приврет — черт с ним. Его не поймешь, зачем он иногда врет. Зла от этого вроде нет, а если ему без вранья скучно — пускай себе. Вот, пожалуйста, о капитане — ни слова. Хоть бы сказал, где видел его.

Вот, вот оказывается, мы ехали вместе, а майор просто не брал меня в вагон, но разрешил ехать в тамбуре. Ну и выдумщик!

Мама со вздохом поднимается наверх.

— Что, путешественник, есть хочешь?

— Еще как!— признаюсь я.

— А у нас сегодня консерва. Рыба какая-то в собственном соку. Банка большая-большая! На, открывай.

Банка, действительно, огромная. Со смешно выпученными днищами. Без этикетки, с налетом ржавчины на боках.

— Не банка, а буржуй какой-то,— ворчу я, приставляя острие отцовского перочинника к железному «животу».

«Буржуй» всхлипывает, и тонкая мутная струя ударяет мне в лицо. Задохнувшись от нестерпимой вони, я роняю нож, хватаю первую попавшуюся тряпку, чтобы протереть глаза.

— Что с тобой?— мама испуганно глядит на меня, потом на банку и зажимает пальцами нос.

Отец с остервенением сплевывает в окно.

— Порченая. Вот же гады, держали где-то всю войну, а теперь спекулируют.

Мамины глаза наполняются слезами.

— Как же так можно! Я ей шаль отдала, совсем новую шаль, а она мне — порченую консерву... Что ж вы сегодня есть будете?

— А ты что?— невесело улыбается отец.

На нижних нарах шум и возня. Показывается всклокоченная шевелюра и намыленное лицо Павла.

— Что там у вас?— спрашивает он сердито.— Дышать нечем.

Когда он говорит, на мыльной пене рот раскрывается, как глубокий порез.

— Нельзя же так, в конце концов,— продолжает он.— Не одни в вагоне, черт побери!

— Да вот,— виновато отвечает мама, трогая банку, — консерва.

— Тьфу, пропасть! Выкиньте ее, отравитесь.

Мама согласно кивает головой, а когда Павло скрывается, говорит мне негромко:

— Открывай, Витя, дальше.

— Зачем?— удивляюсь я.— За окно ее...

— Открывай.

Ничего не понимая, вырезаю весь железный «живот».

— Вылей за окно рассол. Осторожно, юшку только вылей.

— Выливаю.

— Принеси воды.

Мама почти доверху заполняет банку водой и укутывает чистым полотенцем.

— На остановке сразу разводим костер.

— Что ты придумала?— ворчит отец.

Мама вздыхает.

— Молчи уж. Что-то надо же придумывать.

Я лежу и слышу разговор Тамары с Павлом.

— Мария Яковлевна отдала за эту консерву шаль,— говорит она.

— Правда? Жалко, конечно, отдавать вещь ни за что.

— А, вещи будут. Потом будут. Но им сейчас надо есть, сегодня. Пайков до утра нечего ждать.

— Это верно, теперь узловой станции не будет.

— Давай дадим им мяса. Хоть немного.

— Что?— голос у Павла удивленный.

— У нас вон сколько...

— Сколько?! Самим не хватит. Не рассчитывал на троих. — Он смеется деланно, несмело.— А у тебя еще после блокады аппетит, как у доброго солдата.

Мои уши загораются. Я хватаю их ладонями, зажимаю, чтобы не слышать этого разговора. Прикусываю губы, потому что мне хочется крикнуть в щель: «Не надо нам, подавись!» Потом откатываюсь от стены и с остервенением затыкаю щель одеялом.

Вот и остановка. Необъяснимая, как и многие наши остановки. Встал паровоз — и все. Я быстро собираю хворост и развожу костер. Мама ставит на него банку. Отец неподвижно сидит на корточках и смотрит в огонь, посасывая цигарку.

К нам подходит Тамара. Она вытаскивает из-под полы жакета что-то завернутое в бумагу и протягивает маме.

— Мария Яковлевна, возьмите.

— Что это?— удивляется мама.

— Мясо. Павло дал.

Мама отстраняется.

— Нет, нет. Спасибо, Тамара, не надо.

— Возьмите,— Тамара смотрит умоляюще.

Отец швыряет окурок в костер и отходит к вагону. Мама качает головой, наклоняется над банкой.

Тамара поворачивается ко мне.

— Ну, что же вы... Витя, возьми. Думаешь, я забыла, как ты мне сухари... Ну, не будь Гусаром!

Мне хочется снова схватить себя за уши. Вместо этого я смотрю в землю и говорю:

— Сухари были наши, не чужие. А это мясо... Не обижайся, Тамара — не возьму. Как-нибудь обойдемся. У нас не солдатский аппетит.

Она ойкает и опрометью бежит к вагону. Мама, увидев это, замахивается на меня ложкой.

— Ты злой, Виктор. Зачем ты так? Думаешь, я в вагоне ничего не слышала?

— Надо быть злым,— отвечаю я упрямо.

— Дурак.— Она задумчиво смотрит куда-то вперед.— А может, правда: сейчас надо быть кому-то добрым, кому-то злым. Сейчас нельзя быть никаким.

В банке мечется желтая жижа. Теперь она, приправленная луком и перцем, пахнет по-другому. Мама снимает банку с огня, ставит на землю.

Нет, этого «буржуя» я есть не буду. Хоть он и щекочет горло рыбным запахом.

Я ухожу в вагон. Навстречу мне по лесенке боком спускается Павло, поглаживая непривычно голое место под носом: он сбрил «щетку».

— Что, кореш,— говорит он, уколов меня острыми карандашами своих глаз и мгновенно спрятав их.— Говоришь, у тебя не солдатский аппетит?

Его кулаки сжаты пальцами наружу, будто он собирается ударить меня обоими снизу. Спина его ссутулилась, как у зверя, готового к прыжку.

Легкая дрожь коробит меня. Так бывало, когда я сходился нос к носу с каким-нибудь пацаном, который хотел надавать мне по шее. После этой дрожи всегда приходит злость, приходит сила.

— Так это ты против меня Тамарку подбиваешь?— продолжает Павло.

Я молчу и улыбаюсь.

— Он еще скалится!

А мне просто смешно смотреть на его верхнюю губу. Совсем не загорелый квадрат — те же усы, только белые.

— Нет,— говорю я.— Зачем ее подбивать, сама не маленькая.

— Сопляк!

В драку он не полезет. Тем более, что к нам подходит мама, грозно сжимая ложку в руке, а сверху, из вагона, над Павлом навис, держась одной рукой за дверь, отец.

— Если еще раз...— шепчет Павло с угрозой.

— Иди ты к черту!— говорю я таким тоном, будто приглашаю его прогуляться по парку, и спокойно поднимаюсь в вагон.

На ящике сидит, спрятав лицо в ладонях, Тамара. Она тихо плачет. Что-то бормочет в своем углу баба Груня. Отец подходит к Тамаре, кладет ей руку на плечо.

— Не надо. Всяко бывает.

Она склоняется еще ниже.

— Человека жизнь учит. Его еще не научила.

Она медленно поднимает лицо.

— Кого?

— Да Виктора нашего. Что с него возьмешь?

— Нет, нет, он не виноват. Ни в чем не виноват... Это я... Я сама... Нам не надо было ехать вместе.

Отец поднимает брови.

— Почему?

— Он знает... Виктор знает.

Да, я знаю. И понимаю, что она права. Нам не надо было ехать вместе.

Как-то навыворот получается. Но разве я виноват? У меня нет охоты ссориться ни с Павлом, ни с Тамарой. Все это получается помимо моей воли, но, чувствую, иначе и быть не может. Видно, такой уж у меня неуживчивый характер.

Банка с горячим варевом стоит у окна, на кастрюле, перевернутой вверх дном. Отец поглядывает на нее искоса, неодобрительно.

— Неужели ты думаешь,— говорит он маме,— что можно есть эту отраву?

— Думаю, можно,— спокойно отвечает мама.— Да ты не бойся раньше времени.

Она берет ложку и начинает есть.

— Мать!— отец почти кричит.— Перестань!

Она устало поднимает на него запавшие глаза. Укоряюще говорит, медленно растягивая слова.

— Ну, чего тебе? Чего?.. Молчи, Степан, я попробую. Если ничего со мной не будет — потом вы.

Он плотно сжимает губы и неотрывно смотрит на маму. Она продолжает есть. Отец, кажется, растерялся и не знает что сказать, что сделать. Что же он? Схватил бы эту банку — и в окно ее. Что же он? Значит, я должен это сделать.

Я протягиваю руку. И натыкаюсь на ложку, которую мама уже отложила. Выбрасывать банку поздно. Я ее выброшу, а мама отравится. Будто кто-то толкнул меня в спину. Я хватаю ложку и ем из банки. Ем торопливо, проливая на постель, пахучее и страшное варево. Ем, боясь, что отец сейчас выхватит банку и швырнет в окно.

Он неопределенно кряхтит и тоже берет ложку.

Ночью я спал плохо. Прислушивался к себе, к тому, что творится внутри. Ждал, что вот-вот начнет давить тошнота, резанет в животе.

Ничего со мной не случилось. Ни со мной, ни с мамой, ни с отцом.

9

Ночь не принесла прохлады. Рассвет только проклюнулся, а от стенки вагона уже несет жаром. Наверное, в вагоне никто не спит. Слышно, как ворочаются, тяжело вздыхают отец и мама. Павло бренчит на гитаре незнакомый, расплывчатый мотив и напевает вполголоса:

Ах, любовь, ты любовь!
Это ж страшные муки.
Разыгралася кровь,
К тебе тянутся руки...

Почему-то никогда мы не говорим о том, что ждет нас впереди. Мы не знаем даже, к чему приедем. Может, к голому месту. Наверное, все боятся об этом говорить. Все думают, но боятся говорить о том, что думают. Значит, не о веселом. Мне кажется, и Павлу не весело. Хоть и поет он:

Ах, тебя обниму,
Задохнусь я от страсти.
Никому, никому
Не отдам свое счастье.

Непонятный он человек. А счастья хочется всем. Пусть и у него будет. Не жалко. Все же злой я человек, правильно мама сказала. Ну что мне стоило взять мясо? Не было бы Тамариных слез, и Павло не глядел бы волком. Почему я не взял? Действительно — Гусар. Не зря Тамара вспомнила этого знаменитого человека из алтайского городка.

Его знали все. Потому что у него «не все дома». Такие всегда знамениты больше, чем самые умные люди. Видимо, потому, что безумцы частенько делают то, что может сделать нормальный человек, но не делает. Не решается. А это всем интересно посмотреть.

Гусар был здоровенным парнем. Как его звать — никто не знал. Обзывали кто как хотел. А когда однажды он прошелся по центральной улице в белых кальсонах, одна бабка возмутилась:

— Срамник! Вырядился, чисто гусар!

Так и приклеилась к нему новая кличка. О других забыли.

Иногда Гусар появлялся на улице с лопатой и расчищал кювет. Хотя никто его об этом не просил. Или забор ремонтировал.

Когда Гусар разговаривал сам с собой, мальчишки ходили за ним, как верная челядь. Все-таки забавно было смотреть на всякие чудачества Гусара. Ну разве не смешно: человек штакетник приколачивает, а его никто не заставлял.

Если Гусар молчал, к нему боялись подходить. Он дико смотрел по сторонам. В такие минуты мог огреть чем попало. А однажды молча на берегу Быструхи зверем кинулся на девушку, схватил ее в охапку и понес под мост. Она ошалело заорала, вцепилась ногтями в его лицо. Да тут еще на мосту зашумели женщины. Гусар швырнул на землю девчонку, посмотрел на нее с удивлением и неторопливо побрел по берегу, забормотав что-то себе под нос. И в тот день его больше не боялись.

Кто-то сказал, что у него помешательство после менингита. И я, вспомнив Колю, стал жалеть Гусара, не раз отгонял от него самых нахальных пацанов.

Никто, или почти никто, не знал, где живет Гусар, кто его кормит. Голодать он, во всяком случае, не желал и потому каждый день рыскал по базару. Увидев горку кукурузных лепешек на прилавке, он спокойно брал одну и с хрустом уплетал тут же. И не платил, конечно. Нечем было платить, да он и не знал, как это делается. Поначалу чеченцы помалкивали. Прятали только свой товар, завидев вблизи Гусара. А потом осмелели. Однажды Гусар взял лепешку и не успел донести ее до рта. Старик в бешмете ловко, с чабанской сноровкой взмахнул плетью, тонкий сыромятный ремень рванул на спине Гусара льняную рубаху. Он выронил лепешку, хрипло замычал от боли и бросился бежать.

Несколько дней Гусар не появлялся на базаре. Потом пришел. Кошачьей несмелой походкой подкрался к прилавку, где желтели лепешки, схватил, сколько смогла загрести его огромная пятерня, и побежал.

Так и повелось с тех пор. Торговцы ни минуты покоя не знали. То и дело по сторонам оглядывались: не видно ли Гусара. Только все время озираться не будешь, надо и с покупателями поговорить. А Гусар тут как тут. Схватит лепешки — и ходу.

А однажды он не успел схватить. Протянул руку и в тот миг рядом увидел злые глаза старика, который хорошо умел управляться с плетью. Гусар попятился. Глаза старика потухли. Он взял с прилавка несколько лепешек, протянул Гусару.

— Кушай. Не надо сердись. Кушай.

Гусар продолжал пятиться, бормоча что-то невнятное. Он запнулся, постоял, глядя в землю, неожиданно схватил камень и со всей силы запустил его в старика. Чеченец едва успел увернуться. Вскинул руку с плетью, но Гусара уже не было.

А ведь Гусару наверняка в тот раз очень хотелось есть. Но даже он не взял милостыню.

10

Мы уже на Украине. Совсем рядом наши места. Днем мимо пробегают белые мазанки. Да они и не белые, а серые какие-то, с подпалинами. И без крыш. Видно, сгорела солома.

А ночью мы снова стоим. На большой станции. Названия ее никто не знает. Да и как знать? Ведь до войны все было не так. Может, на этом месте, рядом с нашим вагоном, стояла будка стрелочника. Может, здесь вообще товарные поезда не останавливались.

Духота такая, что дышать нечем. Мама в который раз говорит: к дождю. Мы снова не спим, будто ждем чего-то. Я тоже жду. И думаю: раскололось бы сейчас небо пополам, опрокинулось бы на нас холодным ливнем.

Валяться на нарах надоело до тошноты. И песни Павла надоели. Как он может еще тренькать на гитаре?

— Пап,— говорю я неожиданно для самого себя.— Дай хоть закурить, что ли.

— А?— отец приподнимается. Не вижу его, но чувствую, что он сейчас округлил глаза и не знает, что сказать.

— Закурить, говорю, дай.

Заворочалась мама.

— Этого еще не хватало,— говорит она.— Ты что, шуткуешь?

Я действительно шутил. Но теперь мне было смешно их волнение. И я продолжаю настаивать.

— Жалко тебе, да? Или я маленький?

— Ты же не курил,— удивляется отец.

— А теперь хочу попробовать.

— Зря.

Мама что-то ворчит вполголоса, отворачивается, а отец сует мне в руку кисет.

— Ну попробуй.

Ладно, попробую. Все же это что-то новое, не надоевшее. Спускаюсь вниз, выпрыгиваю из вагона. Огней на станции совсем мало. И все какие-то тусклые, чуть живые. Сажусь на рельс и сворачиваю цигарку. Оказывается, это дело только со стороны такое простое. Газетный клочок, как я ни слюнявлю концы, никак не хотел склеиваться. Махорка сыплется на землю. Кое-как справился с этим делом, нащупал в кисете зажигалку, сделанную из винтовочной гильзы.

На огонь летят не только бабочки. И люди. Едва колесико зажигалки высекло сноп искр и затлел фитиль, как рядом послышались шаги. Ну, мало ли кто ходит по пути. Стрелочник, сцепщик... С треском горит цигарка. Затягиваюсь и хватаюсь за грудь. Тьфу, гадость какая!

Шаги приближаются. Человек останавливается рядом, и я слышу старческий дребезжащий голос:

— Товарищ, на одну затяжку не найдется? Табачку не найдется?

— Закуривайте,— протягиваю ему кисет, вижу, как жадно он хватает его, быстро сворачивает длинную цигарку.

Он прикуривает от моего огонька и садится рядом на рельс. Я молчу. Он жадно сосет самосад, вздыхает и тоже молчит.

По пути, на котором мы сидим, подкатывается паровоз. Мы не встаем. Паровоз катится медленно, останавливается метрах в двадцати от нас и облегченно вздыхает. Его тускло светящийся глаз помогает мне разглядеть старика. Лохматую голову с седой бородой, помятый пиджачок.

Старик смотрит на меня.

— Откуда едете?— спрашивает он.

— С Алтая.

— Всю войну там были?

— Всю.

— Э, вам повезло.

— Наверно, повезло,— говорю я.

— А как же! Войны не видели, под немцем не были. А я вот не успел уехать.

— Ну и как?

Он перекладывает из одной руки в другую окурок, обжигающий пальцы.

— Лучше не вспоминать.

— А что вы делали при немцах?

Он смеется беззвучно, будто сдерживает кашель.

— Я музыкант. Они хотели, чтобы я помогал им разучивать фашистские гимны,— его борода трясется от волнения.— Я не предатель, я не стал... Хотели меня увезти в Германию. Но я по-прежнему здесь, на своей земле. Они тоже на своей, но поют уже по-другому.

Он умолкает, руки его тянутся к кисету, ловко делают новую закрутку.

Вагон не спит. Слышно, как разговаривает кто-то. Павло, кажется, угомонился, не слышно гитары. Нет, не угомонился. Опять играет.

Ах, любовь, ты любовь!
Это ж страшные муки...

Старик роняет цигарку, весь подается в сторону вагона.

— Кто это?

— Что?— не понимаю я.

— Кто играет?

— А, наш один. На фронте был, раненый.

Вижу, как дрожат его руки. Он хватается ими за рельс, поворачивается ко мне.

— Его как звать?

— Павло, а что?

Он торопливо поднимается. Бормочет:

— Нашел! Это она, она...

Он идет к вагону. Соскакиваю тоже, пытаюсь остановить его.

— Кого вы нашли? Постойте.

Он не слышит меня. Он бежит и поднимается в вагон. Сумасшедший старик!

— Стойте!— хватаю его за плечо уже в вагоне.— Куда вы?

Он вырывается, тянет руки туда, откуда слышится песня.

— Отдай!

Нас услышали в вагоне. Павло высовывается на шум.

— В чем дело?

— Отдай!— старик говорит это и пятится, шепчет: — Это ты, ты. Отдай гитару. Это память об отце. Отдай гитару. Ты не хотел взять вместо нее лучший в мире рояль. Отдай же ее сейчас.

Павло бросается ко мне.

— Кого ты привел? Не видишь, что он не в своем уме?

— Не в своем?— старик подскакивает к Павлу.— Нет, я в своем. Я помню, как власовцы грабили музыкальную школу. И с ними был ты. Ты предатель, убийца...

— За-мол-чи!— Павел заносит кулак.

В полусумеречной сини вагона все нечетко, расплывчато. Все же я вижу, как в ожидании удара уходит в плечи голова старика. Вижу кулак Павла и перехватываю его обеими руками. Павло взвизгивает от ярости, другой рукой бьет меня в грудь. Я не выпускаю его кулак. Он бьет меня еще раз, вырывается, прыгает из вагона. Следом за ним, прямо на него, прыгаю я. Делаю то, что однажды сделал он мне: ногой по его ноге, и он, запнувшись, падает. Плотным клубком мы катимся по земле.

Наверное, мама правду говорила, что я злой. Павло хочет вскочить, а мои глаза застилает злость, я бью его кулаком по лицу, в живот. Крик вокруг меня или шум в голове от злости? Над этим думать некогда. Павло вскакивает, но я снова успеваю дать ему подножку, и мы опять на земле. Он рычит, хватает меня зубами за руку, и я еще, еще опускаю кулак на его лицо, на светлое пятно над губой, где недавно была щетка усов.

Он выворачивается из-под меня, выхватывает из кармана что-то остро блестящее. Инстинктивно загораживаюсь локтем и вдруг вижу, как чья-то незнакомая рука перехватывает нож. Меня кто-то берет за шиворот и приподнимает над землей. Мой кулак описывает дугу, но попадает в пустоту.

— Но, спокойно!— слышу чей-то окрик.

Меня встряхивают и ставят на ноги. Павла держат два солдата с красными повязками на рукавах.

— Что за шум?— спрашивает тот, который держит меня.

Оборачиваюсь, вижу старшего лейтенанта.

— А ну, документы.

К нам подбегает старик. В одной руке он держит гитару, другой тычет в грудь Павла.

— Он. Это он, власовец. Берите его, сынки, берите.

Мы идем под конвоем. Я и Павло. Мы молчим. Солдаты и офицер тоже молчат. Рядом с нами семенит старик. Широкие штанины трепыхаются на его босых ногах. Он трогает струны гитары и прижимается к ней ухом. Он счастливо улыбается, будто человек, обнявший лучшего друга, с которым не виделся много-много лет.

11

Наш эшелон стоит до утра. Утром я возвращаюсь один. Без Павла. Меня встречают молча и настороженно. Забираюсь на свои нары. Вытаскиваю из кармана кисет.

— Возьми, отец. Не хочу.

Отец берет кисет и молчит. Собираю коекакие свои пожитки, складываю в наволочку. Мама настороженно следит за мной, не выдерживает.

— Ты что?

Кажется, этого вопроса я ждал. Бросаю наволочку, обнимаю маму, говорю:

— Прости, мама, мне пора.

— Что пора?

— Надо идти на фронт. Завтра мне будет восемнадцать.

Она отстраняет меня, смотрит строго. Так, она, бывало, смотрела перед тем, как сказать: «Ну, Витька, беру ремень».

— Дурачок,— чувствую в ее голосе слезы,— кто тебя гонит? Война вот-вот кончится.

— Кончится,— соглашаюсь я,— а когда? Ты же видела, их добивать надо. Берлин еще брать надо.

Мама оборачивается к отцу.

— Степан, что же ты молчишь? Скажи, Степан!

Отец мусолит цигарку, не поднимая глаз.

— Что я скажу. Надо идти.

Из наволочки получился удобный вещмешок. Веревкой прихватил ее в углах — и на плечо. Хотел уже из вагона выпрыгнуть — Тамара подошла. Лицо ее посерело за ночь, глаза пеплом подернулись. Увидел я ее — остановился. Хотел ведь, чтобы она подошла, ждал доброго слова.

— Витя,— говорит она,— все, значит, правда? Ну, с Павлом.

— Правда, — говорю, не хочу хитрить, хоть мне и жалко ее.— Все правда.

— Брешете! Брешете!— слышится сердитый голос бабы Груни.— Карты мне говорят...

— Все правда,— повторяю я.

Тамара не плачет. Она наклоняется ко мне. Будто на прощание обнять хочет. Ни к чему это мне, хоть и жалко ее. Нет, я не забуду Тамару. Найду ее потом, после фронта. Когда не потребуется быть злым.

Ну, хватит. Надо идти.

Я иду, переступая через рельсы. Иду, иду, иду. Надо мной раскалывается небо, и холодный ливень туго бьет по спине. Я иду, не прячусь. И думаю, что вот и спадет в вагоне духота. Отец и мама теперь отдохнут. Скоро они будут дома.

Иркутск, 1966.

НИНА ГРЕХОВА

* * *

Но нет, немыслимо остаться
листом последним на стволе.
Остаться — это значит сдаться
минутной подлости своей.

Еще не поздно бросить оземь
всю горсть подаренных монет.
Еще судьба моя, как осень,
не сведена тобой на нет.

Зачем к душе моей прижалось
сомненье в истине нагой?
Последний лист сорву, как жалость,
и раздавлю его ногой.

ПЕСНЯ О ВРЕМЕНИ

Ты все бежишь,
а это только эхо
твоих шагов, когда мы мчимся вслед
тебя догнать и получить ответ —
не существует Ноева ковчега.
Так что же ты споткнулось на бегу?
Иди, иди, здесь все уже воспето —
от вялых трав до спиц велосипеда
и женщины, уснувшей на лугу,
от белых ног
до губ ее надменных.
Вот человек — он весь в твоих руках.
Иди, иди, тебе не надо медлить —
и наступи — тебе не привыкать,
не вздрогнет мир от этой перемены.
О, наступи!
Ты всемогуще, Время,
ты знаешь все —
как велика Россия
и почему легки ее стрекозы,
и где висит ракета, как росинка,
на ниточке последнего психоза.
Уже июль,
а луг еще не скошен.
Вот человек, уставший от земли.
И медленно над ним кружится коршун,
и медленно качаются шмели,
вонзившись в дозревающие травы.
Как краток миг,
как бесконечен миг.
Еще не поздно, но уже не рано,
пора бежать тебе от рук моих.
Лишь ты уйдешь,
и все уйдет бесследно,
опалено дыханием твоим.
Постой, постой,
посередине лета
заплачь о том, что мир несотворим.

ПЕСНЯ

Ты все куришь,
чуть оскаленно и лакомо.
А глаза твои забились в уголок,
будто ты моя ученая собака
и приносишь мне зубами уголек.
Это больно, это страшно
обжигает,
да уйти тебе от правды невдомек,
а глаза твои чего-то ожидают —
ведь не даром мне приносишь уголек.

Может, хочешь,
чтобы я тебя любила,
чтобы гладила тебя по голове,
чтобы мною нанесенная обида
растворялась, словно радуга в траве.
Ах, какое нынче лето исчезает —
может, что-нибудь я сделала не так...
Мое солнце убегает, словно заяц,
все мелькает
в исчезающих кустах.
Как прожить мне эти дни
и не заплакать
от нелепого сияния в глазах?
Ты, наверно, притворяешься собакой,
чтобы слова мне плохого не сказать.

* * *

Хорошо с тобой, человек.
Только это нам не на век.
Не на век,
а на все века...
А любовь моя коротка.
Коротка,
словно первый снег,
коротка,
словно лунный бег,
коротка,
словно бабий век...
Хорошо с тобой, человек.

* * *

Тревожная ночь уходит.
    О ветер, мой бледный рыцарь,
Безумны твои ладони,
    протянутые ко мне
Во имя одной минуты.
    Сегодня ты бескорыстен.
Построй мне воздушный замок
    на голубом холме.
Какой удивительный город —
    жилища его наивны,
Прозрачные в середине
    и розовые с боков.
Еще погоди немного,
    пока не упали ливни,
Пока не разрушились замки,
    замки из облаков.
Еще погоди немного,
    пока просыпаться рано.
Но четкою полосою
    уже горизонт окаймлен.
Позволь мне войти с тобою
    в ворота последнего храма,
Семью цветами горящие
    над голубым холмом.

* * *

Еще только вчера
мы не знали друг друга, не так ли,
еще только вчера
все на свете снега замели,
а сегодня опять
разбиваются вдребезги капли.
О, как трудно понять это твердое тело земли.
О, как трудно подняться,
возникнуть, воспрянуть из плена,
из пахучего луга,
который еще не рожден,
чтобы легкою тучкой
по небу пройтись откровенно
и на землю упасть громыхающим теплым дождем.
Отчего мы не знаем,
какие нас ждут перемены!
Прорастает трава,
и дрожат ее тонкие пальцы.
А седой снегопад,
слепотою своей неприемлем,
укрывает ее,
исчезает на новом асфальте.

АРСАЛАН ЖАМБАЛОН

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ

Я зашел к ним в субботу
                вечером,
Выкроив время на полчаса.
Снова
        ложатся руки на плечи,
Снова
        звенят друзей голоса.
Снова,
        как в давние дни,
                я весел.
Слышу,
В сердце стучит любовь.
    В кружеве танцев,
    В пламени песен,
Юность моя,
Я снова с тобой.
Вы на меня не коситесь,
                люди,
Не говорите
                «сошел с ума»...
Просто
Из самых будничных будней
В сердце своем
                я устроил май.
И потому я так счастлив
                и весел,
И потому-то в сердце любовь.
    В кружеве танцев,
    В пламени песен
Я повстречался, юность,
                с тобой.

РУССКОМУ ДРУГУ

Друг на дружку мы взгляды
                косые
Не бросаем, встречаясь
                с тобой.
Нас обоих сроднила Россия,
Словно братьев, судьбою
                одной.
Одинаково нас обласкала

Добротой материнской своей
И на синих отрогах Урала,
И в раздолье бурятских степей.
И к заветной мечте человека,
К тем вершинам, что в далях
светлы,
Мы на крыльях двадцатого
века
Неразлучно парим, как орлы.

Перевод с бурятского В. Автономова

ИГОРЬ КИСЕЛЕВ

* * *

Морозом тронуты ранетки.
Плоды прохладны и вкусны.
Уже прозрачны, как ракетки,
Их облетевшие кусты.

Нет, не боязнь, не отрешенность,
Не горькой истины урок —
Высокая незащищенность,
Когда оружие у ног.

* * *

Не знаю, отчего,
На вид обыкновенны,
У дома моего
Просвечивают стены.

Я долго строил дом,
Чтоб, не сломав традиций,
Тем домом, как щитом,
От всех отгородиться.

Как панцирь, как броню
Перед ветрами всеми,
В которой сохраню
Себя от потрясений.

Пророчу или лгу,
Смеюсь, буяню, плачу.—
Я нежность и тоску
От глаз чужих упрячу.

Там судит мой закон
Неправого и злого,
Там не замкнут замком
Трепещущего слова!

И вот я у стола,
Один во всей Вселенной.
Но, словно из стекла,
Просвечивают стены!

И мир, прорезав тьму,
Ликуя и стеная,
Гремит в моем дому
За четырьмя стенами!

Тревогу затая,
Быль с выдумкой мешая,
Не знаю, где моя
Беда, а где чужая.

Быть может, оттого,
Светлы и откровенны,
У дома моего
Просвечивают стены...

* * *

Свет к закату,
День к порогу,
На реке вечерний дым.
— День прошел, и слава богу! —
Засыпая, говорим.
Говорим, не дав отчета
В ослеплении своем,
Потому что ждем чего-то,
Каждый день чего-то ждем.
Ждем погоды, воскресенья,
Нетерпением полны,
Ждем везенья и веселья,
Лета, осени, весны.
Безрассудно полагаем,
Что конца дороге нет,
Будто мы располагаем
Доброй тысячею лет.
И, старея понемногу,
Все твердим не раз, не два:
— День прошел, и слава богу!—
Эти вечные слова.
Все давно уж по-другому,
Дней все меньше впереди.
Я готов кричать любому:
— Погоди! Не уходи!
Но, мерцаньем снов крылатых
Обступившая меня,
Ночь легко сминает в лапах
Хрупкий колокольчик дня.
Я, конечно, понимаю,
Что не десять дней на дню.
Я с души его снимаю —
Точно друга хороню.
Но, предчувствуя дорогу,
Веря в новую зарю,—
— День прошел, и слава богу!—
Засыпая, говорю...

* * *

Блеснут облака, на закат уходя,
Ударятся в землю четыре дождя.
Один из дождей, не без шика
Повиснув над синей водой,
Качнется упругой кувшинкой
И звездам подставит ладонь.
Зеленые вспыхнут мониста,
Десятки зеленых монист.

Второму дождю — не лениться,
Пред зеленью падая ниц.
Кормить ему стадо коровье,
Где луг тишиною зарос.
Сбегать ему смуглой корою
Наполненных светом берез.

А третий, навзрыд и навылет
Свергаясь вблизи и вдали,
Себя и в неделю не выльет.
В звенящий подойник земли.
Когда по низинам болотца
Залижут людскую тропу,
Он яблоком гулким нальется
И ночью сорвется в траву.
Последует осень с досмотром:
Богат ли и крепок наш дом?

А как же с четвертым, четвертым,
Что будет с последним дождем?
Он в сумерках на землю рухнет,
Когда ни души на дворе,
Кончая веселые угли
В моем запоздалом костре...

В ЛЕСУ

Как дышится в лесу!
Как горлом льдинки льются!
Как будто пьешь росу
Из блещущего блюдца.

Слеза или хрусталь,
Следы насквозь промокли,
И даль в слезах.
И даль
Сквозь слезы — как в бинокле.

Как слышится в лесу!
Заполнив чашу с верхом,
Мчит эхо на весу
По веткам, как по вехам.

Далекий скрип сосны
Доносится с опушки,
И жалобы кукушки
Прозрачны и ясны.

Как пишется в лесу!
Лес, приглушив гуденье,
С листа прогнав осу,
Дарует вдохновенье.

А луч позолотил —
И в просеках мелькнули
Обрывки паутин
Из хроники июля.

Как верится в лесу
В загаданное счастье!
Уйти в седьмом часу,
Оглядываясь часто.

Жаль, тени по лицу —
Некрепкая завеса...
Как хочется в лесу
Не уходить из леса!

МАРК СЕРГЕЕВ

ВАЛЕНТНОСТЬ

ИЗ КНИГИ ПЕРЕВОДОВ

Почему камень твердый, а глина мягкая? Почему так легко разорвать клочок бумаги и так трудно — такой же толщины лист высоколегированной стали? Потому что различно сцепление, различна взаимосвязь между атомами. В химии такого рода связи называют валентностью. И чем больше валентных связей — тем труднее отъединить друг от друга частицы вещества. Работа переводчика, мне кажется, есть создание духовных валентностей, тонких, незримых нитей, соединяющих сердца людей. И чем больше их — тем труднее разрушить добро и взаимопонимание, дружбу и радость общения.

М. С.

С болгарского

МИНИАТЮРЫ

* * *

ВАСИЛ УРУМОВ

Спокоен я, когда до дна встревожен
за плач восторженный и за тяжелый смех,
за тех, кто с виду прост, а в сущности — так сложен:
все люди в нем, в одном, а он — один во всех.

И бог мой только в том, кто до конца безбожен!
В чьем сердце — разум радостно пророс.
Спокоен я, когда до дна встревожен:
любой ответ — разрушенный вопрос.

* * *

Влюбился берег. Холодна река.
Губами в трещинах от жажды и от ветра
он к ней прильнул, и нежность велика,
но страсть его не родила ответа.

О, та река, как женщина мудра:
горячий пыл она легко остудит,
а к страсти, что дерзка и недобра,
сама придет, полюбит, не осудит.

КИРКОР ПАПАЗЯН

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Разбилась отраженная луна,
на тысячи осколков разлетелась...
Мы встрепенулись,
поглядели в небо,
увидели:
целехонька она,
плывет себе,
подмигивает нам
и хитро улыбается чему-то.
Должно быть в миг,
когда тебя я обнял,
скатился камень
из-под наших ног
и вдребезги разбил луну в реке.
На этот раз был только камень,
люди!

ВОСПОМИНАНИЕ

Давно мы повзрослели и забыли
солдатиков послушных, оловянных.
О бедные солдатики!
Давно
вы в ящике лежите для игрушек,
находитесь надежно под арестом —
под лестницей,
где мы храним дрова.
Ах, детство, детство!
Нет тебя давно!
Мне кажется, и мальчиком я не был!
Мир тоже безнадежно постарел.
Но все еще в солдатиков играет...

С эстонского

ХЕЛЬГИ МУЛЛЕР

НОРИЛЬСК

И вот земля от нас оторвалась,
и очутились мы за плотной тучей,
где небо — обнаженное,
где звезды
лежали в сите темно-голубом.
Была остра Полярная звезда,
и резала стекло с протяжным криком,—
и звезды переспелою морошкой
все падали, все падали вокруг...
Под серебром летящих плоскостей —
дремотные леса, дома — в забвенье,
и тихо колыбельная плыла —
ее слагала молодая мать
почти без слов, из теплоты и счастья.
И там, внизу, голодный волчий вой
взлетал над пепельной промерзлой тундрой,
и плавал — весь в огнях — студеный город,
где никель выпекается и медь.
Нет, песни Демона я здесь не буду петь —
они остры, как свет звезды Полярной,
как боль, что вечно ищет человека.
Я — в небе.
Я не одинока здесь,
в пространстве бесконечном и безлюдном:
ведь там — внизу — мои леса в дремоте,
мои дома — внизу — смежили веки,
и песня колыбельная — моя.
И весь в огнях вплывает в сердце город,
где никель выпекается и медь.

* * *

Если б чужая радость,
если б чужое горе
в доме моем молчали,
если б оглохли стены,
если б ослепли окна
для не своей печали.
Если бы на задвижки
закрыла я выходы-входы,
себя для покоя пряча,
если бы не слыхала
стенания за стенами,
смеха людского и плача —
зачем мне тогда мое сердце,
песен моих радушье,
время, сжатое туго? —
страшнее беды и смерти
змеиное равнодушье,
больней, чем предательство друга.
Все, чем сердце мое богато,
я тебе отдала бы, счастливая,
и тревожит меня одно лишь:
отгороженный равнодушием,
вдруг ты этого мне не позволишь.
Неужели ты не позволишь?

БЕЛЫЕ СТИХИ

Мысли, как будто стаи
серебристых летучих рыб,
скользят, торопятся к берегу —
к мелкой прогретой воде.
Они приходят из океана,
где волны, в жгуты свиваясь,
от них закрывают небо.
Приходят, чтоб солнца напиться,
и щекочущий запах губки
вместе с ними спит на песке.
Какой здесь покой блаженный,
как тишина дремотна,
стою перед этим покоем
на самом краю тишины,
как на краю опасности.
А серебристые стаи
стремятся туда, обратно,
где дали — без окоема,
где даже сомненья, что свиты
в горестные клубки,
пахнут морскими губками.
Там волны натужно гудят,
там неподдельные битвы,
и опасности там — настоящие.
О серебристая стая мыслей,
не доверяй прозрачной прибрежной воде:
при отливе я видела на камнях
мертвых обманутых рыб.

С польского

КОНРАД ФРЕЙДЛИХ

ПАНОРАМА НИЛА

Ты, поднимающий землю
на голубой ладони —
начало твое ищу.
Скрипят тяжело вокруг оси,
поблескивая на солнце,
меридианов спицы.
Сахара — кубические га
пространства, сметенного в дюны,—
отсюда влажной стрелой,
заряженной в желтый лук,
вырывается Нил.
Земля буксует в пространстве,
тихо ползут континенты,
качаются в полусне,
и орды воинственных трав,
выстроенных в шеренги,
топят в сыпучем море
копья своих стеблей.
Вкруг меня — метеоры,
словно пчелы, роятся,
а ниже — ладони ветров
нежат соски пирамид.
Шмель сорока веков
опылил берега реки,
новая молния жало
в берег Нила вонзает.
Так постепенно раскручиваю
белый папирус полета,
вижу:
сонный верблюд,
сгорбленный в два полушария,
встает, набирает силу.
Вижу:
из бывшей коптилки
белой дугой вольтовой
бьет возбужденный свет,
рвется, как водопад,
сквозь катаракты века.
Сердце мое вплетено
в синюю цепь ирригации,
теплая соль наводняет
кожи моей поля.
Туда, где вздымается Нил
над экватором и полюсами,
приземляет меня
усталость.

ПОЛЯНА

Деревья ушли,
их тени
прорубили тропинки в свете.
Лежишь ты,
и пряди волос
нежно вплелись в землянику.
Ушло девятнадцать лет,
и дятел ударил клювом
по стволу тишины,
и тишина осыпалась,
словно кусочки коры.
Лежишь,
доверчивый запах
земляники —
в твоей ладони,
и созревая, ягода
ударяет в обломки листьев.
Лежишь.
Доверчивая, не видишь,
как вырывается солнце
из паутины лучей,
и созревая, земля
ударяет в обломки листьев.
Падаем мы, падаем!
Выпусти ж из ладоней
открытый парашют неба!

В. ЯРМИЦКАЯ

СЧАСТЬЕ

Я глупой, я немою стала,
Не нахожу я прежних слов,
Я даже с синего Байкала
Не привезла тебе стихов.
Он был немножечко картинным,
Вливаясь в жадные глаза,
Был мир невыразимо синим:
Саяны, бездна, небеса.
Был берег — четкою чертою,
И вдруг размылись все края,
Он был, как жизнь моя, спокоен
И бурен, точно жизнь твоя.
Немую не узнаешь сразу:
Хвоинки кедра в волосах.
Я даже стала синеглазой,
Смотри: Байкал в моих глазах.

МЕЖДУ ДВУМЯ РАССВЕТАМИ

ПОВЕСТЬ

I

До конца выслушав трезвон будильника, Женька перевернулся на другой бок и лягнул под себя край одеяла. Вставать не хотелось. Не открывая глаз, он почему-то вдруг подумал о Соньке, представил ее рядом с собой и, замирая от постыдной слабости, неожиданно вспомнил сон.

...Темная колонна автофургонов с ревом уходила в тайгу. Он едва нагнал последнюю машину и, рванув на себя поручни, запрокинул голову. Мимо проносились угрюмые клочья сосен. Раскидистый лапник нависал над самой дорогой. Жутко мерцали звезды, и кошачий зрачок месяца прыгал среди стволов. Женька заглянул в автофургон. Там сидели одетые в куртки парни. Они молча переглядывались между собой и нехорошо усмехались. Когда автоколонна стала уходить в сторону от четвертого разъезда, Женька понял, в чем дело: эти духи ехали на дамбу. Мучительно долго ловил он ногами землю, и сухие комья глины летели ему в лицо. А потом появилась Сонька. Опустив голову, она брела среди облетающих берез, а за ней крался этот ингуш. В рукаве он прятал клинок. Воинственный холодок заплясал в Женькиных лопатках. Когда Сонька, все так же глядя себе под ноги, прошла мимо него, он метнулся к ингушу из-за лиственницы. Схватка не состоялась. У будильника сдали нервы. Уже по собственному усмотрению Женька решил исход поединка и, сладко простонав, нашарил в темноте выключатель.

На соседней кровати спал Федька Попов. Тяжело разметав руки, он лежал на спине, и суровое лицо его с крупными обветренными губами отражало полнейшее безразличие ко всему окружающему. Рыжие космы волос яростным хмелем клубились вокруг ушей. Именно волосы-то больше всего и доставляли Федьке неприятностей. Кто-то из девушек сочинил даже о них песню:

> Ой! Не надо мне огня.
> Быстро губы сохнут.
> Есть знакомый у меня:
> Феденька — подсолнух.

Федька жестого страдал от таких незаслуженных оскорблений, но терпеливо сносил их. Не стоило связываться с разными там... Всю свою горечь он вкладывал в сон, и если уж заваливался, то основательно: можно было выстраивать у изголовья хор имени Пятницкого — на Федьку это не действовало.

Женька натянул на себя шаровары, громыхнул туфлями и, заметив вылезшего из-за платяного шкафа котенка, поманил его пальцем:

— Чудик! Иди-ка сюда, поганец! Ты зачем это на стол сегодня взбирался? Не знаешь?

Котенок почтительно вильнул хвостом и, подойдя к Женьке, прыгнул ему на колени.

— ...Опять ты искал колбасу. Ведь верно? Обожрешься ты когда-нибудь. Это я точно тебе говорю. По опыту знаю. Смотри, каким ты брюхом обзавелся. Хоть в постройком тебя сажай.

Котенок застенчиво потерся о добрые Женькины руки. Он уже совсем было собрался затянуть свою обычную мурлыкиаду, но Женька, погладив его по спине, осторожно спровадил на пол. Пора было браться за Федьку. «Сейчас ты у меня встанешь»,— уверенно забормотал он и, подойдя вплотную к кровати, ухватился за покрывало. После трех энергичных рывков в Федькиных глазах забрезжила жизнь.

— Будильник звенел?— осведомился он.

— Целое утро над твоей головой убивался.

— Ясно. А что у нас есть пожрать?

— Воробьи в сметане и бифштексы разных сортов.

— И все?

— Сейчас посмотрим. Ага! Центнер колбасы, блины и сосиски, кондитерские изделия и вот эта камса.

— Так, — сказал Федька. — Дожили, значит, до изобилия. Включи-ка радио!

Женька взглянул на динамик и, перекинув через плечо полотенце, нерешительно остановился в дверях.

— Слушай, Федя, займись-ка ты этим делом сам. Что-то у меня руки не поднимаются. И потом, знаешь... Приходил бы ты пораньше от своих потаскух...

Кровать угрожающе скрипнула под Федькой. Женька понюхал изумрудную мыльницу и выскользнул в коридор. Оставшись один, Федька включил динамик и, самодовольно поглаживая свою волосатую грудь, выслушал новости из-за рубежа. Особых изменений в мире не произошло: архиепископ Макариос снова обратился с письмом к У Тану; седьмой американский флот бороздил воды Тихого океана; западногерманские милитаристы поднимали нездоровый ажиотаж вокруг ядерной проблемы; а кубинские контрреволюционеры по-прежнему сплетали сети интриг вокруг острова Свободы. Запад оставался Западом.

Сдернув со стены полотенце, Федька разрешил Чудику поиграть краем штанины (такая славная лохматина) и, мимоходом оглядев себя в зеркало, направился в умывальник. Обратно он вернулся вместе с Женькой. По радио уже передавали какие-то отрывки из опер, а фиолетовые сумерки за окном нехотя покидали поселок.

— Ну, где твои бифштексы разных сортов? — поинтересовался Федька.

Женька поискал глазами вокруг себя.

— Чудик! — тихо позвал он. — Ты слышишь о чем говорят твои родители?

Чудик потупился. Он сидел перед блюдечком и терпеливо ждал, когда оно наполнится молоком. В коридоре давно уже перескрипели все половицы. Там теперь бродили разные друзья и кореши. На ходу застегивая рубахи, они гремели чайниками, запинались о творило с известью, обжигались кипятком и угощались папиросами. Федька налил Чудику молока, раскрошил булку и, усевшись за стол, отрезал себе колбасы.

— Посмотри, как лакает! — отставляя кружку, сказал Женька.

— Интеллигент, — заметил Федька.

За дверью послышался вздох, она распахнулась и в комнату ввалился парень с опухшими глазами. Это был Жора Мухин — самый одинокий человек на свете. Совсем недавно вымерли все его родственники (а было их у Жоры великое множество) и теперь то же самое стало происходить с друзьями. Жоре приходилось трудно. Каждый месяц он обязательно справлял по ком-нибудь поминки и чувствовал себя совершенно разбитым.

— Привет, ребятишки, — несмело поприветствовал Жора и непротрезвевшими еще глазами уставился на котенка.

— Ну как дела? — поинтересовался Федька.

Гость безнадежно махнул рукой. Дела обстояли неважно. Вчера в вытрезвителе Жору минут сорок отливали водой.

— Уволят тебя по сорок седьмой, — хмуро сказал Федька.

— Не имеют права. У меня семейная драма. Дед, падла, в ящик сыграл. Могу письмо показать...

— Не надо.

— Тогда займите до аванса. Хоть пару рублей. Вместе ж проявляем энтузиазм. На полбанки, ребята. Ладно?

— Такое тут дело, Жора, — заговорил Женька. — Нет у нас этих денег. Вальку Луценко знаешь? Так вот у него все наши гроши. Костюм он себе покупал.

— Прибарахлиться, значит, решил парень. Ну-ну!

Тоскливо посмотрев на Чудика, Жора попрощался и направился в другую комнату. Его карие глаза светились бесконечным трауром, а давно не стриженные волосы плотно прикрывали затылок.

До отхода автоколонны оставалось совсем немного, когда Федька и Женька выскользнули из подъезда, обогнули общежитие и направились к летнему стадиону, где, зловеще посвечивая фарами, ревели тяжелые ЗИЛы. Поселок оживал. Все четче выступали однотипные контуры крыш с редкими иглами антенн. Заря уже дотянулась до верхних звезд, и знобящий, палевый отблеск ложился на вершины сосен.

Стоянка гудела как разбуженный улей. К автофургонам невозможно было пробиться. Парни висли на поручнях и, хрипло окликая друг друга, напирали со всех сторон. Автофургоны пошатывало. Выплюнув окурок, Федька молча затесался в толпу и, работая всем корпусом, добрался до подножки. Женька тяжело привалился к нему. Они втиснулись в потрескивающую коробку и уткнулись в чьи-то робы и ватники.

Машины отходили. Те, кто не успел сесть, все еще бежали за ними, но это были кончен-

ные люди, которым суждено было идти пешком до шоссе и портить настроение водителям.

II

Каждый раз, когда ключ сухо щелкал в замочной скважине, Чудик на всякий случай забирался под стол и угрожающе выгибал спину. Дверь только со стороны казалась плоской и безобидной. Пока великаны находились в комнате, она ничем себя не выдавала, но стоило лишь им куда-нибудь уйти, как тотчас же с нее слетало всякое добродушие: она громко и лающе хлопала, и у Чудика замирало сердце. Если бы дверь обросла вдруг шерстью и завиляла хвостом, он бы не удивился. Двери повадки он знал, как пять своих коготков. Однажды ему так ущемило голову, что он едва отдышался. Впрочем, у него были могущественные покровители, и Чудик надеялся, что ничего страшного с ним не произойдет. Спасли же они его от смерти в тот отвратительно-пасмурный день, когда, содрогаясь от сырости, он сидел возле магазина смешанных товаров и с грустью глядел на дорогу. Мимо него проплывали облепленные глиной сапоги. Шелестели плащи. Кто-то совсем рядом разбил стеклянную банку с вареньем, и черный костлявый пес тут же обнюхал ее со всех сторон. Потом он хотел подзаправиться Чудиком и жадно лизнул его языком, но ему помешали великаны. Их было двое.

— Доходит мужик,— сказал один из них. И это был Женька.

Другой молча склонился над Чудиком и, приподняв с земли, осторожно опустил в карман брезентовой куртки. Этим добряком оказался Федька. Он же и обнаружил за киоском приятно пахнущий яблоками ящик, который безусловно годился под кошачий ночлежник. Федька не ошибся.

Через неделю Чудик обрел вполне благопристойный вид. Каждый день великаны внушали ему, что гадить нужно не в старые валенки, а где-нибудь у крылечка. Кроме того, запрещалось также взбираться на стол и вылизывать тарелки. Чудик редко нарушал эти правила и поэтому его слегка обидело Женькино замечание относительно колбасы. Не жрал он никакую колбасу. Только постоял над ней с минуту. Федька еще вчера завернул ее в бумагу, на которой была изображена стройная женщина. Этих красоток висело над Женькиной кроватью столько, что в них можно было завернуть весь магазин. Лениво опираясь локтями о прибрежный песок, они дюжинами томились на пляжах, слонялись по туристским тропам, хохотали в белоснежных яхтах, жевали эскимо и креветок, потягивались в умопомрачительных постелях и позировали чуть ли не всему белому свету, выставляя напоказ свои прелести. Чудик многого, конечно, не понимал, но он был целомудренным котенком и поэтому испытывал большую неловкость, глядя на этих здоровенных бесстыдниц в голубых и желтых купальниках. Одна из них вообще безо всего лежала под деревом. Видимо, ей и в голову не приходило, что без шерсти в таком виде лежать на глазах у котят неприлично. Судя по всему и великану Федьке не очень-то они нравились. Чудик слышал, как однажды он предлагал Женьке снести их в отхожее место. Большего они, по его мнению, не заслуживали, потому что привыкли пастись на курортах, а вкалывать за них должны другие. И вообще Федька знал, что за мымры живут на Западе, а тем более в крымских субтропиках.

III

Расколоть на полбанки так никого и не удалось. Жора побывал в соседнем общежитии, но и там ничего не добился. Парни отводили глаза, подробно объясняли, куда они ухлопали свои деньги и меланхолично гремели мелочью. Уму непостижимо, как быстро успели обеднеть ребятишки. Обносились — дальше некуда: одних рубашек напихали в чемоданы по две дюжины. Жоре оставалось только вздыхать. Все его достояние сводилось к паре убеленных пылью сапог и одному единственному костюму.

Уныло и безрадостно поблескивали дверные ручки. В голове творилось такое, что хотелось опуститься на четвереньки и уползти в тайгу. Панихидные запои окончательно подорвали его авторитет. Долги увеличились вдвое. С кем он только не сбрасывался в последнее время. Монтажники и плотники, водители с соседней автобазы, ханыги из нарпита, какой-то ублюдок-тромбонист и даже одинокий местный поэт. Жору мутило от этих компаний. По ночам ему снились двоюродные братья. Целый выводок старух окружал его заревом платков и юбок. За их спинами поигрывали палками старики. Всех их распирало от здоровья, и никто не желал умирать.

— Бандеровцы!— вырываясь из цепких старушечьих рук, орал Жора и, просыпаясь, долго не мог успокоиться.

Затылок распирало, как опалубку, в которую ухнули сразу целую бадью бетона. Дотащившись до подъезда, Жора ощутил страшную усталость и с отвращением подумал о наступающем дне. Просвета не предвиделось. В двенадцатой комнате он обнаружил, правда, Юдина, но тот не очень-то обрадовался, увидев бывшую звезду бригады в таком затрапезном виде.

— Какое сегодня число?— поинтересовался Жора.

— Седьмое

— А деньги у тебя есть?

— Только на обед.

— Вчера было только на завтрак,— раздраженно заметил Жора и, повалившись на кровать, охватил руками голову. О! если найти хотя бы флакон одеколона. Пускай о нем думают все, что угодно, но после таких ночей люди обязательно должны опохмеляться или срочно искать какой-нибудь омут. Расхристанные Жорины подошвы смотрели на Юдина. Он все понимал, этот Юдин. Эстонский клетчатый свитер висел у него на плечах и стоил он, наверное, немало. Парни называли Юдина Гроссмейстером. Уж очень походил он на Ботвинника в своем мохнатом свитере, особенно когда начинал умничать и несвойственным ему жестом поправлять на переносице очки.

— Оподонился ты, Жора,— неожиданно сказал Гроссмейстер. Выкатив из-под стола папиросу, он внимательно принялся ее обследовать, однако закурить так и не успел. Неведомая сила оторвала его от пола и швырнула за дверь. Громыхнул стул. Взлохмаченная Жорина тень рассекла коридор надвое. Медлить было нельзя. На такие штуки у Юдина давно уже выработался условный рефлекс. Перемахнув через упавший велосипед, он бросился к выходу и уже в подъезде, воинственно хлопнув дверью, взвизгнул:

— Псих!

Жора долго не мог успокоиться. Припав к чайнику, он выпил почти всю воду и вышел на улицу. Прогромыхав по тротуару, Жора напрямик пересек северный угол поселка и, обогнув подстанцию, вышел на шоссе.

IV

Лениво запустив руку в сколоченную им же разноску, Женька нашарил пару гвоздей и неожиданно задумался. Минуя колонны, взгляд его скользнул по уступам цехов и устремился туда, где в клочьях тумана терялась выцветшая тайга. Осень,— подумал Женька.— Скоро начнут жрать квашеную капусту и думать о новогодних елках. В России пойдут разные спартакиады. Девушки в черном трико выйдут на беговые дорожки и начнут подражать экс-чемпионкам по фигурному катанию на коньках. Пижоны кинутся с ними знакомиться. Резко поднимется физический уровень молодежи. И только таким, как Женька Сукин, некогда будет улучшать свою породу забегами на сто и двести метров. Страна ждет от них кордную целлюлозу, и у всех кругом идет голова от поставленных перед ними задач. Этот блок, состоявший из разных цехов, они возводят уже третий год. Можно свихнуть себе шею, если смотреть на него с земли. Одни только варочные котлы за час могут угробить целый гектар древесины.

Из-за опалубочных коробов, похожих на египетские пирамиды, показался Федька. Мощно ухнув, он сбросил с плеча шестиметровую доску и подсел к Женьке. Костер золотисто-рыжих волос исправно пылал на его голове. Даже зимой Федька являл образец мужества и вспоминал о шапке не раньше, чем в декабре.

— Перекурим!— предложил Женька и, доставая портсигар, увидел вынырнувшего из-за колонны Юдина.

— А, Гроссмейстер! Ты, конечно, пришел закурить.

Юдин тускло блеснул никелевым зубом и молча потянулся к портсигару.

— Второй день побираюсь,— скромно признался он и поправил модный с шерстяным пупком на макушке берет.

— Второй год,— поправил Федька.

— Ну уж папиросы-то у меня водились.

— Была у ребенка хата. Дождь пошел — она сгорела.

Папироса дерзко заплясала в тонких губах Гроссмейстера, но в это время из-за сложенных в штабель консольных обойм донеслись крики. Ребята из соседних звеньев расставляли огромные, в два человеческих роста, кружала. Среди них, покручивая рулеткой, ходил инструктор—мужчина с редкостно крупной шеей и монументальными ступнями.

— Возьми на себя!— степенно приказывал он.— Теперь по центру. Крайний нахмурь! Левее возьми!..

Худое лицо Гроссмейстера оживилось. Выкатив узкую в шахматных клетках грудь, он закричал:

— Эй! Охламоны. Не забудьте сделать киль для вашей бригантины!

Инструктор спрятал рулетку в карман и, подойдя к штабелю, поманил советника пальцем:

— Юдин! Иди-ка сюда!

— Зачем?

— Хочу тебе сказать одну вещь.

— Не стоит,— отмахнулся Гроссмейстер.— Покупать я и сам умею.

— Ну, как хочешь. Только учти: после обеда тебя будут ждать в прорабской.

— Это кто же?— насторожился Юдин.

— Двое с носилками, один с топором,— спокойно пояснил инструктор и, пряча в морщинах свои хитрые барсучьи глаза, отошел в сторону. Гроссмейстер исчез.

Федька взялся за молоток. Женька вогнал топор в одно из деревянных ребер щита и поджал доску. Высоко над ними с держателями в руках ходили монтажники. В черных масках и толстых с двойными плечами куртках, они казались пришельцами из других миров. Слепящее пламя било из-под электродов, когда они склонялись над еще незастыкованными балками, и капли расплавленного металла тяжело шлепались на бетон. Пригнав последнюю доску, Женька замерил высоту щита и поискал глазами рейку.

V

Работа шла полным ходом, когда Жора появился на перекрытии. В тепляке голубым чудищем висело облако папиросного дыма. Смолили, как всегда, на совесть. Умели побеседовать ребята — о женщинах (это уж в первую очередь), о космосе, о неважной жратве, о соцобязательстве, о рыбной ловле, о политической марионетке Чомбе и о жизни вообще. Жора тоже в свое время любил порассуждать на серьезные темы. И анекдоты заворачивал не хуже других. А теперь уж ни к чему развязывать свое помело. Если твоя жена оказалась дерьмом, тут уж никакие разговоры не помогут.

Отыскав свой инструмент, Жора вышел из тепляка и столкнулся с бригадиром.

— Привет рабочему классу!— рявкнул он и щелкнул каблуками.

— О! Это ты?— сказал бригадир. Глаза его сразу выцвели.— Два дня тебя не было,— отворачиваясь в сторону, проговорил он.— Начальник о тебе скучает. Сходить бы к нему надо.

Жора с интересом разглядывал мясистый бригадирский нос. Был он до неприличия красен. И хотя бригадир не поклонялся змию-искусителю и запоями не страдал, нос его пылал пасхальным румянцем, приводя в изумление пьяниц и трезвенников.

— А если я не пойду?— поигрывая топором, спросил Жора.

— Как хочешь. Лучше сходить.

— Ну их, этих начальников. Помнишь, как работали на фундаментах! Прямо как сейчас вижу всю нашу компанию. Сплошной энтузиазм. Столовая на другом конце света...

— Так ты иди! А то не застанешь.

— Значит, по сорок седьмой?

— Не знаю.

— А ты гусь. Образный ты, Ваня!— начиная закипать, процедил Жора.

— Поговорим, когда вернешься.

— Ладно!— Жора махнул рукой и, сунув под первый попавшийся щит топор и ножовку, отправился вниз.

Начальник размещался далеко. Одолев четыре лестницы, Жора миновал полутемный цех с анфиладами громоздких колонн и, выбравшись на подкрановые пути, медленно побрел по шпалам. Он размышлял о трейлере, на котором его так кстати просквозило, о своей беспутной жизни, о жене, крикнувшей ему когда-то, что он «бандеровский выродок», и горечь томила его безысходно.

На чем-нибудь да сходится свет этот клином. Поглядеть на него сбоку — лучшего не выдумаешь. Есть и рябины, под которыми пьяно и трепетно смыкаются губы, и околицы в окаянном дурмане ромашек, и сладкая тоска при виде улетающих на юг журавлей; а ранний сенокос, а озябшие, в тумане хлеба, и снега и февраль. И вот уже луна крадется среди осокорей...

Но он ведь бандеровец. Носила же какая-то сволочь эту фамилию. И гунявый Жорин дед прятал отцовских полюбовниц в своем пятистенном гадюшнике. Выкрутился батя: из куля в рогожу. К партизанам явился с повинной, да кто-то невзначай автоматом побаловал... О деде забыли. Уже и слухи о его веселом хуторе, как мыши, попрятались в белых старушечьих горницах, но Анька узнала материны мониcты, оброненные как-то свекровью из кованого, с романовскими вензелями сундука. До седьмого колена был проклят весь Жорин род. Анька рожала в соседнем селе, а Жора уехал к самым холодным на свете рекам, чтобы лесами огородиться от материнских сундуков, набитых чужими обносками.

Трижды пропивал он свою родову, и все-таки боль не стихала.

Спустившись на дно котлована, где сантехники укладывали бетонные лотки, Жора по трапу вылез к стоящим по ту сторону времянкам.

Начальник был у себя. Опираясь локтями на стол, он смотрел в покосившееся окно, за которым маячили краны, и объяснял прорабу, каким образом нужно «выбить» из главного диспетчера машин сорок бетона.

— Сходи на КП,— вразумлял начальник,— знаешь ведь, где штаб «Комсомольского прожектора»? Там теперь Малютин «молниями» заправляет. Объясни ему, что получилось с заказом... А с Корякина не слазь! Он там окружил себя гаремом. Коммутатор за него работает...

Пригладив на голове густые вьющиеся волосы, начальник повернул голову и задумчиво взглянул на Жору. Печальные глаза были у начальника. И всегда румяное лицо, сегодня отчего-то выцвело.

— А я еще вчера хотел с тобой увидеться,— сказал он, снова отворачиваясь к окну, которое на миг заслонила фигура вышедшего прораба.

— Не был я вчера,— хрипло отозвался Жора.

— И позавчера тебя не было.

— И позавчера.

— Говорил я с твоим бригадиром...

Начальник медленно расстегнул на груди куртку и, взяв со стола сигарету, вложил осторожно в рот. Жора потупился. Затылок его снова налился тяжестью.

— Дед у меня в святые подался. Кончился старый,— враждебно разглядывая ножки стола, с трудом проговорил он.

В соседней комнате зазвонил телефон. Сначала с промежутками, потом без промежутков, а когда он смолк, начальник вынул сигарету изо рта и стал разминать ее в пальцах.

— Вот что, Мухин. В отпуск тебе надо съездить. Бетонщик ты, что надо. И плотник неплохой. Но сейчас тебе нужен отпуск... Бригада большая. Пока обойдемся...

Жоре стало не по себе. Знал он, на что намекает начальник. Знал он вдоль и поперек начальника. Не орал тот никогда и не лаялся, но бригадиры матерно ругались, вываливаясь от него с неподписанными нарядами.

— Некуда мне ехать! Все у меня вымерли.— Жора угрюмо потупился. Наступила минутная пауза.

— Так ты говоришь, что некуда,— очнулся наконец начальник.— Это плохо, когда умирают, и потом уже некуда ехать. Я, брат, тоже на днях получил телеграмму. На неделю опоздала. Плохо работает наш почтамт. Тоже вот незачем ехать...

Из-под пальцев начальника хлынула желтая струйка табачной пыли. Сигарета рассыпалась. Жора поднял глаза и увидел, как дрогнули губы начальника. Молодой был начальник, и волосы мягко вились у него за висками, и щеки еще не успели ожесточиться от всяческих бритв и лезвий. И вовсе не хотелось думать о том, что где-то за Уралом обложили его мать венками и затеплили над ней свечу. Но так оно, наверное, и было, потому что некуда было ехать начальнику, а телеграмма пришла с опозданием.

— Пойду я! — сказал Жора.

— Иди,— разрешил начальник и, рассеянно взяв телефонную трубку, стал медленно набирать номер.

VI

Зловещий вой сирены заставил обоих поднять головы. Разворачивался башенный кран. Высоко на фоне пепельного неба проплывала бадья. Минував перекрытие, она стала опускаться вниз с бешено вращающимся над ней гаком. Женька проводил ее глазами и, отхватив топором длинную щепу, неожиданно предложил:

— Хочешь, расскажу одну историю?

— Какую?

— Об одной девочке.

— Кто о чем, а вшивые о бане.

Женька выпрямился и задумчиво посмотрел на Федькину голову.

— Треснуть бы тебя разок по вывеске.

— Пробовали, — флегматично заметил Федька.— Обходили после за версту.

— Дупло. Только на мослы и надеешься.

Федька молча допилил доску, аккуратно отложил ребро в сторону и, оглядев ножовку, проговорил:

— Неохота с тобой связываться. Лучше уж рассказывай про эту, как ее там, девочку-скакалочку. Наверное, какая-нибудь Сонечка. Ты же любишь этих Сонечек. А? Ну что ты надулся как мышь на крупу. Эй! Женя! Где хоть все происходило-то? На сеновале, что ли?

Женька хотел ответить, но не успел: крупная снежинка опустилась чуть не под самый его топор и, завалившись в небольшую выемку, робко поежилась от ветра. Она так доверчиво мерцала, что Женьке даже стало неловко. Ведь он чуть было не растоптал ее своими ботфортами — эту белую неженку, лепесток с еще не облетевшего облака. Женька опустился на четвереньки и с набожным видом стал разглядывать снежинку. Федька тоже навалился грудью на щит. Оба с величай-

шим вниманием следили за едва подрагивающим кусочком холода, и хотя ничего хорошего он им не сулил, лица их смягчились.

Между тем стали появляться другие снежинки. Сначала их было мало, но постепенно все вокруг изменилось, и повалил сплошной снег.

— Конец,— сказал Федька.— Такой не растает.

— Завтра же не будет,— убежденно заявил Женька.— Пока лиственницы не осыпятся, снег будет таять.

— Синоптик. В прошлом году как врезал, так и лиственницы твои выплакались в белый платочек.

Дружно засопев, они навалились на щит и, упираясь в него руками, стали толкать перед собой. Щит медленно сполз с верстака. Это был уже двенадцатый. Предстояло приступить к тринадцатому.

— Так знаешь, где я с ней познакомился?— сказал Женька.

— Где?

— В колхозе. Отправили наш техникум выводить из прорыва брюкву. Помидоры не доверили. Красные они, понимаешь, а мы тоже не рыжие. Ну и удружили нам эту брюкву. Гектара полтора на группу. Да еще у лесочка картофельное поле пристегнули. Туда мы и перебрались. Знаешь, как весело! Рядом пасека, мужик вот с такой бородой, а мы у костра картошку печем... Знаешь, с чего у нас началось?

— С чего?

— Вот слушай. Сижу я один на кухне — дров меня оставили подрубить — и ем вареные яйца. Наверное, с десяток уже облупил, а нажраться никак не могу. Вот ведь аппетит-то был, а? Как в армии. Так бы и сидел сто лет за столом. Ну ладно. Подходит она ко мне и говорит: «Знаете что, Женя? Вы уже наелись?»— «Наелся»,— говорю. «А не сходите со мной в одно место?» — «Хоть в два сразу». «Понимаете,— толкует она мне,— невесело у нас как-то в столовой. Доски везде выпирают, все равно, что в телятнике. Вот я и подумала: наломаем-ка мы с вами калины и украсим столовую».—«Хорошо,— отвечаю я ей,— можно даже и саженцы высадить перед навесом и портрет попросить у председателя колхоза, а снаружи обклеить стены плакатами, чтобы, значит, наши труженики не забыли, где они находятся».— «Да, нет, вы не шутите, Женя,— обрывает она,— это же приятно, когда над головой калина, а не ржавые гвозди». А глаза у самой... ну что ты разулыбался. Как вода в Ангаре. Нырнул бы в них. В общем, двинули мы с ней. Сначала-то она впереди шла. Тут я ее и разглядел. Все у нее в порядке оказалось. У других, знаешь, ноги или это самое место, как пивной ларек, а тут все пригнано. Расчувствовался я. Только вида не показываю. Подошли мы с ней к реке, ну и спрашивает она меня: «Почему это, Женя, у вас такая странная фамилия».— «Не знаю, говорю,— дед мой давно пятки на погосте сушит, спросить бы у него, да отвык он разговаривать». Эх! и закатилась она тут. С ног валится...

— Ты, конечно, к ней?— полюбопытствовал Федька.

— Если бы сейчас, другое дело. А тогда— нет. Стою и толкую ей, что ничего особенного в сукинской моей фамилии нет. Бывает похуже. Псинников, например.

Женька, отжимая доску топором, привалился боком к щиту.— Бей!— сухо приказал он.

С того места, где расставляли кружала, снова послышались крики. Огромный короб заваливали на бок, чтобы удобней было обшивать днище. Снег уже падал не так густо. На миг приоткрылся клочок неба. Сверкнуло солнце, но тотчас же спряталось.

На другом конце перекрытия показался прораб. На нем была теплая куртка и венгерские сапоги с металлическими застежками. Он уже успел побывать и у Малютина, с которым они вместе составили молнию на главного диспетчера Корякина, и у самого Корякина, который взмок от телефонных сплетен, и теперь, огибая груды отходов, прораб думал о гвоздях и о заказанном им брусе, о сгоревшем распределителе и о вчерашней ссоре с арматурщиками, но больше всего его беспокоил бетон. Три крайних балки со стороны западного торца во что бы то ни стало нужно было забетонировать этой же ночью. Иначе придется вызывать электриков, тянуть магистрали, искать опилки и рубить электроды, чтобы погрузить их потом в бетон и подключить к трансформатору для прогрева. Не так-то просто бетонировать при низких температурах.

Остановившись возле Женьки, прораб заметил:

— Вы хоть бы ограждение сделали. Работаете на краю. Двадцать пять метров. Загремите вниз — кто за вас отвечать будет?

— Вы, Алексей Матвеевич,— хладнокровно ответил Женька.

— А кто на кладбище поедет?

— Мы!

— С тобой, Сукин, только в горохе разговаривать. Бросайте все и делайте ограждение.

— Будет сделано,— усмехнулся Федька и

взглянул на часы. До обеденного перерыва оставалась минута. Ступеньки лестниц уже гудели под хлесткими подошвами парней. Спрятав инструмент в короб, Женька с Федькой ринулись следом за ними.

— Занимай очередь!— крикнул Женька и, перемахнув через трубу, скрылся за громадой башенного крана. Он торопился. За углом чуть не угодил в боек с раствором, обошел его, заглянул под каменную арку и увидел Соньку. Она была не одна. Рядом с ней стоял тот самый ингуш, которого он видел во сне.

VII

Бригадир не выспался. Это было совершенно ясно. На его некрасивом лице тяжелыми початками перекатывались желваки. Запавшие глаза смотрели устало. Только нос пламенел, как созревший стручок перца, и, глядя на него, Жора почувствовал, что начинает выходить из себя.

— Чего ты ко мне прилип, а? Мы ж с тобой теперь не друзья. Вырос ты в моих глазах. Рубля из тебя не выманишь...

— На пропой?

— А ты думал, на аккордеон.

— На пропой тебе никто не даст. Костюм, если хочешь,— пожалуйста. Пойдем в магазин хоть завтра. Куплю тебе сам...

Жора отшвырнул топор в сторону и выпрямился.

— Вот что, папа. Уйду я от тебя к чертовой матери. Надоел ты мне!

— Дело твое.

— Понимаю. Хочешь отделаться. За звание легче будет бороться! Еще бы. Бригада непьющих ангелов! Сплошной энтузиазм! Дайте на вас наглядеться!.. Эх, Ваня, хреновый у тебя характер.

Поправив кепи, Жора сунул руки в карманы и отвернулся. Бригадир молча понаблюдал за монтажниками, которые устанавливали панель, и нахмурился.

— Обещали ночью бетон,— глухо проронил он.— Может, выйдешь с нуля?

— Выйду!— крикнул Жора.— Только отстань от меня. Отработаю я свои прогулы. Две смены прокантуюсь, хоть сдохну на этом перекрытии!

— Зачем сдыхать. В столовую вместе сходим. Покормлю я тебя.

Бригадир молча поднял топор, тронул лезвие ногтем и покосился на взлохмаченный Жорин затылок. Желваки его медленно двигались под смуглой, иссеченной ветром кожей.

VIII

В брезентовой куртке, коробом сидящей на нем, Муса Хаджиев стоял перед Сонькой и нервно поглаживал бороду. Стальной брелок от монтажного пояса позванивал у него на боку. Темные глаза Мусы временами округлялись и тогда в них светился холодный птичий блеск. Такие лица не нравились Соньке. Однажды в зоопарке она видела грифа. Он вяло распускал тяжелые крылья, ворочал облезлой шеей и хищным взором следил за людьми. Сонька тогда почувствовала нечто между страхом и неловкостью. В обществе Мусы она испытывала примерно то же самое. Джигит-монтажник. Ему давно уже следовало вернуться в Чечено-Ингушетию: к белым аргамакам и черным бешметам, к вольным долинам, ущельям и персикам, к нарядным с газырями черкескам, преданным кунакам, башням, где бился с врагами Шамиль, и отрадным кувшинам с прохладной чачей. Но Муса и думать не желал ни о каком Кавказе; он преспокойно портил Соньке кровь и носился за ней как угорелый.

— Посмотри на эту трубу! Надо звать сюда начальника. Я приду сюда с бензорезом.

— Опять ты о начальнике.

— Я вырежу ему кишки. Пускай их мотают на трубу. Мне не жалко таких начальников.

— Шел бы ты в буфет, Муса. Говорят, там сегодня сосиски. Ими тоже можно обмотать всю трубу.

— Не могу я есть. Сердце разрывается.

— На куски?

— Зачем смеяться!

— Ну как ты не понимаешь, что виновата я, а не начальник.

— Плохо говоришь. Совсем обижаешь свои руки. Кто тебя заставил копать эти ямы? Начальник. Ты что, последняя девушка? О тебе никто не думает? Да? Свинья твой начальник.

— Да скажи ты ему сам это. Я-то здесь при чем.

— Тебе надо работать на кране.

— О! господи!

Второй месяц Сонька умоляла Мусу оставить ее в покое, но монтажник был неумолим. Он находил ее в любой траншее, ловил на автобусных остановках, нечаянно сталкивался в буфетах; он в сотый раз говорил ей о начальнике УМОСа, которого следовало убить, живым закопать в землю, сжечь в трансформаторной будке, превратить в шашлык для кабанов, застрелить из монтажного пистолета или «зарэзать» на улице. С каж-

дым разом глаза его разгорались все ярче, но на здоровье начальника это нисколько не сказывалось. Сонька прекрасно понимала, что Муса и пальцем не тронет начальника. Просто его мучала совесть из-за этой истории с рельсами, после которой Соньку сняли с башенного крана и перевели в разнорабочие.

Рельсы. Их привезли тогда на трейлере и по фактуре так и значилось, что общий вес КР-80 составляет около четырнадцати тонн. Муса, как всегда, психовал из-за подъездных путей и с такой страстью хватался за стропы, словно хотел подтянуть к себе весь семидесятиметровый кран. Когда трос натянулся и рельсы медленно поползли вверх, отчего-то вдруг сработал ограничитель грузоподъемности. Сонька растерялась. Внизу бесновался Муса. Пока она соображала, что ей делать дальше, он успел изругать весь белый свет. Ему до зарезу нужны были эти проклятые рельсы. Тут-то Сонька и допустила ошибку, поверив не вовремя известившему ее о перегрузке автомату, а фактуре. Она произвела шунтировку и снова взялась за рычаг. Почти в тот же миг огромное тело крана дрогнуло. Внизу загрохотали рельсы, трейлер стал запрокидываться набок, а люди бросились врассыпную. Подломилась стойка башни. Сменный механик пояснил ей потом, что если бы стрела стояла не по диагонали к основанию квадратного «туловища» крана, могли бы подломиться обе передние стойки. Это означало одно — смерть. Подавленный Муса, как цапля, щелкал языком и укоризненно глядел на механика.

Навалившись локтем на кирпичную кладку, Сонька хмуро разглядывала свои перчатки. Муса нетерпеливо позванивал монтажным поясом. С начальником все было кончено. Тело его лежало рядом с бензорезом, а кишки развивались на трубе. Никто их, правда, не видел, но это означало, что в следующий раз начальника можно будет снова четвертовать или вынуть из него печень. Обычно после очередной расправы Муса страстно пожимал Сонькину руку и опрометью бросался в буфет. Сегодня свидание затягивалось. Тонкие ноздри Мусы подрагивали. Глаза тоскливо скользили по фигуре девушки.

— Почему ты меня презираешь? — спросил он изменившимся голосом, в котором плескалась горная форель и задыхались от любви фазаны.

Ответить Сонька не успела. Она увидела Женьку. Его коренастая фигура появилась в проеме так неожиданно, что перчатки скользнули к ее ногам. Муса нагнулся за ними. Потом он горько рассмеялся и, не оглядываясь, побежал по битым кирпичам. Гремя монтажным поясом, Муса бежал как молодой олень. На снегу он споткнулся и длинно выругался. Борода его взмокла от гнева и горечи.

— Женя!— крикнула Сонька.— Билеты на семь тридцать. Ты слышишь?

— Ага!— обернулся Женька и, на ходу подхватив снежок, запустил им в борт самосвала. Снег все-таки таял.

IX

В столовой бушевал ураган. Кассиров брали приступом, напирали с обеих сторон, всем хотелось есть и ни у кого не было ни малейшего желания томиться где-то в хвосте. Женька попытался пробиться к Федьке, но его оттеснил румяный старик.

— Девушка,— заворковал он над кассой,— уважьте пожилого человека. Лошадь надо кормить, а я и сам еще не кормлен. Пару обедов. Уж вы извините.

— Занимай наверху!— крикнул стиснутый со всех сторон Федька.

Но и наверху, где выдавались обеды, стоял все тот же гвалт. Женька дождался Федьку, и тогда они вместе пробились к дымящимся мискам, и обещали начистить рыло какому-то умнику, вздумавшему не пускать их к раздаче, и, получив, наконец, обед, нашли свободный стол у окна. Отдав должное борщу и котлетам, они уступили место другим. Когда дверь, слегка приволакивая разбитым углом, выпроводила их на улицу, Федька свернул за угол и Женька охотно последовал за ним. Обходя котлован, оба остановились. Шагах в десяти от них у экскаватора сидел розовый старик и ласково клевал над газетой. Рядом потрескивал костер.

— Эй, папаша!— крикнул Женька.— Чем свою лошадь кормишь?

Старик узнал Женьку. Он ухмыльнулся и любовно кивнул на ковш.

— Земличку моя лошадь кушает, да только оправляться пока не во что. Машины-то буксують.

— Вот старый,— пробормотал Федька и зашагал дальше.

Уже на обратном пути их нагнал бригадир. Озираясь по сторонам, словно его преследовали злые духи, он сообщил, что ночью будет бетон. Федька нахмурился. Женька неожиданно заинтересовался шведскими задвижками. Их только что распаковали. Доски от импортных ящиков были утыканы четырехгранными гвоздями. Бригадир похлопал кожаной рукавицей о ладонь и, неожиданно

ожесточившись, изругал крановщика, который отказался поднять на перекрытие компрессор. Серые глаза его снова уставились на Женьку. Называлось это — заглядывать в душу. «Сколько угодно»,— подумал Женька.

— Двое уже согласились,— как бы про себя произнес бригадир.

— Людей в бригаде много,— добродушно изрек Федька.

— Смотря каких.

— Тоже верно.

— В ночную смену мало кто бетонировал. Не каждый сумеет. Разве что старики.

Последние слова слегка уязвили Женькино самолюбие. Они с Федькой хоть и не были «стариками», но с бетоном умели обращаться не хуже других.

— Пускай наше «старичье» и бетонирует,— обиженно засопев носом посоветовал он. Бригадир ничего не ответил. Только когда они подошли к цеху, он нырнул под трубу и, повернувшись, спросил:

— Так я могу на вас рассчитывать?

— Что ж ты раньше-то молчал. Хлопаешь тут за тобой по грязи, — обиделся Федька.

— А то вы сразу и не доперли.

— Интересно!— сказал Женька.— Ты ж о стариках заговорил.

— Так вас я и имел в виду.

— Нас?

— Вас!

— Тогда все в порядке. Сейчас мы будем тебя бить.

— Как-нибудь потом,— попросил бригадир.— Идите отдыхать. Пока!— И он исчез. Где-то за котлами покатилось гулкое эхо шагов.

— Растет наш Ваня,— поворачиваясь назад, сказал Федька.

— В люди выбивается, — усмехнулся Женька.

— Только мы с тобой так и останемся на всю жизнь трудовым слоем. Ты с техникумом завязал, я с девятым классом.

— Мало у нас профессий, что ли. Плотники, бетонщики, на крупнопанельных монтажниками можем работать. Тебе вообще не о чем беспокоиться. Надоест опалубка, перейдешь на самосвал или корчеватель. В старости тоже не пропадешь. Башку свою выставишь в музее — весь народ сбежится...

Федька молча взял Женьку за воротник и приблизил к себе:

— Слушай, Женя! Если ты еще раз заикнешься о моей голове, я тебя угроблю по пьянке. Имей это в виду.

— Будет сделано,— закатывая глаза, отозвался Женька.— Я ведь к тому, что у других только руки золотые, а у тебя еще и голова.

— Свинья ты после этого. Ну вот как с тобой жить в одной комнате?

Федька вышел на дорогу и, увидев идущий в сторону поселка автофургон, поднял руку.

Было ровно два, когда они добрались до общежития. У низенькой веранды белыми островками лежал снег. В коридоре было наслежено. Женька долго копался в замочной скважине, ворочал ключом туда и обратно, и когда, наконец, дверь распахнулась, из комнаты стремительно вылетел Чудик. Обойдя вокруг великанов, он жалобно мяукнул и стал семафорить хвостом.

— Своди мужика на улицу,— попросил Женька.

— А сам ты не можешь?

— Я пока уберусь. Видишь, что у нас творится?

— Вижу!— проворчал Федька и посмотрел на Чудика.— Пошли! Ну! Что ты на меня вылупился? Айда!

Чудик опустил голову и, оглядываясь, побежал к выходу. В подъезде он остановился. Еще никогда ему не приходилось видеть такой белой земли. Он насторожил уши и осторожно прыгнул в снег, который оказался очень мягким и волнующим.

Пока Женька орудовал шваброй, Федька успел побывать в умывальнике. Переодевшись, он взял со стола свежий номер «Известий». Но прочитать газету не успел. Пришла Наталья Андреевна, ихняя воспитательница. Парни ее уважали. Волнующим созданием была Наталья Андреевна, и даже Федька старался не смотреть на ее полные стройные ноги, на высокую грудь, на красиво вскинутые брови, из под которых лукаво и отчаянно поблескивали с темными крапинками глаза.

— Садитесь, — предложил Женька и гостеприимно придвинул стул.

— Спасибо! — улыбнулась Наталья Андреевна. Взгляд ее задержался над Женькиной кроватью. Сытые девочки щурились на нее из-под белых и розовых шляп. Они были веселы и беззаботны. Легкие лифчики сидели на них как бабочки. И только у Венеры, написанной кистью великого испанца, не было на теле ни мотыльков, ни бабочек.

— Женя!— спросила Наталья Андреевна.— Вы никогда не занимались живописью?

— Помещали меня в детскую студию,— сознался Женька,— только дальше акварели я не пошел. Сказали, что дальтоник я. В цветах плохо разбираюсь.

— И вы ушли?

— Еще бы. Надоели мне эти орнаменты да

гипсовые кубики. То ли дело футбол. Гоняй хоть до утра, и никто тебе слова плохого не скажет. Только вечером отстегают ремнем, а утром опять набирай команду...

Наталья Андреевна рассмеялась. Взглянув на нее, Федька отчего-то вдруг зарделся и, потупившись, стал разглядывать свои большие жилистые руки. Он догадывался, почему это Наталья Андреевна заговорила вдруг о живописи. Проклятые Женькины красотки. Не по себе было Федьке от глупых Женькиных выходок, от светлых локонов, выбившихся из-под шляпки у красивой воспитательницы, от собственной своей неловкости.

— Вот что, ребята,— запахивая полы светлого плаща, сказала Наталья Андреевна,—вы что-нибудь слышали о кибернетике?

— Читали в одном журнале,— ответил Женька.— Жуткая наука. Через двести лет останутся на земле одни роботы, а люди разбегутся, кто куда.

— Не было там такого,— вмешался Федька. Его всегда злило, когда Женька начинал придуриваться. Статью о кибернетике он тоже читал, и не было в ней вовсе о том, что будет на земле через двести лет. Говорилось, правда, о каких-то спонтанных рефлексах, но насчет роботов Женька явно перегнул.

— Как же не было! В самом конце так и говорилось; наломают они дров, эти машины. Дай им только волю. Уж очень они умные.

— Что ж, по-твоему, дураками их надо делать?

— Не дураками, а такими, как вот мы с тобой. Верно, Наталья Андреевна?

— А почему же именно такими?

— Чтобы не очень-то они воображали. А то ведь что получится: у них одно на уме, у людей — другое. Если со мной, допустим, поставить рядом такого вот железного умника, с ним же никогда не сработаешься. Никаких общих интересов. Он за минуту может прочитать всего Льва Толстого, а я «Хаджи Мурата» с месяц у себя держал. Разгонят они нас, эти роботы...

— Да тебе-то откуда это известно?— не поднимая головы, спросил Федька.

— По радио передавали.

Федька испытующе посмотрел на Женьку. Тот невозмутимо сидел на кровати, нахально вытянув перед собой ноги. Плечи Натальи Андреевны предательски дрогнули. Комната наполнилась смехом.

— Ах, Женя!— смеялась Наталья Андреевна.— С вами так хорошо поговорить. А вы, Федя, на нас немножно рассердились? Да?

— Не разбираюсь я в этой кибернетике,— отмахнулся Федька.

— А вы интересуйтесь.

— Интересуюсь. Только нами вот никто не интересуется. Стадион четвертый год не могут достроить...— Федька умолк на полуслове, решительно не понимая, отчего это он вдруг с кибернетики перекинулся на стадион. Наталья Андреевна еще долго о чем-то говорила, и Женька рассказывал ей разные истории, но Федька, красный как пион, глупо смотрел в окно, где на клочьях волейбольной сетки, с уцелевшей поверху веревкой, болтались детские распашонки и пара женских лифчиков.

X

Серые одноэтажные дома с их стандартными подъездами и как бы сплющенными крышами, уныло соблюдая ранжир, тянулись по обеим сторонам раскисшей дороги. Мертвенно-бледный фон тайги придавал поселку отрешенный вид. Парни недаром называли его «Щитоградом» или «Бухенвальдом», вкладывая в эти прозвища юмор, боль и ту понятную теплоту, с которой они относились к своему жилищно-коммунальному детищу, сделанному их же руками.

Дойдя до автобусной остановки, Наталья Андреевна обмыла боты в кюветной, с еще нерастворившимися комьями снега воде. По шоссе с ревом проносились трейлеры и самосвалы. Показывались и исчезали облепленные грязью такси. Шелест сухих листьев явственно доносился из-под автомобильных шин; и, вспомнив отчего-то кишиневскую осень с ее хмельными яблоками, Наталья Андреевна вздохнула.

Она не каялась, что приехала в Братск. Здесь был Борис. Он, правда, сильно изменился, но по-прежнему любил ее. Тогда в мае они так были взволнованы встречей, что ее чемоданы, возможно, так бы и уехали на Лену, не окажись того самого капитана, который ехал с ней в одном купе и всю дорогу читал Ремарка. Он-то и вынес вещи.

...А Борис изменился сильно. Она это заметила в первый же вечер. Поигрывая бокалом, он долго говорил о местных достопримечательностях и постепенно мрачнел. Ежедневно он видит, как люди возводят сорокаметровые корпуса цехов, но это лишь пляска рубля и желудка. От романтики разит спиртом. Все яснее становится пропасть между руководителями и теми, кто непосредственно занят созидательным трудом. Остается одно— очистить себя от лишнего и стать квалифицированным чиновником... Борис говорил туманно, но она его поняла:

— Человек! Помогай себе сам.

— Да!— после короткого раздумья тихо признался он.

— А что вы там делаете в этой своей дирекции? Ведь комбинат еще не построен.

— Как тебе сказать. Вносим известные коррективы, принимаем готовые объекты, ну и следим, конечно, за тем, как ведутся работы.

На следующий день он водил ее по городу. Всюду возвышались груды земли. У ящиков с раствором перекликались измазанные известью девочки. Город в основном состоял пока из траншей и котлованов. Весь он был разбит на микрорайоны, одни из которых еще пустовали, другие начинали застраиваться. В сосновых рощах из-под прошлогодней травы робко выбивались прохладные лепестки медуницы. Проходя мимо завалившегося набок сарая, Борис объяснил ей, что это «местный очаг культуры» — летний кинотеатр. О нем сообщалось даже в газете... «открылся новый летний кинотеатр».

— Представляешь? Новый! Можно подумать, что их тут была уже целая уйма. За три года построен один клуб и вот эта конюшня...

— А телецентр?— глядя на ажурную вышку, маячившую среди сосен, спросила она.

— На черта он здесь нужен. Открыли бы уж лучше пару ресторанов, да построили приличный кинотеатр.— Он спохватился.— Не подумай, что я тут без тебя окончательно одичал. Просто немного обидно. Напроектировали! А ты посмотри на те вон усадебки. Километра на три они тянутся. И вокруг телецентра флигельки да огороды. Коровы летом ходят. «Индия». Сжег бы я весь этот грибник вместе с теми дураками, которые разрешили тут селиться разным Петрам да Маврам.

...Вечером у них были гости: сослуживцы Бориса — деловые мужчины, говорившие сначала о шлесерах и американском способе разделки древесины. После коньяка состоялся обмен анекдотами. К двенадцати все выдохлись и стали расходиться по домам. Выбирая из тарелок окурки, она вспомнила кишиневские звезды и белые, облитые лунным светом яблони. Северная ночь куталась за окном в жесткие хвойные шали.

...Автобус, мягко прошелестев шинами, подвернул к обочине и, вяло чихнув, остановился. Женщина-кондуктор, повязанная красным платком, выглянула из-за створки дверей.

— На Падун — без остановки,— сонно проговорила она и, узнав, что молодой гражданке надо до ЛПК, махнула рукой водителю.

Наталья Андреевна проводила глазами грязно-голубую сигару автобуса и взглянула на часы. Ей хотелось увидеть Фальчевского и она еще надеялась застать его в парткоме. Как он тогда обрадовался, узнав, что она филолог. Его вполне устраивало то обстоятельство, что в гороно ей так ничего и не обещали.

— Прекрасно!— растирая свои ревматические пальцы, говорил он и смешно выкатывал на нее воловьи глаза. Его безукоризненно свежий галстук ни разу не сполз в сторону, несмотря на то, что Фальчевский шумно ворочал под столом ногами; близоруко припадая к бумагам, грозно всматривался в календарь, и ерзал, словно мальчик, готовый при первой же возможности удрать на улицу. Галстук был прям как бамбуковая палка. Он ловко прикрывал кадык и красиво рассекал треугольник рубашки.— Мы направим вас в ЖКК,— горячился Фальчевский,— и там вы оформите все документы.

— Ты с ума сошла!— гневно заорал Борис, когда узнал, кем она устроилась на работу.— Воспитателем в общежитие! Да они накроют тебя в темном месте! Понимаешь ты меня?

— Понимаю,— ответила она.— Только ты не кричи больше. Хорошо?

Он махнул рукой и, повалившись в кресло, мрачно подпер кулаком подбородок.

— Ты не знаешь, какая там публика. Пьют, как свиньи. И потом учти — зафиксирован сифилис.

Она пожала плечами:

— Пока я там буду работать, нам не обязательно спать вместе.

Ничего страшного с ней не случилось. Общежития вовсе не похожи на разбойничьи притоны. «Закоренелые преступники» смиренно вздыхали, знакомясь с новым политруком, и никто из них не пытался прикончить ее ударом ножа или накинуть на голову одеяло. Бывшие солдаты, недавние школьники, скрытные романтики, досрочно освобожденные, тверские и архангельские, муромские и псковские, девочки с характером — вот с кем суждено было работать Наталье Андреевне, и она с присущим ей спокойствием принялась за дело. Черный, как мавр, начальник ЖКК посоветовал ей в первую очередь прочитать лекцию о моральном облике советского человека. Его заместитель долго инструктировал ее относительно ведущей роли бытсоветов и наиболее сознательной прослойки строителей. Предлагалось также вести борьбу с картежниками, вовлекать их в общественно-полезные мероприятия, содействовать общему росту сознания и иметь в виду возрастные

особенности. Ее слегка тошнило от подобных директив. Особенно потом, когда она поближе познакомилась с культурным арсеналом, которым располагал жилищно-коммунальный отдел.

В одном из общежитий два здоровенных парня поделились с ней открытием чрезвычайной важности: оказывается, вылепленные из хлебного мякиша фигуры с успехом могут конкурировать с настоящими шахматами. В качестве доски использовался клетчатый финский свитер. Парни слегка дурачились, им нравилось кого-нибудь разыгрывать, купленные ими шахматы лежали тут же под подушкой, но в красном уголке валялось только опостылевшее всем домино и ферзь от изчезнувшего во время ремонта комплекта.

Однажды ей пришлось побывать в клубе. Фойе ломилось от танцующих. Играли вальс, но кружиться никто и не думал. Притиснутые друг к другу пары мерно покачивались на месте. Стоял июль. Растрепанные девочки устало разглаживали на себе смятые платья, а потерявшие всякую надежду пробиться поближе к музыке монтажники сбрасывались по рублю.

— Разве нельзя в каждом общежитии установить проигрыватели,— спросила она както Фальчевского.

— Можно,— ответил он.— Но вы попробуйте поговорить с этим мавром. Кащействующий домоед. Слезой его не прошибешь, а дубиной бить вроде бы не за что. Честно работает человек. Только вот мудрствует лукаво. И ведь как рассуждает. Арендует, положим, какой-нибудь там Гидромонтаж общежитие — ага! Я, мол, ничего не имею против. Только потрудитесь обеспечить своих рабочих предметами культурного обихода. Гидромонтаж в свою очередь вежливо отклоняет это пожелание на том де основании, что в том же общежитии десять комнат занимает другая организация. Вот вам и кащеева цепь.— Фальчевский выкатывал глаза, растирал опухшие в суставах пальцы и хищно смотрел на звонящий телефон.— Скажу вам болес,— сердито побрюзжав на кого-то в трубку, продолжал он.— Прекращено строительство стадиона. Нет, видите ли, денег. Для наших славных мальчиков, которые разворотили Север, нет денег на постройку паршивого кинотеатришка и простенького стадиона! А вы видели, какие коттеджи отгрохали себе наши высшие инстанции. Просто квартиры их не устраивали. Виллы понадобились товарищам. А теперь приходится экономить на шахматах. Вот что значит роскошь, Наталья Андреевна. Забвение ленинских принципов. Я так полагаю.

О Фальчевском ей было известно немного. Знала она, что строил он ЛЭП, попал в сильную метель, с шофером на себе едва дополз до стоянки, полгода пролежал в госпитале, а потом возглавил какое-то СМУ и только совсем недавно стал вторым секретарем парткома. В том, что он человек искренний, она не сомневалась. И говорить он умел удивительно вкусно, и вообще было в нем что-то страшно веселое...

— Приятное исключение,— с ленивой усмешкой заметил Борис, когда она рассказала о Фальчевском.

— А мальчики, с которыми я работаю, по-твоему, тоже приятное исключение?

— Много ли ты знаешь о них,— обиделся он.— Сама же рассказывала, как они приглашали тебя выпить за здоровье капитана Гранта.

— Они потом извинились.

— Извинились, но не изменились. Жил я с ними. В одном общежитии. Работают. Знаю. И неплохие среди них попадаются парни, но они обречены. Понимаешь? Обречены, как волы. Ты и тебе подобные только раздражают их. От ваших бесед и лекций их тошнит. Музыка им нужна! Танцы! Красивые девушки! Детективные романы! Это им близко. А рассказывать о Врубеле или Тициане? Прости, но это жестоко.

И еще ей вспомнился один разговор.

— Зачем ты вступаешь в партию?— поинтересовалась она.

— Зачем?

— Да!

— Видишь ли. Я смотрю на это мероприятие с чисто практической точки зрения. Без партийного билета, будь я хоть семи пядей во лбу, мне дальше скромного технолога не прыгнуть. Ты это сама прекрасно понимаешь. Так делают все, и упираться тут бессмысленно.

— Мы, наверное, разойдемся, Борис,— тихо сказала она.

Он полез к ней целоваться, наговорил много сентиментального вздора, и в конце концов заставил улыбнуться. Но сердце ее не билось уже так сильно и безрассудно, как раньше, когда он приближал к ней свое лицо и, привлекая к себе, жадно расширял зрачки.

Автобуса все еще не было. Наталья Андреевна достала из сумочки зеркальце и поправила выбившийся из-под шляпки локон. «Красивая»,— с легкой иронией подумала она и вспомнила Мавра. Начальник ЖКК в по-

следнее время стал отчего-то раскисать в ее присутствии. Он даже подобрел и проявил неслыханную щедрость, обещав купить пару премиальных телевизоров, которые собирался вручить общежитиям, занявшим первое место в конкурсе за чистоту и порядок. Наталья Андреевна усмехнулась. Сегодня ей нужен Фальчевский. Она с ним давно не виделась. Поднявшись из-за стола, он, как всегда, пожмет ей руку, грозно посмотрит на календарь и, выслушав последнюю новость о Мавре, весело рявкнет:

— Прекрасно, Наталья Андреевна. Будем работать дальше!

XI

Первый Сонькин поклонник отличался завидным здоровьем и отменным добродушием. Звали его Ильей. Сонька познакомилась с ним в доме культуры, где Илья в ультрасовременном (марка ГДР) костюме овладевал сложным искусством танца. Бледный и величественный, стоял он в двух шагах от рояля и, багровея от застенчивости, следил за учителем танцев. Хлопая в ладоши, тот в сотый раз пятился от него к стене и, суча онемевшими икрами, упрашивал клиента не слишком выворачивать правую ступню. Распавшиеся пары слонялись вдоль колонн и с нетерпением посматривали на часы. Аккомпаниатор в изнеможении откидывался на стул. Все были в отчаянии и только Сонька, восхищенная мужеством Ильи, осмелилась сказать, что из него со временем выйдет хороший партнер. Над ней посмеялись. А месяца через два на одном из вечеров, когда танцы были в самом разгаре, неожиданно появился Илья. Уверенно вращая свою спутницу, он ураганом пронесся среди вальсирующих пар, и потом с неслыханным изяществом продемонстрировал румбу, а когда дело дошло до польки, стало совершенно ясно, что с такими образованными ногами недолго попасть и в Краснознаменный ансамбль. Сонька в этот день не танцевала. С нее было достаточно и тех вечерних репетиций, после которых приходилось стаскивать чулки и рассматривать свежие кровоподтеки. Первое время он так усердствовал своими гвардейскими ступнями, что Сонькины туфли навсегда утеряли кафельно-розовый блеск. Зато ее труды не пропали даром.

У нее появился надежный телохранитель. Ради нее он готов был своротить все черемховские терриконы и выдать на-гора хоть целый эшелон угля. Одного только не в силах был сделать Илья: предотвратить на шахте обвал. Случилось это в конце февраля. Тяжелое тело Ильи едва умещалось на узкой больничной кровати. Он только перед смертью пришел в себя. Его глаза, печальные и чистые, искали Соньку, и робкая надежда, которая в них светилась, не хотела мириться с бездушно наползающим мраком.

Возвратясь домой, Сонька бросилась на кровать и долго ничего не видела от горя. Пустота и отчаяние сжимали горло. В мае начались экзамены. Сонька автоматично сдавала их. После экзаменов отправилась в горком комсомола и попросила путевку в Братск. С ней долго беседовали. Юноша из сектора учета предупредил ее, что с оркестрами в Братске туго, поезд, в котором она приедет, не будут забрасывать цветами, зато с мошкой — полный порядок. Можно не беспокоиться.

...Пурсей оказался гораздо выше, чем она предполагала. Возле него кипела вода, возвышались консольные краны, ухал и стонал котлован. Сонька разглядывала плотину, замирала от нахлынувших на нее чувств, но поработать на ГЭС ей так и не пришлось. Девушки-разнорабочие на правом берегу, то есть там, где жили гидростроители (как ей объяснили в отделе кадров), уже «вышли из моды». Ее отправили на левый берег. Там она попала в жилстрой. Громадного роста мужчина потребовал от нее медицинское освидетельствование и только после этого ее, наконец, зачислили в бригаду штукатуров.

В общежитии Сонька познакомилась с рослой и красивой Эльзой, которая тут же посоветовала ей обзавестись спортивным костюмом и даже сама вызвалась перешить его по фигуре. Вскоре ее познакомили с Юрой Гершевичем. Трудился Юра в производственно-техническом отделе. Его колоссальный стаж работы (одна тысяча восемьсот девяносто девять скуко-часов), страшно дорогие очки и любовь к индийской философии покорили Сонькино воображение. Таинственно поводя указательным пальцем, Юра зловещим голосом сообщил, что когда ему дадут квартиру, он такими обставится книгами, какие не снились и папе римскому. У Юры от волнения начинали потеть очки, а якобинский нос поминутно зарывался в носовой платок. Юра вел себя культурно. Парни, имеющие дело с топорами и вибраторами, обращались с девушками гораздо свободней. От их шуток становилось не по себе. Они не упускали случая обследовать руками зазевавшихся у ящиков с раствором штукатурщиц и ржали, как донские жеребцы. Правда, делалось это

вполне дружелюбно, но Сонька выходила из себя, когда кто-нибудь пытался ее «обмацать» или приголубить в укромном месте. Юра воздерживался от подобных откровений, и все-таки дружба их длилась недолго.

Как-то зимой они допоздна бродили по городу. Юра молчал, близоруко и робко вглядывался в Сонькино лицо и, дойдя до подъезда, неожиданно спросил, может ли он ее считать в полном смысле девушкой. Ответа он не дождался. Никогда перед его длинным якобинским носом так отчаянно не хлопала дверь.

— Он же образованный!— говорила плачущей Соньке смуглая Эльза, успевшая исследовать щепетильность мужчин, жаждущих любви и непорочия.— Глупый он еще. Чистенький. Ты с такими вшивчиками не водись. Они хоть и не кобели, но им, что девка, что пирожное — все одно. Лишь бы не надкусанное...

На следующий день Юра явился с повинной. Поступок он осознал. Ему просто не удалось сформулировать свою мысль. Они сходили в кино, потом снова стояли в подъезде, но разговор у них отчего-то получался неинтересный.

Вскоре Сонька поступила на курсы крановщиков. От частых свиданий пришлось отказаться. Юра получил ордер на квартиру и, с радости напившись, предложил Соньке заночевать у себя. Ничего из этого не получилось, и тогда он заявил, что подозревает ее в связях с другими парнями. Она сказала, что ему лучше всего заниматься индийской философией и встречаться больше не пожелала.

Третий поклонник появился у Соньки примерно через год. К тому времени она уже успела стать крановщицей и обосноваться в УМОСе. Как-то в середине лета Сонька решила провести воскресенье на море. Обогнув купающихся, она добрела до небольшого залива и, обнаружив среди разбухших лесин плот, не раздумывая, взялась за шест. Выбравшись из полузатопленных кустов осинника, она причалила к одиноко торчащей из воды вершине лиственницы и стянула с себя платье. Редкие клочья июльских облаков цеплялись за вершины гор. Обведенные серебряными поясками света чешуйки коры поблескивали у берега. Замирая от леденящей дрожи, Сонька окунулась в воду и улеглась на брошенные поперек бревен доски. Она уже стала засыпать, когда плот отчего-то сильно качнуло. Показалась опутанная водорослями голова. Что-то прохрипев, она тут же скрылась. Сонька вскочила на ноги. Рядом тонул человек. Это было совершенно ясно. Он вяло разводил руками, делал нечеловеческое усилие, чтобы, вынырнув на поверхность, глотнуть немного воздуху, и снова погружался на дно. Спасать утопающих Соньке никогда не приходилось, но она помнила, что прежде, чем бросаться на помощь, жертву следует оглушить. Под руками оказался только шест. Улучив момент она размахнулась, однако утопленник проворно увернулся от тяжелой валежины. Он погрозил Соньке пальцем и, уйдя под воду, появился уже на другом конце плота. Взобравшись на доски, он молча попрыгал на одной ноге и, едва не развалив плот, подсел к рассерженной Соньке.

— Ничего хворостинка,— кивая на шест, сказал он и постучал себя по голове.— Чуть орех свой не подставил. Чего ты психанула так?

— Рыб здесь некому сторожить,— ответила Сонька.

— Хотела, значит, к ним отправить?

— Очень ты им нужен.

— Ага! Просто так, значит. Немного растерялась. Ну, это бывает... Между прочим, зовут меня Женей. А тебя я, кажись, знаю. Ты ведь на четвертом кране работаешь. Тебя это вчера бородатый за что-то крыл. Он что, чичмек?

— Подойди к нему сам да спроси.

— Проучить бы его.

— За что?

— За то, что патефон на тебя разевает.

Женька презрительно сплюнул в воду. Сонька усмехнулась, накинула на колени платье и поинтересовалась, зачем это защитнику женских прав понадобилось изображать из себя утопленника?

— Да так!— ухмыльнулся Женька и чистосердечно признался, что хотел было сперва пощекотать Сонькины пятки прутиком, но потом раздумал. Соньке стало весело. Они долго говорили о разных смешных историях. Женька рассказал о кубанских яблоках, которые выслали ему в июне, а получил он их только недавно и сразу же у почты высыпал в чей-то огород, потому что они ни на что, кроме удобрения, уже не годились.

В город они возвращались вместе, и на следующий день договорились сходить на танцы. Потом они еще раз куда-то сходили, и это превратилось в приятную традицию, которая вполне их устраивала.

XII

Ну чего это ей нужно от Федьки? Приходит к нему чуть ли не каждый день, смотрит на него, как на икону, ну прямо обмирает женщина, хоть пирог из нее выпекай. И ведь возраст-то не маленький: слава тебе господи, сорок уже стукнуло, а на Федьке так вот и томилась бы глазами. Безгрешные они или какие — разобраться трудно, но грусти в них много. Лицо свежее, и по комплекции сама — ух, ты! Держись. А все равно не с руки с ней мужчинам. Живая скорбь.

Женька взял протянутое ему письмо и взглянул на адрес. Тетя Даша не уходила. Комендант тетя Даша стояла у стола и перебирала в кармане ключи. Пышные каштановые волосы тяжелым узлом лежали у нее на затылке.

— А где же Федя? — тихо спросила она.

— Ушел, — ответил Женька.

— Котенок-то не гадит у вас?

— На улицу выводим.

— Окно бы вам законопатить. Зима вон на дворе.

Тетя Даша вздохнула и, погладив на прощанье Чудика, вышла из комнаты.

Надорвав конверт, Женька извлек из него письмо и повалился на кровать.

«...Этим летом мне снова довелось побывать в Евпатории. Наверное, в последний раз. Сейчас сижу над дипломной работой. Читаю о том, как произошли в русском языке местоимения и суффиксы. Обложилась разными источниками, скоро начнут мерещиться кровавые мальчики и разные мерзкие чувствилища, от которых меня тошнило еще в Евпатории. Бедные наши здравницы. Чего только в них не бывает. Такие, знаешь ли, приезжают гипертоники да язвенники, что хоть прямо с вокзала запрягай их в трамвай. Целыми днями осаждают ларьки, где торгуют вином и пивом, объедаются раками, потом начинают обзаводиться девушками, а уж под конец просто не знают, на что им израсходовать остатки своего здоровья. Один такой вот кабальеро с ужасно волосатыми ногами два дня рассказывал мне о тульских самоварах, а на третий — пригласил в номер. Спросила я его, уж не пятидесятилетний ли юбилей собирается он справлять в этом номере, так с ним чуть худо не сделалось. Обиделся дядечка. Полторы недели не здоровался, старый потаскун...

А знаешь, Женька, я часто вспоминаю наш чуточку грустный роман. Помнишь, как мы познакомились? Река. Осень. Листья такие ажурные. И калиновые гроздья. Так мы тогда и не поцеловались. Зато потом ты отлежал мне все плечо. К утру скирда вся покрылась инеем, а у нас только ватник да мамин оренбургский платок. Зато какие над нами сияли звезды! Даже в Евпатории я никогда не видела таких холодных и ясных звезд. Иногда мне кажется, что я совершила глупость, не поехав к тебе в Братск. Теперь об этом поздно уже говорить, но ведь и ты поступил необдуманно. С таким трудом получить в армии аттестат зрелости и махнуть вдруг на Север. Ведь ты же умница, Женя, хоть и разыгрываешь из себя этакого простачка. Мог бы поступить в институт. Что тебя заставило взяться за топор и кочевать по каким-то общежитиям. Я понимаю: романтика, чувство собственного долга. Все вы там герои-покорители и бог знает какие беззаветные труженики. Но нельзя ведь всю жизнь скитаться по стройкам, имея возможность проявить себя в чем-то другом...

Лично меня пугает такой вот застой. Кончим, например, университет, разгонят нас по брянским лесам да по разным губерниям, и начнем мы прививать детям любовь к русской словесности. Школьные тетрадки, головная боль, маринованные рыжики, ухажеры из совхозных активистов, насквозь пропахшие коровьим выменем... Больше двух лет я не выдержу. Не по мне весь этот уклад. Я не хочу останавливаться и поэтому сделаю все, чтобы поступить в аспирантуру...

И ты тоже должен учиться. Слышишь меня, Женя! Еще не поздно. Подумай... А пока извини — кончаю. Надо бежать на лекции.

Твоя Люба.»

Не очень тяжело вздохнув, Женька вчетверо свернул письмо и сунул его под подушку. Затем он нехотя поднялся с кровати и, утопив широко расставленные руки в постели, уставился на один из своих «шедевров». Группа улыбающихся девушек расположилась под двумя большими зонтами. Среди них затесался щуплый, похожий на распятого Христа, юноша. Пляж, усеянный отдыхающими, переливался как рыбья чешуя, а на переднем плане сидела красивая девушка в голубом купальнике.

— Интересная девочка. Верно ведь?

Женька оглянулся. В дверях стояла Сонька. Губы ее слегка вздрагивали. «Федькина манера, — подумал Женька. — С тех пор как на его прекрасную голову свалился кусок штукатурки величиной с мексиканскую шляпу, он навсегда отказался от застарелой привычки хлопать дверью». Женька мысленно выругал Федьку некрасивым словом, но тут

же вспомнил о тете Даше. Она приходила после Федьки. Как же он забыл об этом.

Дверь после нее так и осталась полуоткрытой. Небрежно кинув руки в карманы, Женька потерся подбородком о ворот рубахи и, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение, брякнул вдруг о привидениях, которые так же вот, как Сонька, бесшумно являются перед людьми. Сонька вплотную подошла к кровати и внимательно стала рассматривать веером рассыпанные по стене журнальные вырезки. Женька долго сопел за ее спиной и наконец не выдержал.

— Садись! Что ты там разглядываешь этих проституток.

— Ищу твой идеал.

— Нашла, где искать.

Сонька повернулась к нему. Глаза ее тревожно и гневно сверкнули:

—Ты никогда не разговаривал со мной так грубо.

— Извиняюсь,— начиная валять дурака, промямлил Женька и, отвернувшись, стал тихо насвистывать вальс «Голубой Дунай».

— Да что это с тобой случилось?

— А то, что я должен жениться...

— Ну и на здоровье.

— ...но сначала я испорчу вывеску одному товарищу.

— Желаю тебе успеха. Приготовь для невесты завещание. А мне пора в кино.

— Как ты думаешь,— загораживая на всякий случай проход, задумчиво спросил он,— отдаст нам рыжий комнату или нет?

Сонька долгим взглядом посмотрела ему в глаза и закрывшись руками, опустилась на кровать. Женька подошел к ней и осторожно присел с краю. Она долго не отнимала от лица рук, но потом все же решилась и полезла за платком. Из кармана посыпалась мелочь, упали на пол билеты. Он поспешно бросился за юркнувшим под стол полтинником и, вылезая обратно, увидел обтянутые капроном стройные Сонькины ноги.

— Спасибо,— сказала она,— уже без пятнадцати шесть.

— Успеем,— поднимаясь, сказал он и с жутко бьющимся сердцем притянул ее к себе.

— Дверь! — прошептала Сонька.— Кто нибудь может войти. Женя!..

Взгляд его беспомощно метнулся к двери. В узкую, как лезвие клинка, щель протискивался Чудик. Виновато моргая, он смотрел на доброго великана и всем своим крохотным существом молил о помощи. Женька чуть не застонал. Выпустив Соньку, он метнулся к двери, распахнул ее, и когда Чудик мягко проскользнул в ящик, грозно щелкнул задвижкой. Теперь было все в порядке. Все, кроме Сонькиных волос. Но в руках ее белел уже гребень и незачем было так дико хлопать этой проклятой дверью.

— А рыжего мы все-таки вытурим,— натягивая на себя пиджак, пробормотал он и, не глядя на нее, сгреб со стола билеты. До сеанса оставалось ровно пять минут.

XIII

Комната была убрана со вкусом. Даже старый радиоприемник, увешанный кружевами, казался верхом совершенства, несмотря на свой преклонный возраст, расколотую надвое шкалу и давным давно утерянные головки регуляторов. Настольная лампа, отставленная от кровати, освещала матерчатую перегородку, изукрашенную павлиньими хвостами, за которой хоронился намертво прихваченный к половицам стол. Там же находился ведерный рукомойник, сияла на подставках кухонная утварь и, подвязанные к толстому гвоздю, висели набитые луком капроновые чулки. Разом охватив и стиранные ни единожды половики, и овальное зеркало с выглядывающими из-под него цветными открытками, Федька окончательно пришел к выводу, что Муськин муж был просто форменным ослом, променяв ее на какую-то мымру. Федька повернул голову и посмотрел на спящую Муську.

Ее большое сильное тело бесстыдно разметалось у самой стены. Застарелая ревность на миг овладела им. Хмельная и темная, она заворочалась в нем как медведь, но Федька тут же ее усмирил. Не очень-то приятно было думать о том, что Муська в свои двадцать с немногим лет успела побывать уже замужем и, конечно, кое с кем переспать. При одной только мысли об этом ему хотелось вдребезги разнести все Муськино хозяйство, изрубить топором чертову перину, а заодно выкинуть и кровать.

Федька мрачно покосился на выглянувшую из-под рубашки грудь и, вздохнув, осторожно привлек к себе Муську. Сонно пролепетав о каких-то котлетах, спрятанных от мышей под ведром, она поудобней устроилась на его бугристой в мускулистых скрутках руке и, подвернув под себя одеяло, затихла. Федька обмяк. Как бы там ни было, а прошлое оставалось прошлым. Муська была в настоящем. С ее смуглой цыганской кожей, с мягкими пальцами, с ее легким беспутным характером и решительной тягой к семейному счастью. Он наверняка знал, что с ней у него не будет ни-

каких осложнений. При желании можно было просто забыть номер дома. Однако память до сих пор не изменяла Федьке и нога его не сбивалась с пути. И теперь, лежа рядом с Муськой в постели, он ощущал, как постепенно затекает его рука, поглядывал на часы и сурово шевелил бровями.

...Сначала он вспомнил об аистовых гнездах. Беленые хаты с низкими квадратными окнами подпирали небо своими огромными соломенными крышами. Наверное, ему было тогда не больше четырех лет. Крыши казались непостижимо высокими, а тополя вообще терялись где-то в прохладных пастбищах неба, где по ночам, как его уверяли, паслись черные божьи коровы с серебряными глазами. У самой большой из них светились даже рога. Глядя по вечерам на восходящий месяц, Федька больше всего боялся за аистовые гнезда. Большая корова могла отбиться от стада и прельститься соломенными крышами. Ничего ей не стоило сожрать и аистов, которые так важно часами выстаивали над своими гнездами. Они-то однажды и принесли совсем еще маленького Федьку во двор. Прямо к материным ногам поставили сопливого человечка и тут же улетели глотать зеленых лягушек. Так во всяком случае пояснила ему старая Сундиха, у которой от старости валилась из рук клюка. На этом и кончилось Федькино детство. «Мессеры» подожгли хутор со всех четырех сторон. Вместе с хатами сгорели, конечно, и аистовые гнезда. На степных дорогах бились издыхающие лошади, багровое солнце походило на освежеванную тушу быка, завывали на полустанках окутанные паром паровозы, и обессиленные зноем и страхом женщины осаждали уходящие на восток эшелоны. В одном из них оказался и Федька. Чьи-то добрые руки подхватили его из окна, но матери так и не удалось пробиться в вагон. Больше они не виделись.

Федька осторожно высвободил руку из-под Муськиной головы и, взяв со стола папиросы, закурил.

Дважды он пытался разыскать мать, однако ни одно бюро оказалось не в состоянии определить местонахождение хутора, номер... Федька помнил только аистовые гнезда. Возможно, и его пытались разыскивать. Женщины в этом отношении гораздо изобретательней. Остановившись на этой мысли, Федька совершенно отчетливо увидел перед собой грустные глаза тети Даши, и раскаянье вновь охватило его. Как изменилось тогда ее лицо, когда она впервые столкнулась с ним в комнате. С этого дня он стал часто ловить на себе ее взгляды. Комендат тетя Даша. Парни довольно откровенно смотрели ей вслед и сладко жевали губами. Бедра у тети Даши были круглые, а грудь аккуратная. Говорили, что ей уже за сорок, но выглядела она гораздо моложе. Поэтому Федька и стал в некотором роде счастливчиком, на которого так милостливо взглянула вполне еще роскошная женщина. Роль обольстителя Федьку вполне устраивала. Девочек, правда, не очень воодушевляли его рыжие волосы, но он относил это за счет дурного вкуса. Его ничуть не удивило, когда однажды тетя Даша стала расспрашивать его о том, где он рос и где у него родители. Федька глупо ухмылялся, нагловато прищуривал левый глаз и поигрывал глянцевитым носком ботинка. Комендант тетя Даша была взволнована. Отозвав его в сторону, она спросила, знает ли ее адрес, и невыразимо нежным голосом разъяснила, куда ему нужно приехать.

— Теперь твое дело в шляпе,— напутствовал Женька,— только не распускай слюни и не засиживайся у стола.

— Будет сделано!— рявкнул Федька и, щелкнув каблуками, отправился в гости.

Тети Дашины глаза лучились. Она долго не знала, куда ей повесить мохнатую Федькину шапку и новый армейский бушлат. Все шло как по маслу. Состоялось чаепитие. Снова пришлось вспомнить кое-какие подробности из своей биографии, а потом тетя Даша как бы невзначай поинтересовалась, нет ли у него под правой лопаткой родимого пятна.

— Можно проверить,— зевая ответил Федька и многозначительно взглянул на кровать. Он уже имел дело с женщинами. Тетя Даша стыдливо потупилась, уголки ее маленького пухлого рта едва заметно подергивались, а пальцы быстро перебирали рассыпанные по кофточке пуговицы.

— Феденька,— изменившимся вдруг голосом попросила она,— вы не смогли бы, ну, как бы вам это...

Договорить ей Федька не дал. Он просто облапал ее руками и если бы не крик, заставивший его отшатнуться, черное солнце позора навсегда бы повисло над ним. Тысячью осколков, зигзагов и молний переливался в нем этот крик, и только после того, как тетя Даша показала ему выцветшие фотокарточки, с которых смотрел пятилетний мальчик, как две капли воды, похожий на Федьку,— этот крик оформился в слово.

И все-таки родимого пятна под лопаткой не оказалось.

Федька докурил папиросу и по тому, как Муська глубоко вздохнула, понял, что она просыпается. Сегодня ей пришлось всю сме-

ну работать на двух компрессорах. Семь часов гула, снега и слякоти, ей правда, не привыкать, но так или иначе, а с компрессорами лучше всего иметь дело летом. Тогда в них ничего не застывает и не отстаивается. Кроме того, шланги гораздо легче сматывать в июле, чем в октябре. Перебрав в уме уйму разных сведений, Федька снова взглянул на часы и нехотя взялся за край одеяла.

— Ты еще не ушел?— спросила Муська.

— Что ж мне без штанов, по-твоему, являться в бригаду.

Муськины плечи затряслись от смеха. Федька вскочил и, путаясь ногами в шароварах, стал молча одеваться. Только сейчас, исподлобья разглядывая Муську, он понял, почему так волновала его Наталья Андреевна. В ней было то, к чему всегда инстинктивно стремился, но в силу обстоятельств не смог приобрести сам. Поэтому его устраивала Муська с ее несложными идеалами и, как аистовые гнезда, волновала Наталья Андреевна.

— Вот что,— натягивая сапоги, твердо сказал он.— Расписаться нам надо.

— Зачем?

— Ясно зачем! Чтобы все у нас было в порядке.

— А разве у нас что-нибудь не в порядке?

— Подумай сама.

Муська села в постели и стала скручивать на затылке волосы.

— ...В общем, этот вопрос надо решить,— подытожил Федька и, брякнув сапогами в половицу, резко поднялся.

Отчего-то вдруг всхлипнув, Муська носом ткнулась в подушку, и тогда он подошел к ней, повернул лицом и, очень строго глядя в припухшие от сна и от слез глаза, тихо спросил:

— Путаться ни с кем больше не будешь?

— Нет!— шмыгнула носом Муська.

— То-то,— проворчал Федька.

XIV

Лестницу слегка забрасывало в сторону. Тех, кто ее переставлял, следовало, мягко выражаясь, «проинструктировать» хорошим монтажным поясом. Женька задрал голову и, глядя на узкую щель между плитами, стал взбираться наверх. Западная сторона блока была погружена в полумрак. Редкие гирлянды плафонов скупо освещали колонны, обставленные лесами, котлы и серебристые трубы, похожие на фантастических удавов, которые оплели все кронштейны и выступы. «Джунгли»,— подумал Женька и, работая всем корпусом, одолел последние ступеньки. На перекрытии все оставалось по-прежнему. Только не гудели трансформаторы да там, где днем выставляли кружала, виднелась еще одна «каравелла». Почти невидимый в ночи кран зловеще поводил прожекторами. Обогнув бетонные выгородки, Женька заглянул в тепляк. Внутри было темно. Пахло смолой и хвоей. Стены и потолок, обшитые свежими досками, еще не успели высохнуть. У окна кто-то заворочался. Послышалось громкое чавканье и тут же плохо пригнанные стекла зазвенели от могучего храпа. Женька попятился, нашарил перед входом выключатель и при свете вспыхнувшей лампочки увидел Жору Мухина. Голова его покоилась на груде брезентовых курток, из-под которых выглядывал корпус вибратора, виднелись голенища резиновых сапог и поблескивало лезвие топора. Широкая Жорина грудь мерно вздымалась под сиротской рубахой. Женька опустился на скамью. До начала смены оставалось еще минут двадцать. Можно было покурить и кое о чем подумать.

В кино они с Сонькой сходили. Посмотрели «Трех мушкетеров». Увлекательный фильм. После него так и хочется, чтобы Сонька оказалась камеристкой, а все ее воздыхатели — гвардейцами кардинала. До чего же все изменилось. Ни шпаг, ни веревочных лестниц. Целоваться, правда, можно, но что это за поцелуи, когда тебя никто не выслеживает. Женька усмехнулся. С Сонькой они едва расстались. Он чуть не потерял сознание, обнимая ее возле клуба. Стояли, конечно у крайних окон. Там стоянка хоть куда: каменная лестница и разное барокко над головой. Только львиных голов не хватает. А так все как в приличном французском городе, куда с рекомендательными письмами приезжают обедневшие гасконцы.

Отпустив Соньку, он сразу же отправился в столовую. Там под фикусом в позе Рошфора сидел Муса Хаджиев. Под столом у него стояло штук пять бутылок. Белый портвейн. Муса уже успел обалдеть, но поговорить с ним на всякий случай следовало. Женька вспомнил, как, повихляв между столами, притормозил свой поднос рядом с двумя нетронутыми Мусой гуляшами, и взглянул на Жору. Самый одинокий человек на свете спал, дай боже. Если бы он знал, сколько сегодня извел вина бригадир Хаджаев. Целых два литра. Предлагал он выпить и Женьке, но тот почему-то отказался. Тогда Муса стал рассказывать. Он пил вино и рассказывал, как джигиты гнались за ним по горам. Они

хотели его убить. Цхе. Нехорошие люди! Борода ингуша дважды увлажнялась слезами. Он полез обнимать Женьку и обещал непременно побывать на его свадьбе. Нет. Муса никому еще не вставал поперек дороги. Они расстались друзьями.

Где-то на другом конце перекрытия послышался свист и затем бессвязнейший рев, состоящий сразу из всех арий, когда-либо исполняемых мастерами вокала. Можно было не сомневаться: это надрывался Гроссмейстер. Только он один и обладал в бригаде таким потрясающим голосом. Великий маэстро. На перекрытие он взобрался, конечно, по висячей лестнице, которой не решались злоупотреблять даже монтажники. Женька открыл дверь и поискал глазами оперную знаменитость. Долговязая фигура Гроссмейстера маячила у крайних колонн. Воздевая руки над собой, он уже успел посочувствовать Ленскому, гнусавым голосом изобразить дона Базилио и теперь направлялся к тепляку. Обойдя зачем-то одну из «каравелл», Гроссмейстер помычал о флибустьерах и контрабандистах, а возле груды щитов разразился дьявольским хохотом:

— Лю-лю-ди-ди ги-ги-бну-нут за-за металл!..

Женька повалился на скамью. Его трясло от смеха. Жора перестал храпеть. Открыв глаза, он бессмысленно огляделся по сторонам и уставился на дверь.

От Севильи до Гренады
Раздается звон мечей!—

рявкнул совсем близко Гроссмейстер и, шаркнув подошвами о ступеньки, вырос на пороге.

— Ого!— выкатывая узкую в шахматных клетках грудь, сказал он.— Весь экипаж в сборе.

— Ну ты даешь,— заметил Женька.

— А что? Получается?

— Как в коровьем хоре,— одобрил Жора, вытаскивая резиновые сапоги.

— Сам-то...— заносчиво начал Гроссмейстер, но осекся под пристальным Жориным взглядом. Махнув рукой, он полез в ящик, выволок из него груду брезентовых курток и стал переодеваться. Пришел Федька. Не глядя на Женьку, он сообщил, что с краном все в порядке, бадья — на месте, бригадир — внизу, температура около нуля. Гроссмейстера он потрепал по плечу и заявил, что бесстрашнее человека еще не встречал: только с молью в голове можно ночью взбираться по отвесной стене и орать о какой-то тиритомбе.

— В общем, дурак ты, Витя,— спокойно закончил он.— Учишься на монтажника, а разобьешься в чине плотника.

Женька ухмылялся. Он видел, с каким ленивым безразличием Федька швырнул в угол сверток, успевший пропитаться масляными пятнами. «Бутерброды, оладьи, котлеты, бифштексы»,— растроганно подумал Женька и тут же вспомнил о Муське-компрессорщице. Федька раза два помогал ей стаскивать в кучи отбойные молотки, а на днях чуть ли не весь обеденный перерыв прокопался в двигателе. Понятно, куда он исчезал по вечерам...

Делая вид, что в настоящее время его больше всего интересуют вибраторы, Федька заставил Гроссмейстера распутывать кабель и, убедившись, что с фишками все в порядке, взвалил на себя булаву.

— Пожрать бы,— мечтательно сказал вдруг Жора.

Задержавшись в дверях, Федька повернулся к нему и, покосившись на Женьку, сурово кивнул на сверток:

— Там вон я захватил на всякий случай. Ты не стесняйся. Рубай, что найдешь.

Глухо стукнувшись о ребристый выступ бетонной плиты, бадья развернулась и стала медленно опускаться на перекрытие. Гроссмейстер включил распределитель и с переноской в руках направился к Женьке. Из тепляка, дожевывая хлеб, вывалился Жора.

— Хорошо! — окрепшим голосом крикнул он и, ухватившись за одну из металлических штанг, стал подводить бадью к деревянной обойме с выглядывающими из нее арматурными стрежнями. Женька рванул на себя рукоять и бетон хлынул из горловины. В руках Гроссмейстера плясали хитрые фишки. Они никак не хотели сцепляться. Пришлось обмотать их проволокой, и только тогда взвыл под ногами вибратор. Извиваясь, пополз он к балке, и обрадованный Гроссмейстер тут же забросил его в дымящийся бетон. Работали молча. В жидком месиве вкусно чавкали подошвы сапог. Скрывшаяся из виду бадья вскоре снова нависла над головой. Федька, стоя на гребне стены, знаками переговаривался с крановщиком. Когда бадья исчезала за выступами верхних балок, он включал булаву или брался за лопату.

Во втором часу ночи снова пошел снег. Гроссмейстер, задирая голову, жадно ловил губами снежинки. Вибратор нырял до самого днища, скрежетал, задыхался, выл, сотрясаясь всем корпусом, и вытягивать его приходилось на пару с Жорой, которому ничего не стоило вместе с вибратором выворотить и

арматурный каркас — так, во всяком случае, думал Гроссмейстер, но он жестоко ошибался. Жора был на исходе. У него уже вращались в глазах оранжевые шестерни, когда Федька вырубил распределитель и в наступившей тишине все четверо услышали донесшийся снизу голос бригадира. После двухминутной переклички стало, наконец, ясно, что на бетонном заводе вышла из строя вторая секция.

— Перекур!— объявил Женька и, отшвырнув лопату, направился в тепляк.

Задержавшись в дверях, Гроссмейстер увидел, как Федька с лампой-переноской присел над балкой и, заглядывая в нее, попытался отжать арматуру от стенки. Женька уже успел закурить. Промокшие насквозь рукавицы он швырнул на обогреватель и теперь от них пахло цементом, землей и горящей кожей. Грудью навалившись на стол, Жора устало ворочал челюстью. Перед ним лежали остатки хлеба и нетронутое яйцо.

— Воды бы!— сказал Гроссмейстер. Он заглянул в ведро, заставленное ломами и разносками, но кроме пары ржавых гвоздей ничего в нем не обнаружил. Вошел Федька. Кисть левой руки была у него обмотана платком.

— Довибрировались!— исподлобья взглянув на Гроссмейстера, сказал он.

— Что ты там высмотрел,— осведомился Женька.

— Стенка отходит. Вот что. Закрепили, называется...

Жора перестал жевать и вопросительно уставился на пол. Рядом с Федькиными сапогами появились свежие пятна крови.

— Понятно!— сказал Жора и перевел глаза на платок.— Ты где это так зацепился?

— Поскользнулся,— нехотя пояснил Федька и повернулся к Гроссмейстеру.— Придется спуститься вниз. Ничего не имеешь против? Ваше ведь звено выставляло щиты по этой оси. Я помню. Еще тогда с Иваном вы полаялись.

— Вроде бы на совесть мы там делали,— неуверенно пробормотал Гроссмейстер. Женька молча отстранил его в сторону и, встав на ящики с гвоздями, стал рыться в аптечке.

— Так!— потянувшись за топором, сказал Жора.— Вы тут перевязывайтесь, а мы с этим товарищем пока удалимся. Если щиты у них держатся на одних соплях — амба! Засолить всю компанию в бочке и скормить воробьям.

Они вышли из тепляка и, спустившись с лестницы, увидели неясные очертания лесов. Где-то за шестиметровыми стойками, сшитыми крест-накрест сосновыми горбылями, тяжелой капелью сочился раствор.

Жора выругался и, сунув молоток за голенище, перемахнул через крестовину.— Осторожно! — донесся из темноты его голос. Ничего не видя под ногами, Гроссмейстер спотыкаясь, побрел за ним.

Впереди громоздились остатки разбитых вдребезги щитов, валялись куски бруса. Расхристанные плотницкими топорами доски, длинными заусеницами свисали с верхних настилов. Обогнув последний завал, они вышли как раз к тому месту, где в образовавшуюся щель шлепались сверху вязкие комья бетона. Днище балки смутным контуром проступало над их головами. Жора с размаху вогнал топор в шершавый стояк и, ухватившись за прибитую по диагонали доску, потянулся к поперечному пальцу. Через минуту он потребовал топор и пару клиньев. Гроссмейстер, чертыхаясь, расщипил толстый коротыш. Ничего хорошего в том, что одна из стенок этой подлой балки отошла в сторону, не было. Застывший бетон уже никакими судьбами нельзя было извлечь из полутораметровой посудины. Скандал. Отесав клинья, Гроссмейстер полез к Жоре и оба они, цепляясь ногами за ригеля, остервенело застучали молотками. Им приходилось извиваться, притискиваться к липким от бетона щитам. Роняя гвозди, они порочили весь белый свет и задыхались от негодования. Стенка, наконец, подалась. Тяжело дыша, они ощупали нижние торцы боковин и убедились, что зазор между ними уменьшился.

— Ну, как там у вас? Порядок?— раздался сверху глухой Женькин голос.

— Тащи переноску!— хрипло откликнулся Жора и попросил у Гроссмейстера гвоздей. Гроссмейстер юркнул под балку, на четвереньках прополз два метра и уцепился за ригель, на котором лежала часть Жориного туловища.

— Держи!

Руки их встретились. Это было большим счастьем для Гроссмейстера, потому что в следующее мгновенье раздался треск и где-то внизу весело запрыгали посыпавшиеся гвозди. Жору сильно тряхнуло. От резкой боли в предплечье он дико зарычал, но рука его крепко сжимала запястье Гроссмейстера, который, нелепо болтая ногами, раскачивался среди лесов. Напрягая последние силы, Жора подтянул Гроссмейстера к стойке, и тот припал к ней, как улитка к осоке.

Выбравшись наружу, они долго молчали. Снег уже не падал. Мертвенная белизна холодно мерцала в открытых пролетах цехов.

Таинственно и радостно переливались звезды, а ночной ветер, как взломщик, бродил среди квадратных, похожих на бетонные сейфы, колонн. Сидя на фибролитовых плитах, Жора выбрасывал из пачки смятые папиросы.

— Слушай!— обратился он к Гроссмейстеру.— Ты откуда родом?

— Из Ярославля.

— Приличный городишко. А ты чего сюда-то приехал?

— Потянуло.

— Романтика, что ли, в тебе завелась?

— Не знаю.— Гроссмейстер украдкой взглянул на Жору и, зачерпнув пригоршней снег, ткнулся в него губами.

— С папашей как? В неплохих отношениях?— продолжал допытываться Жора.

— Обещал выпороть, когда вернусь. Только ждать ему долго придется. Он же из меня пианиста собирался сделать.

— Это на роялях-то играть?

— Да вроде этого.

— И ты не захотел?

— Как видишь.

— Дурак!

Жора выплюнул окурок, размял осторожно плечо и, поднявшись, решительно направился к лестнице. Уже держась за поручни, он обернулся.

— Ты что, психанул? Утром-то я был с похмелья. Некультурно поступил.

— Ерунда!— отмахнулся Гроссмейстер.— Только пьешь ты, по-моему, все-таки зря.

Жора ничего не ответил. Они поднялись на перекрытие и сразу же увидели бадью. Можно было начинать. Снова взревел вибратор, заскрежетала рукоять, соединенная с металлической челюстью горловины, и Федька, с заляпанной бетоном повязкой, снова махал крановщику руками, а потом брался за лопату и разгонял бетон по сторонам. В Женькиных руках стонал и бился игольчатый вибратор. Каждые пятнадцать минут бадья выплывала из темноты и бесшумно скользила вниз. Ровно в семь Федька крикнул бригадиру, что бетон больше не нужен. Ребристое перекрытие на отметке двадцать пять-восемьдесят было закончено.

XV

Пронзительно и чисто смотрела из-за белых деревьев заря. От снега, от неясных, но зримых предчувствий, от овеянных грустью лесов с их загадочной свежестью поселок казался не таким уж и мрачным. Федька, шедший впереди, остановился и оглянулся назад. Среди ныряющих по распадкам просек возвышались корпуса цехов. Если бы не трубы, их можно было бы сравнить с неприступными фортами, сложенными из розовых глыб. Поравнявшись с Федькой, Женька тоже повернулся лицом к комбинату, и оба они стали смотреть туда, где сравнительно недавно покачивались грузные сосны.

— А ничего! Красиво,— устало проговорил Федька и кивнул на бредущих метрах в сорока от них Гроссмейстера и Жору.— Устали парни. Еле рычагами ворочают.

— Подождем?

— Как хочешь.— Федька притянул росший поблизости куст и, сорвав блеклый, ржавого цвета листок, растер его между пальцами.— Обзаведусь я скоро. Чуешь? В законном браке буду состоять.

Женька потупился и носком сапога ковырнул торчащую из-под снега валежину. Потом он сплюнул и очень серьезно взглянул на Федьку.

— Значит, будем эвакуироваться? Освобождать жилую площадь?

— Не оставаться же вдвоем.

— Эх!— задохнулся Женька.— Такая была у нас жизнь.

— А теперь ее, значит, не будет?— насмешливо спросил Федька.

— Откуда я знаю.

— Значит, с Сонькой у вас несерьезно? А я думал, ты тоже собираешься жениться.

Махнув безнадежно рукой, Женька до самых ушей нахлобучил фуражку и, пытаясь улыбнуться, стиснул Федькину руку.

— В загс-то пригласишь?

— Ну само собой...

— А когда мне сматывать удочки?

Федька удивленно взглянул на Женьку. В глазах его отразилось недоумение. Поняв, наконец, в чем дело, он рассмеялся, и в его зловещей рыжей шевелюре затряслось предсвадебное пламя.

— Так ты думаешь, я собрался тебя выселять? Да? Живи хоть сто лет в этой комнате. И баб своих голых рассматривай и води кого хочешь, а эвакуироваться буду я. Ну, понял теперь. Перебираюсь я к Муське. Допер?

Потрясенный Женька кивнул головой. Глупейшая улыбка блуждала по его лицу. Он был растерян и грязной, с въевшимся в нее бетоном, рукой потирал запавшие щеки.

— Я же не против,— бормотал он обмякшим голосом.— Устроим две свадьбы. Напьемся и прочее...

— Обязательно!— подтвердил Федька.

— ...а с Сонькой у нас все в порядке. Баб этих снять надо. Ну их. Верно?

Федька похлопал его по плечу.

— Фамилию-то Сонькину возьмешь?

— Чего это ради. Был бы я какой-нибудь Лизунов или Дурашкевич, тогда другое дело.

Оба снова посмотрели назад, где на фоне багровеющего неба возвышались цехи, поблескивали установленные на мачтах прожекторы и, как допотопные чудища, ворочались башенные краны.

— Чего это вы там увидели?— спросил поравнявшийся с ними Жора.

— Индустрия,— ответил Федька.

— Ну и хрен с ней, с индустрией. Успеем еще, налюбуемся. Я вон все на ту звезду смотрю. Гроссмейстер, как она называется?

— Какой-нибудь Сириус, — вяло ответил Гроссмейстер.

— ...Ну это неважно. Я все равно о другом. Смотрите, как она светит! Других давно уж не видно, а ей хоть бы что. Так и будет светить, пока солнце не взойдет...

— Мы дойдем когда-нибудь или нет?— сонно перебил его Гроссмейстер.

— Дойдем, парень,— загрохотал Жора.— Только губами не шлепай!

Он первый двинулся по белой тропе, и за ним потянулись остальные.

Л. ТИХОНОВА

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

(К 75-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА Б. И. ЛЕБЕДИНСКОГО)

Произведения Б. И. Лебединского известны и популярны в Сибири. Его работы не только в музеях и на выставках, их встретишь в школе и институте, на заводе, в вагоне поезда, в квартире. Встретишь, и не удивишься, и знаешь, что висят они здесь не просто для украшения. Эти сибирские пейзажи идут от сердца к сердцу. Знакомые, будто много раз видел, а хочется смотреть еще и еще, отдаваясь чувству близости к природе, будто вслушиваясь в грохот байкальского шторма и тишину нетронутых снегов.

Полотно к полотну. Лист к листу. Даты, названия. Вся жизнь художника открыта нам в его творчестве, ведь талант неделимо спаян с характером, силой убеждений, с обстоятельствами судьбы. И нередко, знакомясь ближе, лишь подтверждаешь свои догадки, подсказанные картинами и эстампами, торопливой россыпью зарисовок, пунктиром эскизов. Бывает радостно, если творческая исповедь не обманывает, если так, только так и представляешь путь художника в искусстве и в жизни...

* * *

Борис Иванович Лебединский родился 17 октября 1891 года в городе Луге, Петербургской губернии. В доме его отца — учителя народной школы — частыми гостями были художники, приезжавшие в тихий городок, расположенный в нескольких часах езды от столицы, пописать этюды, а то и просто отдохнуть. Уже в раннем детстве, благодаря живому общению с людьми искусства, Борис Иванович имел представление о труде живописцев, знал имена многих русских художников и, при случае, с любопытством рассматривал репродукции их картин.

Интересно, что страсть к рисованию разбудил в нем выдающийся русский пейзажист И. И. Шишкин. Произошло это в Сестрорецке, куда семья Лебединских перебралась из Луги.

...Однажды непоседливый нрав и неутомимые ноги привели шестилетнего сынишку учителя в тенистые Сестрорецкие Дубки. Он воинственно выскочил на маленькую, всю в веселых солнечных пятнах полянку, да так и замер при виде человека, который показался ему настоящим лесным великаном. Но осторожно выглянув из-за его спины, мальчик сразу понял, что это художник. Как зачарованный, молча следил он за точной работой кисти, под которой те самые дубки, что были перед глазами, оживали на небольшом холсте.

Дома, совсем не думая о предстоящем за это наказании, мальчик выдрал из лежащего на столе у отца классного журнала графленый лист, и... тоже нарисовал дубки. Потом, чуть

поразмыслив, видимо, не удовлетворенный своим художеством, подрисовал рядом полосатую будку, шлагбаум и часового с ружьем у плеча. С тех пор его неудержимо потянуло к карандашу...

В начале девятисотых годов, сдав экстерном экзамен за среднее учебное заведение, Б. И. Лебединский поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица, откуда вскоре перешел в Санкт-Петербургскую школу Общества поощрения художеств. Учился он увлеченно, упорно и, несмотря на то, что часть времени отнимала у него необходимость зарабатывать на жизнь, уже к концу второго семестра перешел на третий курс.

Именно в эти студенческие годы Б. И. Лебединского увлекла графика. По классу графики он занимался у таких известных художников, как Билибин, Герардов, Матэ. Сложность и многообразие эстампных техник не отпугнули молодого художника. Напротив, он пробует свои силы в офорте, акватинте, линогравюре, ксилографии. Он обращается к высоким образцам прошлого, с глубоким интересом изучает офорты Рембрандта, Гойи, Дорэ, Шишкина. Лаконизм художественного языка, выразительность композиции, техническое совершенство исполнения — все в работах мастеров глубоко восхищало.

Огромную поддержку оказывает Б. И. Лебединскому в эти годы В. В. Матэ. Заметив любовь своего ученика к офорту и поддержав его первые успехи, он предоставил ему возможность работать в собственной, хорошо оборудованной мастерской. Для вступающего в жизнь художника эта отеческая забота, это требовательное внимание большого мастера имели особое значение: ведь формирование творческих устремлений Лебединского происходило в годы, когда в атмосфере последних лет реакции расцветали всевозможные «измы»: символизм, импрессионизм, кубизм, футуризм и т. д. В среде художественной молодежи имела хождение «теория» о том, что классики отжили свой век, безвозвратно устарели. Выходила из моды и станковая графика. Однако то, что рекламировалось как последнее достижение искусства, не увлекало Б. И. Лебединского своей пресловутой «новизной». Он продолжал кропотливо и настойчиво изучать старинную технику офорта. Под руководством художника-печатника Академии художеств Э. Ф. Зиверта он учился искусству печати и от этого мастера выносит убеждение на всю жизнь: невозможно быть художником-графиком, не освоив всех тонкостей печатания.

Работая на строительстве у известного архитектора А. В. Прахова, Б. И. Лебединский почерпнул интереснейший материал из области русской орнаментики.

Завидная работоспособность уже тогда отличала художника. У него хватает энергии и для учебы, и для работы, и для общественных дел. В 1911 году его избирают членом Совета и секретарем Художественно-артистической Ассоциации. В 1912 году Ассоциация организует Всероссийскую выставку молодых художников. На ней были представлены и эстампы Б. И. Лебединского: офорты «На берегах Вислы», «Вечер», «В деревне», «В бору», большой рисунок пером «Лесной завал» и ряд живописных работ. Эта выставка принесла ему признание зрителя.

Весной 1914 года Лебединский был удостоен медали на выставке в Лейпциге за акватинту «Новгородские стены». В последующие годы он с успехом выступил на ряде столичных выставок с офортами и рисунками. Но все это было лишь прелюдией, вступлением к большому творчеству.

* * *

В начале 1917 года молодой Лебединский отправился в поездку по Сибири: Красноярск, Минусинск, Иркутск... Перед ним открылся величавый полноводный Енисей, зеленый океан тайги, дышащий свежестью Байкал. Сибирь произвела на художника неизгладимое, огромное впечатление. Здесь определилась его творческая судьба.

Как встретил он революцию? Уже живя в Иркутске, Лебединский прочитал подписанный Лениным декрет о национализации художественных ценностей и принял его, как свидетельство заботы Советской власти об искусстве, о том, чтобы оно стало достоянием народа. Этот декрет звал всех честных художников к действию, к конкретной работе. Ведь не только в столице, но и в провинции, и в далеком Иркутске было немало редких, ценных картин, которые следовало собрать из частных коллекций, сберечь от расхищения и порчи, сохранить для будущих поколений. Вместе с художниками Н. Андреевым, К. Померанцевым, М. Стражниковым, Л. Лагутиной и другими Лебединский отдается работе по собиранию фондов Иркутского художественного музея и вскоре становится председателем Совета картинной галереи.

Уже тогда начались у Лебединского острые столкновения с художниками-формалистами. Спор шел о самом важном и принципиальном: о значении реализма в дальнейшем

развитии искусства. В начале и середине двадцатых годов в Иркутске почти не было художников реалистической школы. Тон задавали представители различных направлений декадентства. Писали зеленые ноги в ванне, муху на линзе очков и т. д. Часть художников группировалась вокруг «Воскресного общества мужчин и дам», где лепили «скульптуры» из хлебного мякиша, рисовали в альбомы барышень розы и незабудки, приобщались к формалистическим опытам.

У Лебединского, к той поре уже достаточно опытного художника, это вызывало едкую иронию. Не имея возможности творческого общения, живого обмена опытом, он снова и снова обращается к наследию мастеров гравюры. Особенно близкой всему складу своего творчества представляется ему светлая, жизнеутверждающая манера Шишкина.

Некоторая подражательность работ Лебединского этого периода давала формалистам повод называть его «запоздалым шишкинцем» и утверждать, что он цепляется за ушедшее прошлое. Он прослыл человеком трудного характера, но позиций своих не сдал. Он работал и нес свои творения на суд нового зрителя.

...Страна с огромным напряжением выбиралась из послевоенной разрухи. Где-то в далеком Поволжье бушевал памятный народу голод... О нем писали в газетах, и в помощь голодавшим со всех концов молодой республики Советов тянулись с небогатыми трудовыми дарами миллионы дружеских рук.

Очередное тревожное сообщение с Поволжья заставило Бориса Ивановича отправиться в политпросвет, ведавший вопросами искусства:

— Предлагаю организовать выставку в помощь голодающим. У меня наберется около ста работ.

Идея была поддержана. Художнику выдали триста метров дефицитного холста для оборудования стендов и он принялся за дело. Для этой выставки Лебединский отобрал ряд пейзажей, полотно «Октябрь. Все на площадь», выполненное в монументально-плакатном стиле, и серию алтайских и сибирских рисунков.

Выставка пользовалась успехом, и весь доход от нее был отправлен вместе с пожертвованиями трудящихся Сибири в Поволжье.

Вскоре Лебединского пригласили принять участие в создании первого рабочего Дворца культуры в Маратовском предместье. Когда художник первый раз вошел в запущенный двухэтажный дом, отведенный под дворец, он уже твердо знал, чего хотел. Он хотел, чтобы рабочие, хозяева этого невиданного доселе дворца, встретились с подлинной красотой. Он работал с подъемом, с молодым задором, и лучшей похвалой своему труду до сих пор считает восхищение заводских пареньков и девчат в красных косынках, заполнивших дворец в день открытия.

Посетителей поражал зрительный зал, весь покрытый росписью алексинским травным орнаментом XVII века, где балкон поддерживали деревянные колонны с затейливым орнаментом и росписью. Узорные теремные окна с разноцветной слюдой гармонировали с резной мебелью и общим стилем всего сооружения (краски достали ему из церковных запасов комсомольцы). Киноварь, ультрамарин и золото легли в основу общего колорита. Громадная люстра, свисавшая на цепях с потолка в виде обруча, по меандру которого бежали единороги, была завершением всего художественного ансамбля. В оформлении безусловно отразилось влияние на художника работы у А. В. Прахова. К сожалению, эскизы и сама роспись дворца не сохранились. В планах художника — восстановить эту роспись по памяти.

* * *

В первое десятилетие Советской власти жизнь выдвигала перед художниками задачи, решить которые в одиночку было невозможно. Наверное, не один Б. И. Лебединский вынашивал мысли о творческом объединении сибирских художников. Зимой 1925 года он написал статью, в которой призывал к творческому содружеству, к коллективному обсуждению основных проблем современного искусства. Статью эту он послал в редакцию крупных сибирских газет, и она была опубликована в Томске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке. Началась подготовка первой выставки художественного творчества Советской Сибири.

Лебединский стал одним из ее организаторов. Он ездил в Верхнеудинск, Читу, Красноярск, Омск, Томск, встречался с художниками, отбирал экспонаты, работал над каталогами. Сам он участвовал на выставке живописными работами «Саяны», «Фиалковый камень», «Печальный берег», «Речка Похабиха», «Радуга», офортами «Старик-бурят», «Бурятка в гостях», «Мельник-сказочник» (итальянский карандаш) и выполненными сепией рисунками «Ясашные за красками», «На Байкале», «Орошение степей бурят-монголами». Это были интересные опыты освоения сибирского материала.

Первая Всесибирская выставка открылась

в Иркутске в 1926 году. На ней было представлено шестьсот в основном реалистических работ. Это культурное событие положило начало художественной жизни молодого сибирского края.

Через год, в 1927 году, в Новосибирске открылась первая Передвижная выставка художников Сибири и состоялся съезд художников, делегатом которого был и Борис Иванович Лебединский. Здесь, перед широкой аудиторией, он убежденно и обоснованно выступил в защиту традиций русского искусства. На выставке его творчество было представлено рядом новых работ. Успех имели рисунок «У окна», офорт «Илимский острог» и пейзаж «Мельница на Аршане». Последний выделялся среди множества других картин светлым, радостным мироощущением.

...Веселые, кудрявые облака плывут в синем небе. По замшелым валунам несется горная речка. Солнце светит вовсю, озаряя и облака, и воду, и старую деревянную мельницу, и обрывистый склон ближней горы. Лишь на противоположную вершину, поросшую густозеленым хвойным лесом, падает тень. От этой игры света и тени еще более яркими выглядят краски летнего дня, еще более победно звучит в картине общий солнечный колорит.

Пейзаж Б. И. Лебединского «Мельница на Аршане» был отмечен как лучший на выставке.

Человек разносторонних интересов, принимающийся за любое дело горячо и энергично, Лебединский нашел в Сибири широкое поле деятельности.

Мир его маленькой мастерской распахнулся, и тысячи нитей связали художника с кипучей, многообразной жизнью. Он был избран председателем бюро рабкоров Маратовского района, работал инструктором по охране памятников искусства, старины и природы, преподавал в школе, сотрудничал в Советской сибирской энциклопедии, в газетах, во Всесоюзном Географическом обществе, в Комитете Севера. Широта жизненных интересов диктовала художнику новые темы. Борис Иванович увлеченно занялся изучением исторического прошлого Сибири. И не только по архивным материалам. Он сам делал археологические раскопки, открыл более двадцати древних стоянок, принимал участие в ряде геологических экспедиций, зачитывался научной литературой. С 1926 по 1931 год он написал около ста акварелей, по которым студенты Иркутского университета получали представление о флоре и фауне земли периода мезозоя и палеозоя. Акварели служили иллюстрациями и на массовых лекциях о происхождении и развитии жизни на земле.

Четыре года художник работал старшим научным сотрудником в биолого-географическом научно-исследовательском институте Иркутского госуниверситета. Под руководством профессора М. М. Кожова принимал самое активное участие в создании Байкальского музея. Творческим итогом этого периода были научные монографии Лебединского «Иркутский острог», «Московские ворота в Иркутске», «Из наблюдений над крестьянским зодчеством», богато иллюстрированные автолитографиями по камню.

Эстампы этих серий имеют неоценимое познавательное значение, а по художественным достоинствам «принадлежат к замечательным созданиям советской графики» (Сокольников М. П. «Изобразительное искусство РСФСР 1917—1957 гг.»).

Историческая тема для Лебединского — не эпизодическое увлечение. Она красной нитью проходит через все его творчество. В ближайших планах художника — окончательное завершение обширной панорамы Иркутска, в которой найдет отражение рост города от первого зимовья на Дьячем острове до монументальных сооружений наших дней. Этот замысел, требующий не только глубокого знания истории города, но и искренней любви к нему и глубокой заинтересованности в его судьбе, подготовлен всей многолетней работой художника в Сибири.

Полвека прожил Б. И. Лебединский в Иркутске. Он путешествовал по просторам Сибири пешком, на собачьих упряжках и рыбацких лодках, он встречал рассветы в Саянах, любовался бескрайней синей гладью Байкала, вслушивался в глухой, беспокойный шум тайги. Не успев закончить одну работу, он уже был полон новыми замыслами. Из его отдельных пейзажных офортов складывались интересные графические серии. Первая из них — альбом «Аршан» (1931 год) включает 16 автолитографий по камню и 11 заставок, выполненных пером по камню. Альбом открывается любопытным очерком художника о туристских маршрутах по Тункинской долине, Аршану, Саянским хребтам, о природных особенностях этого живописного уголка Сибири. Отдельные главы передают бытующие здесь легенды, сказки и предания. Со страниц альбома смотрят на нас лица старых сказителей («Мельник-сказочник», «Сказочник-помольщик»). Мелкие, добродушные морщинки, зоркий прищур глаз. И кажется, будто оживает то, о чем мельник вел рассказ, попыхивая трубкой.

...Бежит по Тункинской долине хрустальная Кынгарга и даже свирепый сибирский мороз не в силах ее сковать. Вот такой же ясноглазой и смелой была когда-то девушка Кынгарга, что закрыла собой любимого от врагов. В ту пору и превратилась струйка пролитой ею крови в реку, чистую и глубокую, как верность любимой... Меч, принесший ей смерть, обратился в камень, и Кынгарга до сих пор бушует вокруг него гневно и неустанно.

Когда всматриваешься в литографии Лебединского, где запечатлены гольцы, ущелья и долины, по которым несет свои воды красавица Кынгарга, шумные водопады и говорливые перекаты на ее пути — невольно отдаешься поэзии старинного предания. Романтичность его совпадает с манерой исполнения: несколько причудливой композицией («Водопад Рассыпной», «Голубые пики»), необычностью освещения («Прояснело»», «Чертов пролом» и др.).

В 1932 году, по приглашению известного исследователя Семенова-Тяньшаньского, Лебединский уезжает в Ленинград и работает старшим научным сотрудником Центрального государственного географического музея. Предвоенные годы оказались драматически вычеркнутыми из творчества. В 1943 году Лебединский возвращается в Иркутск.

* * *

Сороковые — пятидесятые годы — пора творческой зрелости художника. Офорты и рисунки этого периода отмечены глубиной содержания, отточенностью формы. Он работает много и особенно плодотворно. В 1947 году Иркутское областное издательство выпускает два альбома автолитографий на камне Б. И. Лебединского — «Тайга сибирская» и «Байкал». Со страниц этих альбомов сибирский пейзаж встает удивительно знакомым, близким и в то же время полным новой волнующей прелести оттого, что мы воспринимаем его в лирическом обобщении.

«Таежные дали», «Дебри», «Речка в тайге», «Горная тайга», «Утро в тайге» — эстампы этой серии несут ощущение мощи, богатства и поэтической красоты сибирского края.

Особенно выразительны по настроению байкальские офорты Лебединского.

...Волна обгоняет волну, и злая белая пена вскипает на гребнях. В пыль расшибаются могучие валы о каменную громаду берега, и кажется, звучит в ушах бешеный посвист ветра. Литография «Буря. Байкал у мыса Саган Хушун» выполнена в суровом, зеленовато-черном тоне. На первом плане — разбушевавшаяся стихия. Береговые скалы намечены лишь в контурах. Композиционно они рассекают пейзаж по диагонали, что позволяет выразительно показать над исполинским прибоем хмурое, низко нависшее небо. Штрих широкий, энергичный, сочетание света и тени построено на контрасте.

И снова Байкал... Как дальний отголосок минувшей бури легкая зыбь на воде. Среди замшелых камней поднимаются, искривленные в единоборстве с суровыми ветрами деревья. От прибрежной скалы колеблется на глади озера длинная тень. Все будто замерло в ожидании... А там, за дальним берегом туманная дымка с каждой минутой тает, редеет и вот уже, пробив ее, золотые солнечные лучи заливают все окрест своим торжествующим утренним светом... Состояние природы художник каждый раз по-новому передает и световой гаммой, и характером композиции, и выбором технических средств. Эстамп «Утро в бухте Песчаной» радует глаз мягкими розоватыми тонами. Снова на центральном плане водный простор. Громада гор дана в отдалении и не подавляет собой величия озера-моря. Воздушность, лучезарность этого пейзажа мастерски выражена в технике. След резца почти неуловим, настолько он легок, гармоничен в переходах. С необычайной тщательностью выписаны детали, вплоть до каждой травинки на берегу, высвеченной утренними лучами.

Байкал в весеннем торжестве. Байкал в обрамлении заснеженных гор, Байкал на рассвете и в призрачном, серебристом свете луны. Байкал в богатырском грохоте бури и в ласковой улыбке погожего дня. Каким только не запечатлел его художник!

— Пусть люди знают о красоте Байкала...

Искусство графики, которым Б. И. Лебединский в совершенстве владеет, как нельзя более отвечает этой цели. Оно открывает возможность размножить произведения в десятках, сотнях экземпляров, сделать художественный подлинник достоянием народа.

Гравюры Лебединского приобретают многие музеи страны. Лучшие произведения художника-сибиряка в числе работ крупных советских художников представляли отечественную графику на международных выставках.

В последние годы мастерская Лебединского становится своего рода лабораторией. Художник разрабатывает собственную конструкцию офортного пресса и осуществляет свой замысел в двух вариантах. Станок, на котором он теперь печатает, дает возмож-

ность создавать офорты размером до метра. Творческому усовершенствованию подвергаются и гравировальные инструменты. Не удовлетворяясь этим, Лебединский создает ряд простых, но оригинальных приспособлений, которые значительно облегчают труд гравера. Он экспериментирует также в области травления офортных досок, пробует сочетать различные приемы проработки на различных материалах, отыскивает утраченные секреты старинного мастерства. Его интересует гравирование на стальных и цинковых пластинках, на камне, коже, линолеуме. Однако основное внимание художника попрежнему привлекает техника офорта — одна из самых старинных, трудоемких, но по своим художественным достоинствам до сих пор не имеющая себе равных.

В конце пятидесятых годов рождается новая серия офортов Лебединского — «Ангаргэс». В этих монументальных листах передан пафос великой стройки, пафос созидания, охвативший сибирскую землю от края до края.

...В поднебесной выси маячит стрела огромного портального крана. С того ракурса, который избрал художник, видно, как сквозь ажурные конструкции проплывают легкие облака. Левобережная стенка плотины похожа отсюда, из котлована, на могучий, монолитный утес. Незыблемо стоять ему в веках... Фигуры строителей на верховой бетоновозной эстакаде едва различимы. И тем сильнее потрясает грандиозность дела их рук, величие их трудового подвига.

В 1958 году Иркутское областное издательство выпустило второй байкальский альбом художника. В нем тридцать восемь автолитографий по цинку и около пятидесяти рисунков, выполненных кистью штрихом. На этот раз в написании текста вместе с художником принял участие известный исследователь Байкала профессор М. М. Кожов, и в лирические зарисовки байкальского пейзажа органично вплелись интересные сведения о режиме озера-моря, о его природных и климатических особенностях. В альбоме каждый сюжет значим и интересен сам по себе, а в едином целом — это настоящая поэма о Байкале.

На литографиях запечатлены многие байкальские достопримечательности: скала «Хобот», напоминающая гигантского слона, стоящего в воде, «шагающие» сосны в бухте Песчаной, под которыми ветер выдул почву и глубоко обнажил корни, живописный мыс Шаман, более, чем на двести метров вдающийся в море узкой извилистой полосой, дикие скалы острова Ольхона и бухта Томпуда, где тайга, покрывающая склоны гор, почти не хожена и где не пуганы звери.

Литографии привлекают новыми чертами в мастерстве художника. Свойственная ему четкость композиции здесь достигает подлинной свободы и непринужденности. Штрих настолько мягок и легок, что эти линогравюры нередко напоминают рисунок карандашом. В этой же манере Лебединский задумал еще несколько серий эстампов. В его мастерской как всегда обилие эскизов, набросков, зарисовок к очередным байкальским полотнам и эстампам. Поистине, материал у художника неисчерпаем! За успехи в развитии советской графики Б. И. Лебединский удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

* * *

Когда человеку семьдесят пять, его положено считать старым. Но сдаются перед возрастом далеко не все. Со старостью каждый борется по-своему — покоем, режимом, лекарствами. У Лебединского тоже свой рецепт — одержимость работой. Изо дня в день: дождь ли, стужа ли, жара ли, праздник или будни, всегда в одни и те же часы спешит он в свою мастерскую.

Высокий, сухощавый, правое плечо чуть выше, как у всех, кто много сидит за рабочим столом, он идет легкой размеренной походкой, свойственной тем, кто знаком с дальними расстояниями. Бывает, невольно рука осторожно ложится на сердце. В иной же день он, забывая наставления врачей, без отдыха одолеет лестницу в свою мастерскую на пятом этаже. Это верный признак, что у Бориса Ивановича или начата или к концу идет увлекшая его работа.

— Заходите,— с видом именинника пригласит он друзей.— Кое-что покажу,— и хохотнет счастливо и задорно.

В мастерской Лебединского гостей бывает много: иркутяне и зарубежные туристы, коллеги и просто ценители красоты. Стены, увешанные гравюрами и картинами, незаконченные еще полотна на мольбертах, отшлифованные медные пластины, прикрытые листом чистой бумаги — все дышит здесь творчеством и трудом.

Сейчас в центре мастерской большой, еще незаконченный холст «Ярославна».

Долго мечтал об этой картине художник. По своему обыкновению, работая над полотном, воскрешающим далекую историю, он не полагается на одно лишь художественное видение. Он хочет быть достоверным. На рабочем столе художника книги, выписанные из

Ленинграда, Москвы, Риги, старинные тома и новейшие исследования по истории Руси XII века. Каждая деталь будущей картины должна быть исторически выверена и только тогда творчески обобщена — это старый принцип Б. И. Лебединского.

...Крепкая, из связанных накрест тесанных бревен, стена вкруг Путивля. Серые, печальные дали. Но ветры-ветрила разрывают хмарь и солнце золотит темные, островерхие маковки сторожевых башен, высвечивает лицо Ярославны. Руки ее сведены в горячем порыве, вся она устремлена вперед.

Полечу,— говорит,— кукушкою
по Дунаю,
Омочу бобровый рукав в Каяле-реке,
Утру князю кровавые его раны
на могучем его теле...

Колорит картины хмурый, но полный светлого предчувствия, композиция, подчеркивающая слитность плача Ярославны с чаяньями всей земли русской — это уже найдено, определено в картине. Но Борис Иванович всматривается в нее испытующе. Ярославна... Как непросто ее разгадать. Сделано несколько эскизов головы. Лицо то строгое и скорбное, то мягкое, одухотворенное, то молящее. Каким оно будет окончательно в картине, как знать... И пока не сделан тот последний штрих, что магически оживит образ, художника терзают сомнения, те самые муки творчества, что не дают покоя ни днем, ни ночью. Говорят, некоторых это выбивает из рабочего ритма. Борис Иванович работает в такие моменты особенно много. Но, берясь за резец и начиная новую гравюру, быстрым, каким-то через прищур взглядом нет-нет да и скользнет по незавершенному полотну.

Вот так же долго и упрямо маялся он, когда затеял прошлой зимой печатать свои гравюры не на бумаге, как обычно, а на шелку.

Сколько раз было обидно до колотья в сердце, когда должно было получиться и... нет, не получалось. Колдовал над краской, подогревал печатную доску то сверху, то снизу, приноравливал пресс. Бросал все на несколько дней, и принимался снова и снова. А теперь, когда бьется над «Ярославной», отдыхает душой, рассматривая свежие оттиски на шелку. Предчувствия не обманули: материал — блестящий белый атлас — потрясающе усиливает эффект гравюры. Как живая, струится, сверкает вода, переливаются на ней солнечные блики. Будто огоньки вспыхивают в снежном сугробе, празднично искрится иней. Значит, стоило воскрешать старые рецепты печати, не жалеть сил и времени, жить верой, искать. И так — всю жизнь...

Совсем недавно вышел из печати третий альбом Лебединского, посвященный Байкалу. В нем двадцать четыре оригинальных гравюры и перед каждой — лирическая заставка — миниатюра.

Снова Байкал... Кажется, еще большей задушевностью и теплотой согрет каждый лист. Тончайшие переходы в состоянии природы, богатейшая гамма настроения.

Вот шествует неторопливая стайка утят. За этой улыбчивой заставкой открывается лучезарный лист «Утро на соре». Сорами на Байкале называют мелководья, образованные речными выносами. Гравюра, воссоздающая картину рассвета в этих местах, эффектно рассечена пучком первых солнечных лучей. Они пронизывают черный еще лес и густые заросли травы у кромки спящей воды. Они манят в поднебесье стаю диких уток. Жизнь торжествует...

Большая и малая гравюра в альбоме едины. Они как бы с разных сторон открывают характерность байкальского пейзажа, сообщают ему особую живость.

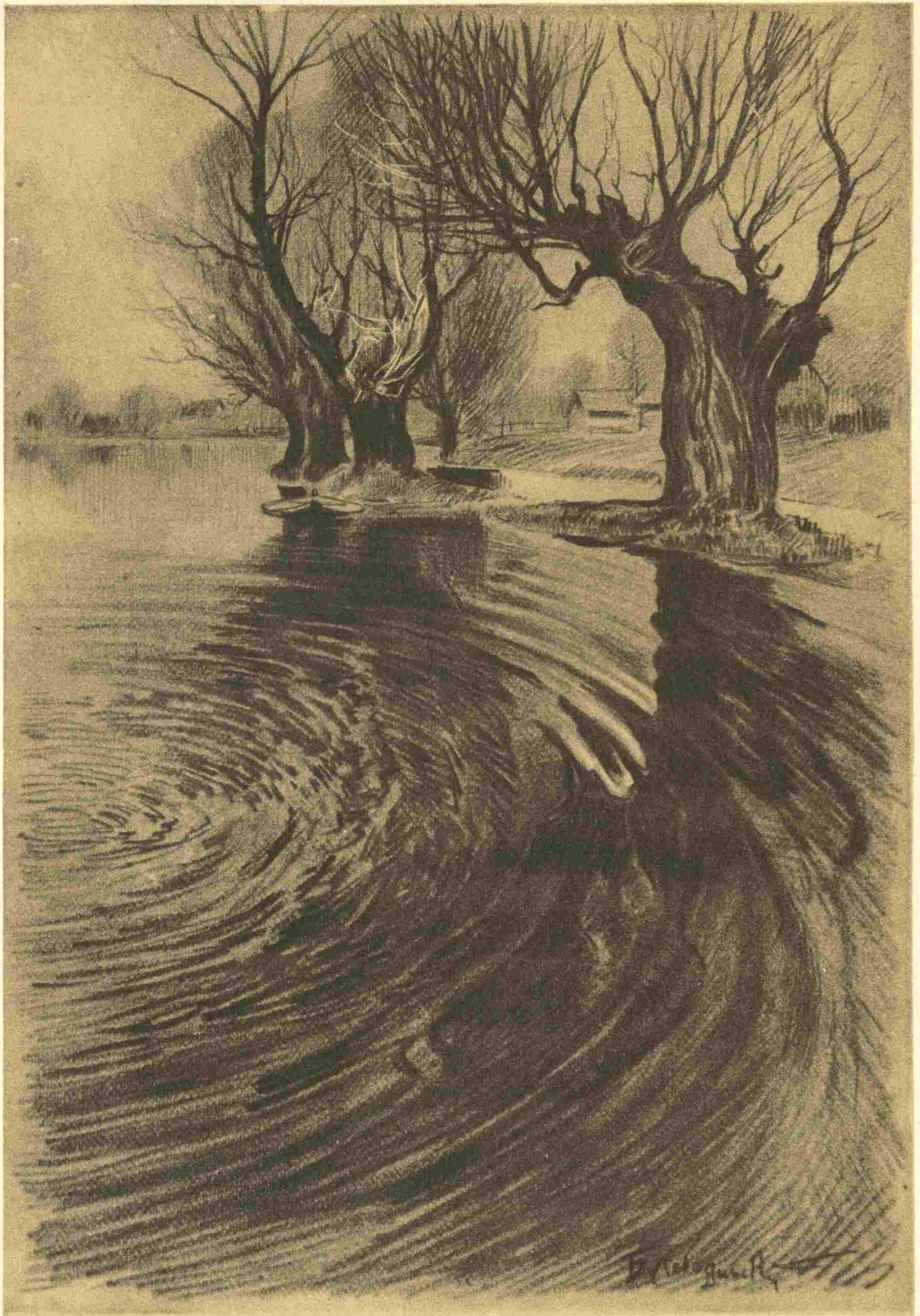
...На две тысячи километров протянулись байкальские берега. Разнообразие пейзажей удивительно. Говорят, здесь можно встретить уголки Швейцарии, Кавказа, Крыма. Но нет! Байкал настолько своеобразен, что к нему с такой меркой и подходить нельзя. Кажется, именно об этом и толкуют путники, отдыхающие на берегу. За этой миниатюрой открывается пейзаж, действительно неповторимый. Отвесные скалы из воды, причудливая поросль сосен на вершинах, ветровые просторы до далекого горизонта.

В каждом листе творческий почерк художника безошибочно узнается в строгой сосредоточенности и поэтической углубленности сюжета, в почти ювелирной технике. Так вписался в творчество художника юбилейный, семьдесят пятый год жизни.

Признаться, сам Борис Иванович относится к этому юбилею без парадности, даже чуть иронически.

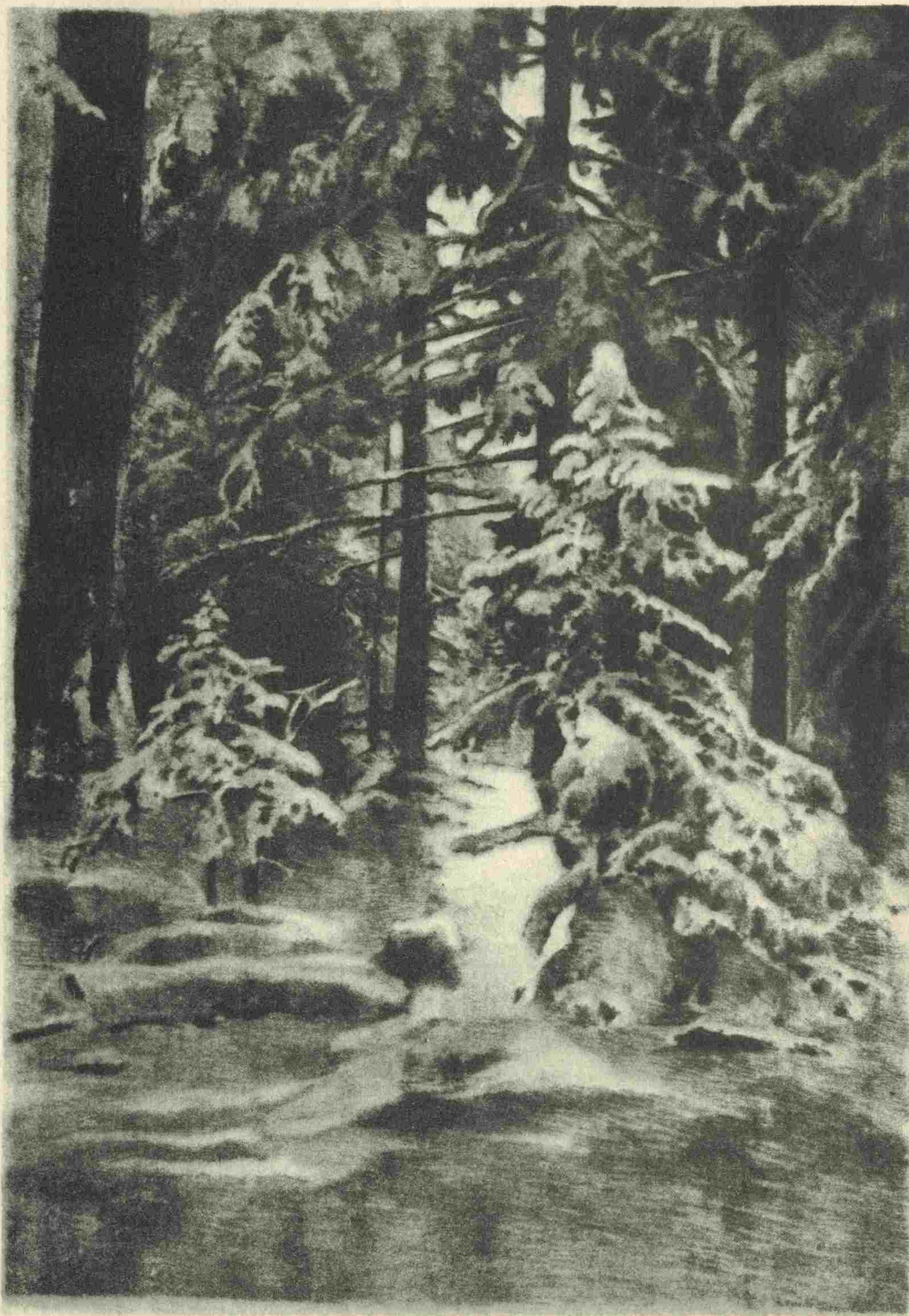
— Старый?!— приложив ладонь к уху, спросит он, но хохотнет не без вызова. И обязательно пригласит в мастерскую.

— Заходите. Я ведь начал новую картину...

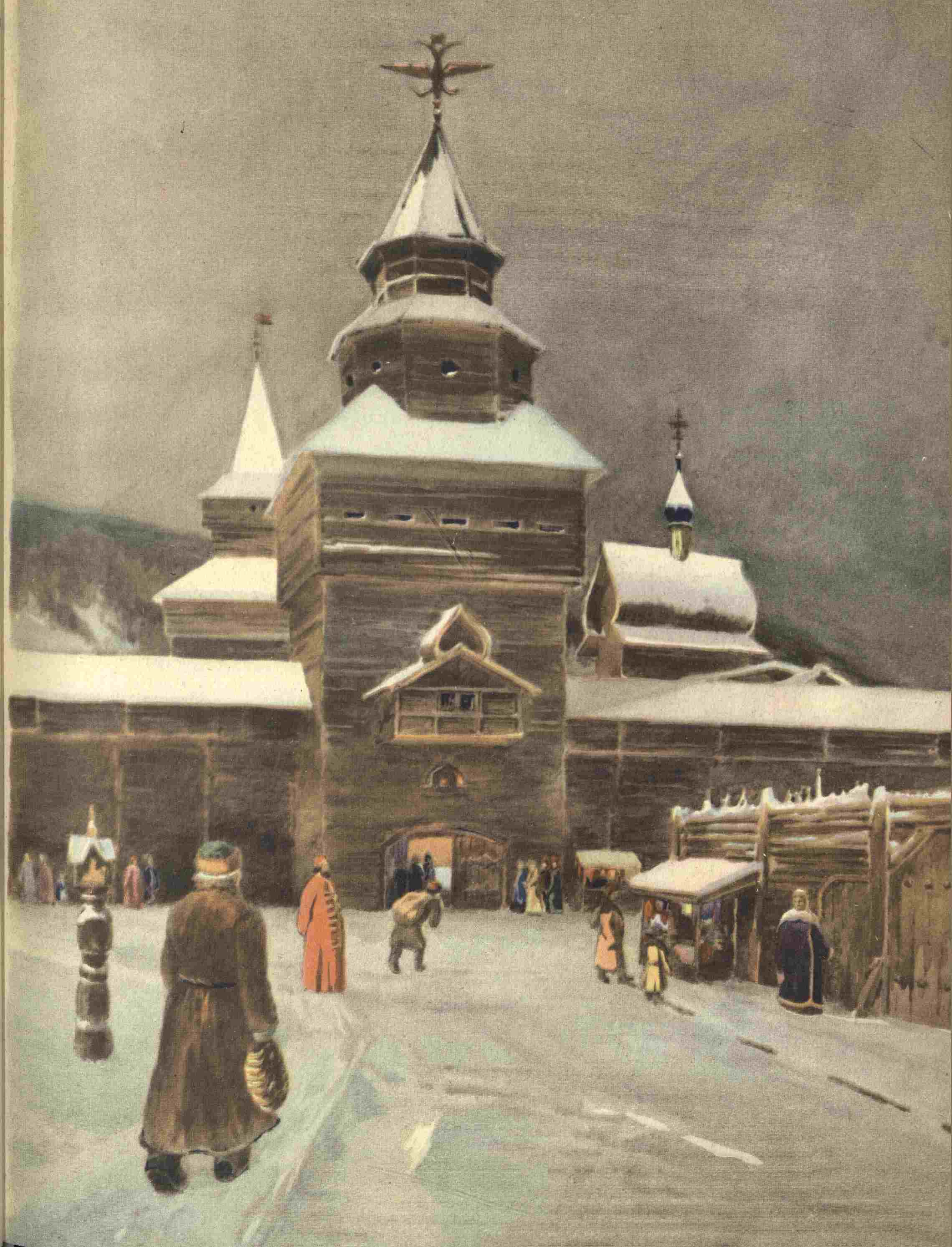


Вешние воды. Карандаш.

Иркутский острог, Сергиевская башня. Аквар



Зима в тайге. Офорт.

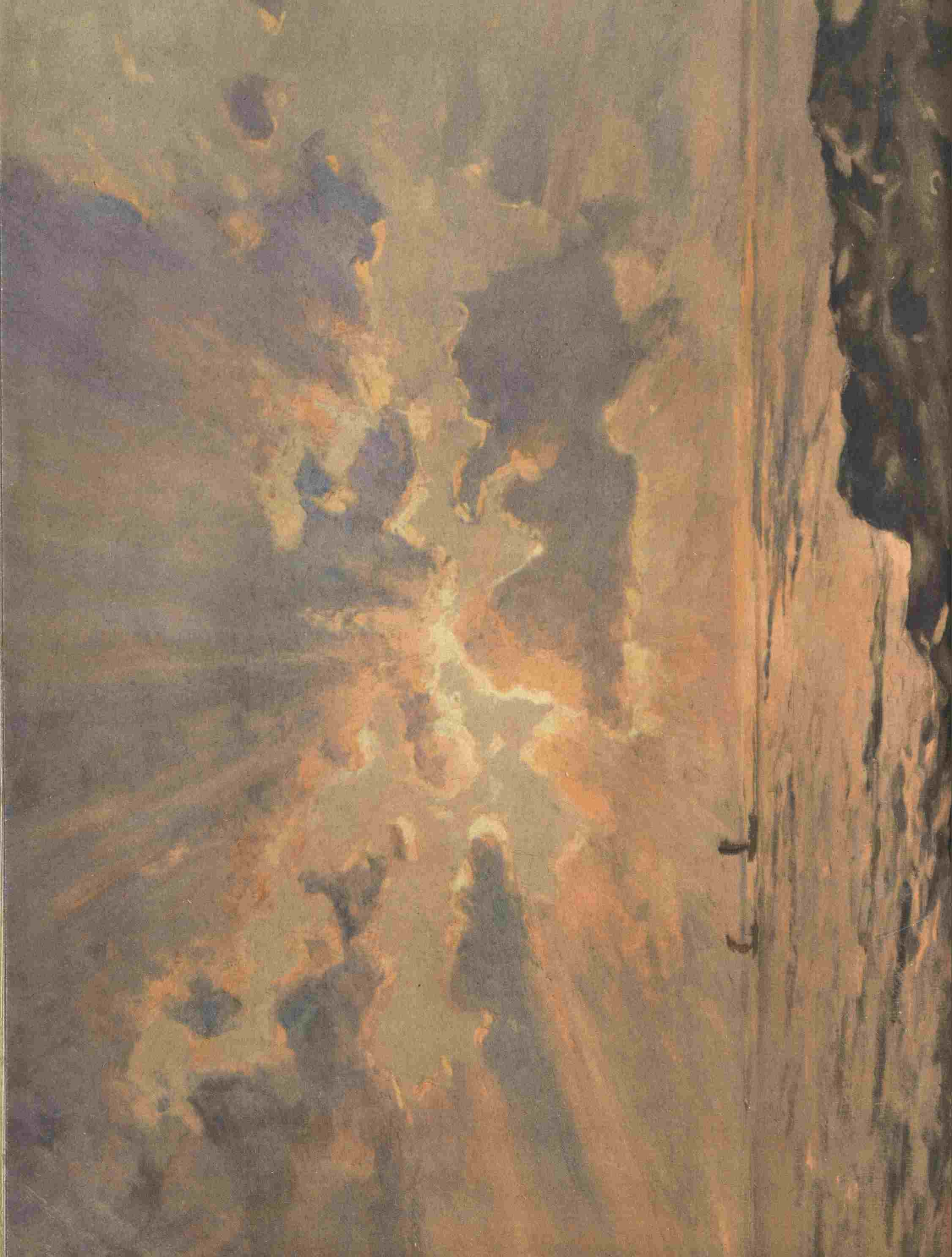




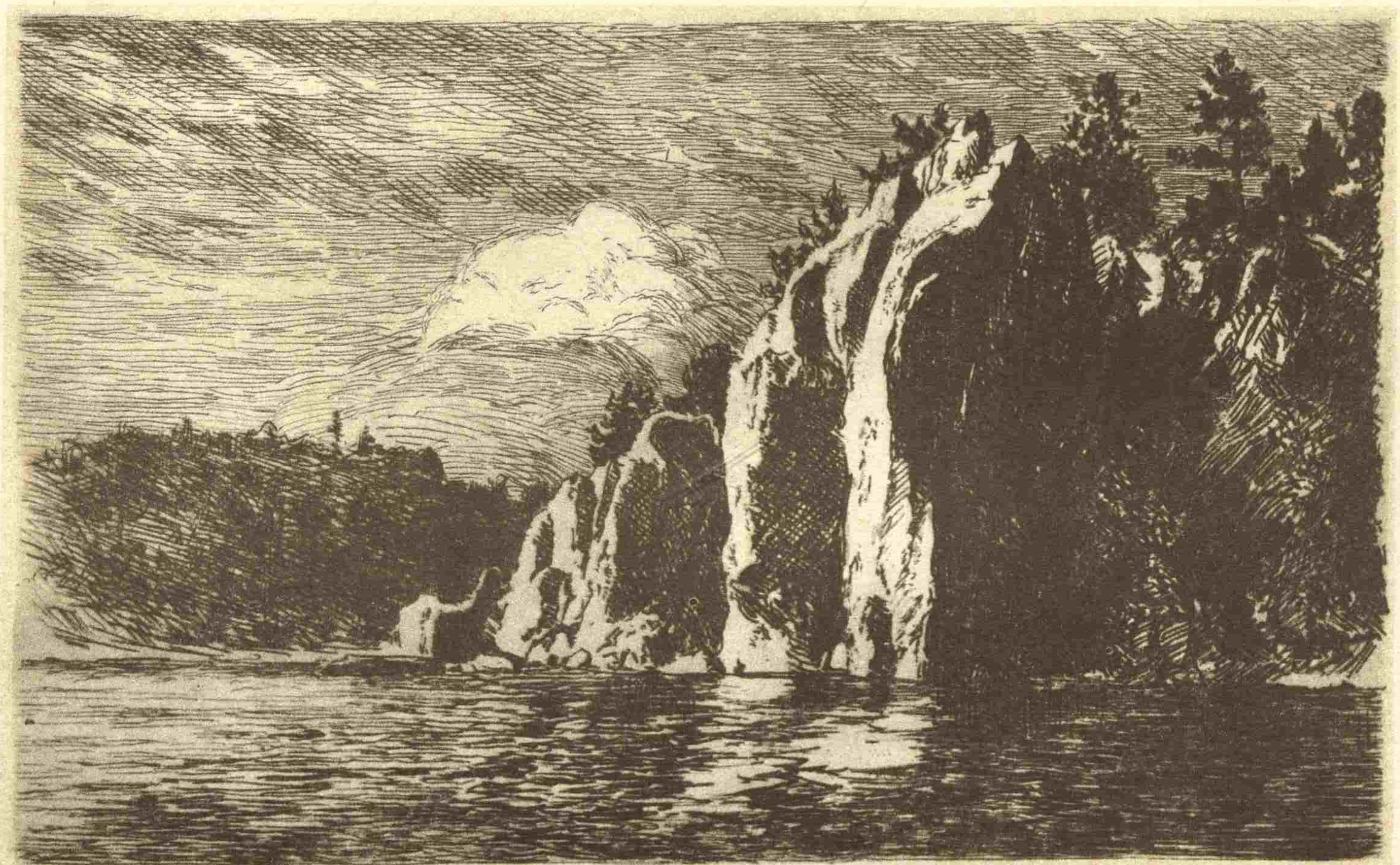
Байкал перед бурей. Масло.



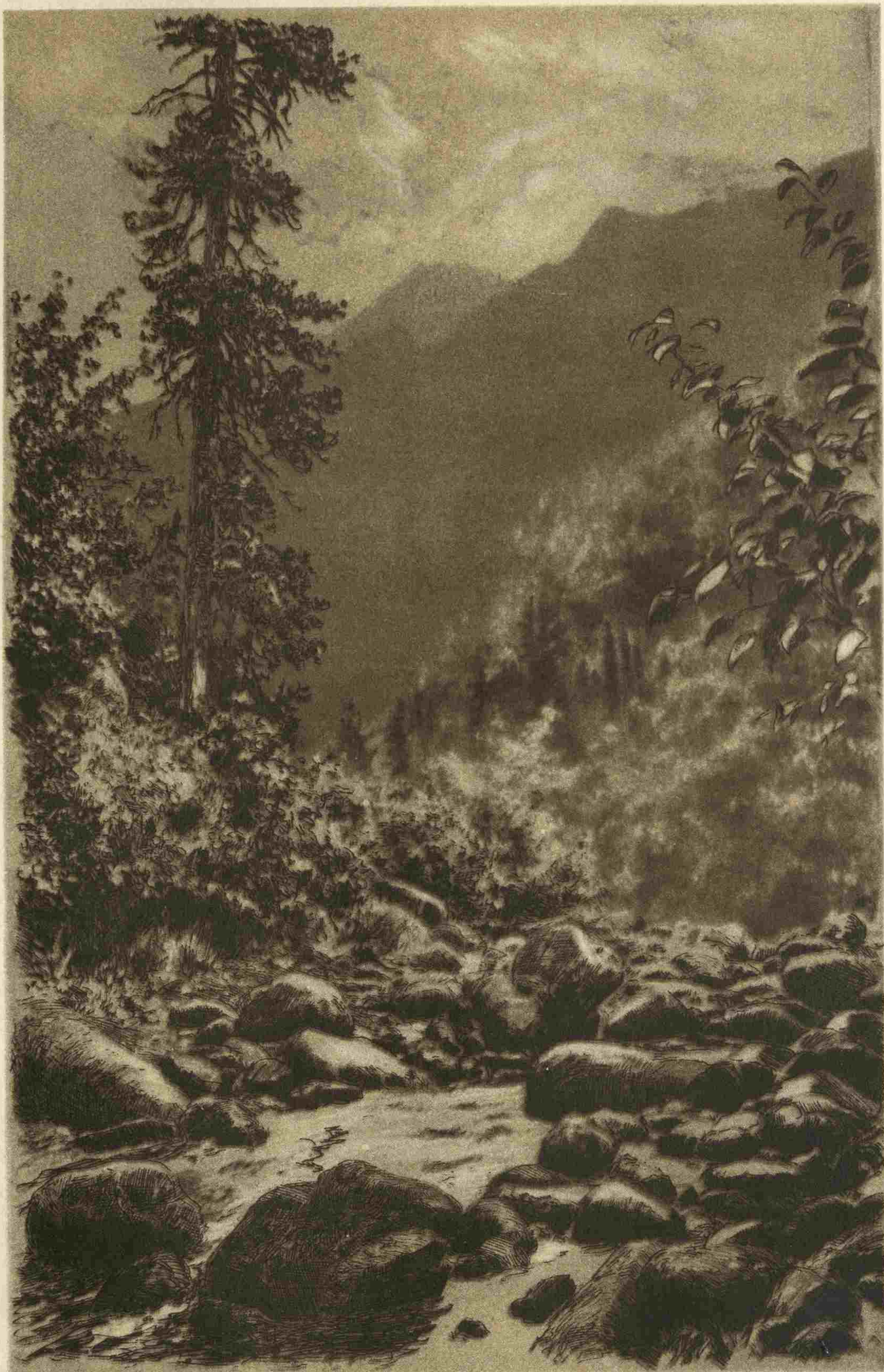
В бухте Бабушка. Этюд. Масло.



Вечер на севере Байкала. Этюд. Масло.



Близ бухты Песчаной. Офорт.



В горах Прибайкалья. Офорт.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ

ОДНОАКТНАЯ КОМЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент, 32 лет.
ЛОСЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, учитель, 32 лет.
ТАТЬЯНА ПОЛЗУНОВА, 30 лет.
ОЛЬГА ДАНИЛОВА, домашняя работница Гореловых, 19 лет.

Действие происходит в наши дни.

Подмосковье. Дача Горелова. Жаркий августовский вечер. Во двор входят Горелов и Лосев, загорелые до черноты, веселые, с чемоданами.

Горелов. Вот. Собственность Евгения Горелова. Дача. Полюбуйся, Виктор. Что скажешь?

Лосев. Мои мальчишки из восьмого «А» сказали бы: мощная дача. А я что? Онемел от восхищения и зависти.

Горелов. Страшное дело — собственность. А вдруг пожар?

Лосев. Клумбы какие! Маки! Мои бы мальчишки из восьмого «А»...

Горелов. Вот, вот. Много здесь мальчишек побывало.

Лосев. Собаку заведи.

Горелов *(многозначительно)*. Завел.

Лосев. От этакой благодати на юг ездить?! Я бы ни за что!

Горелов. На следующее лето привози сюда семью. Будем вместе отдыхать.

Лосев. Спасибо, Женька.

Горелов. Тут бы ребятам бегать. Там дальше смородина, малина.

Лосев. Доцент чертов! Когда это ты успел?

Горелов. Я? Я здесь ни при чем. Это все — мама. Скопила деньжат и вот, пожалуйста. Ну, долгу еще тысяча.

Лосев. Тысяча!

Горелов. Я — бобыль. Могу позволить себе такую роскошь.

Лосев. Ну, молодчина — твоя мама.

Горелов. Эх, Витька! Честное слово даю, с радостью подарил бы тебе этот райский уголок со всеми его потрохами, то бишь малиной, смородиной, маками. В этом ли счастье? Только сильней свое одиночество чувствуешь. Только ради мамы... *(Кричит)*. Ольга! Что хозяина не встречаешь?

Лосев. Ольга? Кто такая? Дурачишь ты меня. Женился?

Горелов. Еще что! Это домработница Ольга. *(Вбегает на террасу, пробует открыть дверь в дом, дверь заперта)*. Купаться, наверно, ушла, и дверь заперла.

Лосев. Обещал пива холодного, квасу холодного. Всего наобещал, а дверь на замке.

Горелов. Сейчас придет.

Лосев. А если не купаться, а гулять ушла?

Горелов. Ольга? Гулять? что ты! Это такая тихоня подлая, такая скромница отвратительная. Она никогда не гуляет.

Лосев. Не молодая?

Горелов. Девчонка! Дрянь.

Лосев. Уволил бы, если плохая работница. А ругаться зачем?

Горелов. Я? Я бы давно ее уволил. Это все мама. В том-то и дело, что домработница она отличная. Настоящий холуенок. Угодливая, расчетливая. Подлиза. В общем, дрянь. Уж я знаю, что говорю. Учиться не хочет, работать не хочет.

Лосев. Ну, работает же.

Горелов. Что это за работа? Хозяевам угождать. Ей бы на целину сейчас ехать, на производство...

Лосев. А мы как с женой в Сибири без домработницы мучаемся. Уступи ее мне.

Горелов. С удовольствием бы, да в том-то и дело, что к тебе она не пойдет.

Лосев. Почему?

Горелов. Деньги очень любит. А ты неважно зарабатываешь.

Лосев. Сколько платишь ей?

Горелов. Тридцать рублей в месяц да еще на подарки трачусь.

Лосев. Даже на подарки!

Горелов. А как же! Она без подарков, видите ли, не может. Ей надо, чтобы все как у людей было.

Лосев. Балуешь ты ее.

Горелов. Я? Это мама ее балует. Души в ней не чает. В том-то и дело, что руки у этой негодницы золотые. Стряпает так, что все отдашь, не жалко. Стирает, моет, на задних лапках перед нами ходит. А женщины, знаешь, любят подлиз. Это у них в крови. Клумбы тебе понравились, маки? Ее работа. С мальчишками окрестными воевать — ее работа. Дворняжки не надо.

Лосев. Да это счастье, такая работница!

Горелов. Не счастье, а позор. Позорище! Чтоб в наше время, в нашей обстановке молодая девушка добровольно превратилась в холуя? Кричи на нее, ори, ногами топай, оскорбляй — все стерпит, лишь бы десятку лишнюю получить.

Лосев. А ты не ори, не топай ногами, передовой советский человек.

Горелов. Видеть не могу. Уговори ее, увези отсюда. Спасибо скажу. В ножки поклонюсь.

Лосев. Ты что, ошалел? Мы же с тобой потомственные педагоги. Воспитывать надо.

Горелов. Воспитаешь такую.

Лосев. Какую?

Горелов. Мне кажется, все, все, что я ненавижу в женщинах: расчетливость, лживость, жадность, продажность,— все это сосредоточено в Ольге. Видел бы ты, как она подарки от меня принимает: даже побледнеет от жадности. Глазенки сверкают. А хоть бы надела когда-нибудь дареное платьице или чулки. Нет! Все в сундук прячет, а ходит в ситце, как старушонка. Ну?

Лосев. Чудовище!

Горелов. Не смейся. Действительно, чудовище. Я ее однажды поцеловал...

Лосев. Значит, это хорошенькое чудовище?

Горелов. И даже очень! Пришел как-то домой после французского фильма...

Лосев. Скотина ты, и больше ничего.

Горелов. Я и не спорю. Скотина! Но она? Она какова! Не протестует. Я обозлился. Что же, говорю, можно и впредь целовать тебя, Оленька? А Оленька мне кротко и невинно отвечает: если жалованья прибавите.

Лосев. Ох, гадость какая!

Горелов. Вот уж продажная душонка. Все подлинное существо женщины в этом очаровательном гаденыше. Помнишь Ирину?

Лосев. Да помню, помню. Понимаю, куда ты клонишь.

Горелов. Ну, Ирина-то была тоньше, искусней, умней. Ту я пока раскусил... юность, молодость с ней загубил. А эта вся на виду.

Лосев. Какие-то такие тебе все попадаются...

Горелов. Все они такие!

Лосев. И Катерина моя?

Горелов. Не знаю.

Лосев. А девочки мои из десятого «Г» прошлогоднего выпуска? Какие были девочки! Умницы, талантливые, гордые. Попались бы тебе такие...

Горелов. Слушай, тут неподалеку знакомая семья живет. Я сбегаю ключи возьму. Может, подойдут. А ты...

Лосев. Постараюсь дожить до твоего возвращения и квасу испить.

Горелов. Нет. Ты, если Таня придет...

Лосев. Встречу! Отменным образом встречу. Ты как эту гордячку приручил?

Горелов. Сам не знаю. Обещала сегодня приехать. Я маму специально в городе оставил.

Лосев *(вяло)*. Весело живешь, холостяк.

Горелов. Неужели ничуть не завидуешь?

Лосев. Несчастный ты человек, Женька. Чему тут завидовать? Ты ведь не любишь ее?

Горелов. Нет. Я никого не люблю.

Лосев. А я свою Катьку до безумия. Вот ты мне и позавидуй.

Горелов. Я и так...

Лосев. И женился я рано, семья на плечах, и нет у меня ни дачи, ни доцентского звания...

Горелов. Иди ты к черту!

Лосев. Нет, это ты иди... за ключами. Ольга ваша наверняка загуляла. Много ты понимаешь в женщинах. Тихоня, скромница, а у нее наверняка дружок под боком.

Горелов. И это возможно. *(Уходит. Лосев один. Наклоняется над клумбой, рвет цветы. Вдоль забора, с полотенцем на плече бежит Ольга в ситцевом, выгоревшем сарафане).*

Ольга. Эй, эй, кто это цветы топчет?

Лосев *(пораженный, идет к забору, навстречу Ольге)*. Оля?

Ольга *(вскрикивает)*. Виктор Васильевич! *(Входит в калитку).*

Лосев. Данилова? Что вы здесь делаете?
Ольга. Я?
Лосев. Постойте, постойте. В прошлом году вы уехали сдавать экзамены в Московский университет. Правильно? Вы из десятого «Г».
Ольга. Да, да.
Лосев. Теперь, значит, вы уже на втором курсе? Молодчина! Вообще все ребята вашего выпуска оказались молодцами.
Ольга. Еще бы! Ведь классным руководителем был у нас Виктор Васильевич Лосев. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Виктор Васильевич. Что вы здесь делаете?
Лосев. Я приехал со старым университетским товарищем Женькой Гореловым. На юге встретились. Он здесь живет.
Ольга. Неужели?
Лосев. Представьте себе. Чудесная дача.
Ольга. С Женькой Гореловым... Удивительно звучит. Женька Горелов... Теперь попадет мне, что я ключи унесла. Этот ваш Женька Горелов — тиран и деспот. Живу здесь как в древней Греции.
Лосев. Какие ключи?
Ольга. От квартиры. Я домашняя работница Гореловых. Да здравствуют тираны!
Лосев. Схожу с ума... Не удивительно. В такую жару...
Ольга. Да здравствует произвол и насилие!
Лосев. Ольга Данилова — гордость нашей школы, отличница, дочь председателя горсовета. Что вас заставило?
Ольга. Я провалилась на экзамене.
Лосев. Вы? Этого быть не может! Вы не могли провалиться.
Ольга *(жизнерадостно)*. Блистательно провалилась. Я не сдала историю вашему Женьке Горелову. *(Весело завертелась, напевая)* Женька Горелов, Женька Горелов...
Лосев. Ничего не понимаю. Да вы сумасшедшая, Оля.
Ольга. А вы всегда были так выдержаны и тактичны, Виктор Васильевич. Но, очевидно, сказывается влияние Женьки Горелова.
Лосев. Простите, Оля.
Ольга. Прощаю. Заранее вам все прощаю. Потому что вы приятель Женьки Горелова. Ну, не сердитесь...
Лосев. Как же не сердиться, если историю вам преподавал я! А вы, отличница, позорно провалились...
Ольга. Позорно провалилась.
Лосев. Значит, Горелов не знает, кто вы?
Ольга. Не выдавайте меня!
Лосев. Но вы мне все расскажите.
Ольга. Где Женька Горелов?
Лосев. Ушел к соседям за ключом. Сейчас придет.
Ольга. Много вы знаете. Там его сейчас вином напоят, будут Зоиньку сватать... Слушайте. Я провалила историю потому, что... ни на один вопрос не ответила.
Лосев. Но почему, почему?
Ольга. Не знаю. Растерялась. Подошла к столу, а в голове — туман, пульс работает где-то помимо меня, и вообще, я — это не я, а воздушный шарик...
Лосев. Влюбилась.
Ольга. Намертво!
Лосев. Когда же вы успели?
Ольга. На консультациях.
Лосев. Несчастная девочка!
Ольга. Счастливая. Самая счастливая на земле. Посмотрите в глаза. Правда, счастливая?
Лосев. Оля! Милая Оля, что вы такое затеяли? Зачем надо было идти в домработницы?
Ольга *(лукаво)*. Мне надо было привыкнуть к нему, чтобы в этом году не провалиться. Но я занимаюсь.
Лосев. Непростительное легкомыслие!
Ольга. Легкомыслие? Вы были чудным классным руководителем, Виктор Васильевич. Но вы никогда не понимали девочек.
Лосев. В какой-то мере я и сейчас за вас отвечаю.
Ольга. Поздно, поздно! Мне уже девятнадцать. Никто больше за меня не отвечает. Сама!
Лосев. Отец знает?
Ольга. Зачем ему знать? Я получаю письма до востребования.
Лосев *(трагически)*. Боже мой!
Ольга. Никто ничего не знает и знать не должен. Не вздумайте выдавать меня. Это было бы ужасно!
Лосев. Почему?
Ольга. Пришлось бы уйти.
Лосев. А вам нравится здесь?
Ольга. Оч-чень! Каждый день вижу его, кормлю его, стираю на него, глажу. Извожу его... Обманываю на каждом шагу.
Лосев. И это весело?
Ольга. Очень. Очень весело и интересно.
Лосев. Но ведь он обижает вас?
Ольга *(восторженно)*. Да. Очень.
Лосев. Вам и это нравится?
Ольга. Мне все нравится. Поймите, последний месяц остался. Скоро все кончится. В сентябре — экзамены.
Лосев. Скорей бы!
Ольга. Виктор Васильевич, вы не понимаете меня.

Лосев. Я боюсь за вас, Оля.

Ольга. Я люблю его.

Лосев. Он презирает вас такую, какой вы прикинулись.

Ольга. Очень хорошо. Пусть.

Лосев. Зачем? Зачем вы так гадко ответили ему тогда...

Ольга. Когда?

Лосев. Он поцеловал вас...

Ольга. Рассказал?

Лосев. Да. Зачем?

Ольга. Нарочно. Пусть не задается ваш Женька Горелов. Пусть не думает, что мне это нужно.

Лосев. Надо знать Женьку. Представляю, как вам бывает тяжело.

Ольга. Чем хуже, тем лучше.

Лосев. Сегодня же, немедленно вы должны уехать отсюда.

Ольга. Никогда. Любовь не должна бояться испытаний.

Лосев. Что вы знаете об испытаниях. Глупая девчонка.

Ольга. Опять влияние Горелова. Не извиняйтесь.

Лосев. Оленька...

Ольга. Все равно это самый счастливый год в моей жизни. Только не выдавайте. Дожить бы этот месяц. Последний, чудесный, августовский...

Лосев. Вряд ли вы доживете его.

Ольга (*быстро*). Почему?

Лосев. Я должен предупредить вас...

Ольга. Женька идет.

В калитку входит Горелов.

Горелов. Ольга, какого черта!

Ольга (*преображаясь*). Я купалась, Евгений Владимирович. Вы бы отбили телеграмму, и я бы весь день дожидалась. Я не знала.

Горелов. Шашни завела, тихоня?

Ольга. Вот с этого места не сойти!

Горелов. Ладно, ладно.

Ольга. Вот ключи, Евгений Владимирович. Возьмите.

Горелов. Квасу нам! Самого холодного!

Ольга. С приездом вас, Евгений Владимирович. Как отдохнули?

Горелов. Ну, не юли. Все я тебе привез. Все, что просила. В чемодане. Разбирать будешь, все, что там женского — возьми.

Ольга. Спасибо, Евгений Владимирович. (*Проворно бросается к чемоданам. Лосев хочет помочь ей*). Вы что это?

Лосев. Чемоданы тяжелые.

Ольга. Нам эти деликатности не требуются. Нам не привыкать...

Горелов. Пусть несет, Витька. Задаром ей, что ли, деньги зарабатывать и подарки получать.

Ольга. Да они как пушок. (*Уносит чемоданы в дом.)*

Лосев. Никогда за тобой такого хамства не знал. Надорвется...

Горелов. Ну и черт с ней. Пусть уходит, если ей не нравится. Пусть едет на целину.

Лосев. Да ты, никак, выпил?

Горелов. Соседи угостили. У них, видишь ли, взрослая дочь, а я жених завидный.

Лосев. Пошляк ты, и больше ничего.

Горелов. Постой. Чего обозлился?

Лосев. Я тебе за эту девочку морду набью. Понимаешь?

Горелов. Ты разве знаком с моими соседями?

Лосев. Я говорю об Ольге.

Ольга выбегает с бутылками, накрывает на террасе стол. Носится туда и обратно, оживленная и веселая. Приятели наблюдают за ней издали.

Горелов. Нравится она тебе?

Лосев. А тебе?

Горелов. Мне никогда не нравились женщины, которых можно купить.

Лосев. Попробуй, купи такую.

Горелов. Пробовал.

Лосев. Врешь. Всерьез не пробовал.

Горелов. Думаешь, обожгусь?

Лосев. Уверен в этом.

Ольга (*кричит с террасы*). Идите, освежайтесь. Тут и квас, и пиво есть. Все есть.

Приятели идут к столу.

Лосев. Выпейте с нами, Оля.

Ольга вопросительно смотрит на Горелова сияющими, счастливыми глазами.

Горелов (*отворачивается*). Садись. Пей.

Ольга. Спасибо. (*Присаживается на краешек стула, жеманно.)* Пива я не пью. Будьте так любезны, налейте квасу. (*С улыбкой смотрит на Лосева, тот смеется. Чокаются*).

Горелов (*добродушно*). Дура, кто же квасом чокается?

Лосев (*в тон Ольге*). А можно и квасом, ежели даме желательно. За ваше здоровье, Оленька. За ваше счастье. (*Встает*). Ну, мне пора.

Горелов. Ты, Витька, рехнулся. Хотел до вечера пробыть.

Лосев. Раздумал. Ты гостей ждешь. Не хочу мешать.

Горелов. Говори прямо, что тебе не нравится?

Лосев. Древняя Греция.

Ольга *(быстро)*. Вас, кажется, Виктором Васильевичем величают? Погодите минутку. Я вам гостинцы свои покажу. *(Уходит в дом.)*

Горелов *(ласково)*. Хвастуша.

Лосев. Хорошие подарки?

Горелов. Пустяки. Что покупают работницам? Ведь это не жена, не любовница. Дрянь всякую привез.

Входит Ольга с подарками.

Ольга. Вот. Платье какое! *(Летнее, цветного шелка, дорогое, изящное платье)*. Босоножки беленькие. Бусы под платье. Сотню рублей, не меньше на меня потратили.

Лосев *(взялся за голову, с отчаяньем)*. Гос-споди!

Горелов. Да ты хоть надень, примерь.

Ольга. Что вы! Это беречь надо. *(Уносит подарки.)*

Горелов. А ты говоришь, купи такую...

Лосев. Уйму деньжищ выбросил. Не жалко?

Горелов. Нет. Видел ты ее счастливые глаза?

Лосев. Непостижимо.

Горелов. Вот именно. Непостижимо. Надеть — ничего не наденет. Жадность-то какова. Беречь надо... Ну, экспонат.

Лосев *(с сожалением)*. Это ты, я вижу, экспонат. Сам-то хорош. Да приглядись ты к ней, приглядись, изувер. Узурпатор. *(Махнул рукой, не прощаясь, не оглядываясь, пошел к калитке. Горелов удивленно смотрит ему вслед, входит Ольга. Он так же удивленно смотрит на нее)*.

Ольга *(оглядывая себя со всех сторон)*. Что я? Замаралась? В саже я? Изорвалось где? Да не глядите вы так на меня, Евгений Владимирович. Совестно. Ушел ваш дружок? Хорошенький какой. Женатый?

Горелов. Женатый. Двое детей. Преподает историю в средней школе. Пошла бы к нему работать? Шестьдесят рублей зарплата.

Ольга. У меня?

Горелов. У него.

Ольга. Чем я вам не угодила, Евгений Владимирович? Я ли не стараюсь? Я ведь благодарность тоже понимаю.

Горелов. А как ты ее понимаешь — эту благодарность?

Ольга *(отступая)*. А очень просто. *(Быстро.)* Что вам сготовить, что постирать, я со всем своим удовольствием, время не жалею. Без выходных работаю. Я вашей мамаше вот как угождаю, Евгений Владимирович. Я для вас что хотите сделаю, потому такого места нигде не найти. Чтобы подарки и зарплата, и детей у вас нет. Я этих ребятишек сопливых терпеть не могу.

Горелов *(все приглядываясь)*. Детей не любишь?

Ольга. На дух мне не надо. Всю жизнь портят. Ни одеться с ними, ни пожить в свое удовольствие.

Горелов. А что ты под удовольствием понимаешь, Оля?

Ольга. Ой, да как же, Евгений Владимирович! Чтобы все, как у людей было: и денег вдоволь, и одежи, и ребят чтоб не было. Вот, как вы живете, Евгений Владимирович...

Горелов *(с безмерным удивлением)*. Что он в тебе находит, в дуре непроглядной?

Ольга *(испуганно)*. Кто? Приятель ваш? Не пойду я к нему работать. Мы таких, шестьдесятрублевых везде найдем.

Горелов. Ах ты... Да знаешь ли ты, что Виктор Васильевич добровольцем на войну ушел, пять лет воевал. До гвардии майора выслужился. У него орденов вдвое больше моего...

Ольга. А мне что? В его ордена наряжаться?

Горелов. Такой человек!

Ольга. Очень даже смешно так говорить. Как они, хоть и гвардии майор, могут домашнюю работницу обеспечить? Очень даже смешно.

Горелов. Смешно...

Ольга. А для вас я что угодно сделаю. Только прикажите.

Вдали появляется Таня Ползунова.

Горелов. Вот что я прикажу. Видишь, идет женщина?

Ольга. Вижу.

Горелов. Это она ко мне идет. Понятно?

Ольга *(оторопев)*. Очень даже понятно.

Горелов. Ступай, ужин приготовь. Вино, закуску. И чтоб духу твоего здесь не было.

Ольга. А мамаша ваша, Татьяна Алексеевна разве не приедет?

Горелов. Нет. Ужин сюда принеси. Ну... ступай.

Ольга уходит. Горелов идет навстречу Тане.

Таня. Вот она какая, ваша дача.

Горелов. Нравится? *(Целует руки.)*

Таня. Еще бы. Прелесть какая! И мы, действительно, будем здесь одни?

Горелов. Конечно, Танечка. Мама в городе, а Ольга не в счет.

Таня. Что такое — Ольга?

Горелов. Домработница, девчонка.

Таня. Девчонка?

Горелов. Мы ее не увидим, и не услышим... Наконец-то вы у меня, Таня.

Таня. Здесь так хорошо, что я, кажется, не жалею об этом...

Горелов. Цветы все ваши, Таня.

Таня. Чудесные маки. Не рвите. Жалко. А вы загорели, Евгений Владимирович. Хорошо отдохнули? Развлеклись?

Горелов. Я не мог развлекаться, думая о вас, Таня.

Таня (*вздохнув*). В самом деле? Мне остается только поверить этому.

Горелов. Ну зачем так...

Таня. Раз уж приехала, будем верить всему. Но вы, все-таки, врите поменьше. И поменьше хвастайте потом своей победой. Собственно, здесь и хвастать нечем. Просто мне скучно.

Горелов. И мне тоже.

Таня. Но это не значит, что вы не нравитесь мне. Молчите. Я могу говорить что угодно. А вы молчите.

Горелов. Будем молчать оба.

Целует ее, входит Ольга с подносом, и молча смотрит. Затем не роняет, а с размаху бросает поднос на пол. Посуда разбивается. Ольга плачет.

Горелов. Рекомендую. Это — Ольга.

Таня. Понимаю. Та самая Ольга, которую не видно, и не слышно...

Ольга (*на коленях, на полу*). Все разбилось... разбилось.

Таня (*глубоко, по-женски встревожена*). Отчего она так плачет?

Ольга (*не поднимая глаз*). Можете вычесть из зарплаты. Вычитайте... вычитайте из зарплаты!

Таня (*Горелову*). Скажите же ей, что вы ничего не вычтете.

Горелов (*безжалостно*). Обязательно вычту. В тройном размере. (*Ольга плачет еще горше.*) Собирайте посуду, Ольга, и уходите. А, впрочем... Пойдемте, Таня. Я покажу вам комнаты. Ольга! Меня нет дома.

Уходит с Таней. Пауза. Ольга стучит в дверь.

Горелов (*выходит, резко*). Что тебе?

Ольга. Не понимаю, что вы сказали.

Горелов. Я сказал: меня нет дома. Кто бы ни пришел. Понятно?

Ольга. Теперь понятно.

Горелов уходит. Короткая пауза. По дорожке от калитки торопливо идет Лосев.

Лосев. Так я и знал. Перестаньте реветь. Где Женька?

Ольга. Там. С ней. Миленький, Виктор Васильевич. Как хорошо, что вы не уехали. (*Отчаянно стучит в дверь. Выходит Горелов*).

Горелов. Что случилось? Я сейчас из тебя дух вышибу.

Ольга. Вас Виктор Васильевич спрашивает.

Горелов. Я же сказал!

Лосев. Ничего, ничего.

Горелов. Витька, пошел ты... И дуру эту убери. Я за себя не ручаюсь.

Лосев. Идемте, Оля.

Ольга. Как я пойду? Куда? Спасите меня! Помогите, Виктор Васильевич.

Лосев. Вот. А ты ищешь испытаний.

Ольга. Кто же знал...

Выходит Таня.

Таня. Виктор? Здравствуйте.

Лосев. Здравствуйте. (*Ему не до нее.*) Возьмите себя в руки, Оля.

Ольга. У меня нет рук. У меня сейчас сердце разорвется.

Медленно приходит в себя Горелов.

Таня. (*Горелову*). Что здесь происходит?

Горелов. Не знаю. Простите, Таня.

Таня. Оставьте. У меня у самой сейчас сердце разорвется. (*Подбегает к Ольге, властно и нежно, по-матерински обнимает ее*). Ну что? Что? Кто тебя обидел? Ну зачем так безутешно? Кто обидел тебя?

Лосев. Вы ее обидели, Таня. Вы и Горелов. Идемте, Оля. Надо успокоиться. (*Уводит Ольгу в дом.*)

Таня. Кто эта девушка, Евгений?

Горелов. Как он странно разговаривал с ней? Они знакомы.

Таня. Все очень странно. Или я больше не женщина, и ничего не понимаю. Или девушка эта любит вас.

Горелов. Невозможно, Таня. Бред. Я никогда ничего не замечал.

Таня. Это так похоже на вас, никогда ничего не замечать. Ну, и я хороша!

Горелов. А вы при чем?

Таня. Как я сразу не поняла. От разбитой посуды так не плачут.

Горелов. Не знаете вы ее.

Таня (*резко*). Боюсь, что это вы ее не знаете.

Горелов (*притих*).

Таня. Отвратительно.

Горелов. Что отвратительно?

Таня. Мы отвратительны. Скучающие, развлекающиеся. Не любим друг друга.

Горелов. Перестаньте.

Таня. А ведь вам так нужна любовь, Евгений. Как же это вы проморгали?

Входит Лосев.

Лосев. Есть на этой проклятой даче валерьянка?

Горелов. Кто это? Говори, Виктор. Кто эта девушка?

Лосев. Я тебя спрашиваю: есть валерьянка, дубина?

Горелов. Нет валерьянки.

Лосев. Чем ее теперь успокаивать буду?

Горелов. Не знаю. Иди к ней.

Лосев. Сам иди. По мне лучше бомбы, гранаты, прямое попадание, чем женские слезы.

Таня. В самом деле, идите к ней, Евгений. А Виктор проводит меня на станцию.

Лосев. С радостью. Пусть сам расхлебывает. Пошли, Таня. А ты... Помни, Женька, кого я доверяю тебе. Свою лучшую ученицу. Ольгу Данилову, которую ты бессовестным образом провалил в прошлом году на экзамене. Помни. Головой за нее ответишь. С восьмого по десятый был я у нее классным руководителем.

Уходит с Таней.

Горелов. Я? Провалил? *(Кричит)* Ольга! *(В дверях появляется заплаканная Ольга. Горелов бросается к ней.)* Простите, Оля. Лежите, если нездоровится. Это я нечаянно, по привычке крикнул. Зачем выскочила?

Ольга. Я тоже по привычке.

Горелов. Оля!

Ольга. Где же все?

Горелов. Таня уехала. Витька Лосев пошел провожать.

Ольга *(дрожащими губами)*. Женька Горелов, Витька Лосев. Какой ужас. Благоговеешь, боготворишь, а они хуже мальчишек.

Горелов. Если вам нужна валерьянка, Оля, я сбегаю в аптеку. Вы любите валерьянку?

Ольга. Бог знает, как вы говорите. Это кошки любят валерьянку.

Горелов. Оленька, будьте умницей, скажите раз в жизни правду: кто вас в прошлом году провалил на экзамене? Я?

Ольга. Сама провалилась.

Горелов. Но почему?

Ольга. Была круглой отличницей и стала круглой идиоткой.

Горелов. Вы нуждались, Оля? Вам негде было жить?

Ольга *(озираясь)*. Значит, она ушла? Вы хотите жениться на ней? Она очень добрая.

Горелов. Таня — старая моя приятельница. Мы встретились просто так. Мы друг для друга ничего не значим. Я виноват, Оля. Я не знал...

Ольга. А что вы знаете?

Горелов. Зачем? Зачем вы пошли в мой дом?

Ольга. Я нуждалась. Мне негде было жить.

Горелов. Оля!

Ольга. Хотела вас видеть каждый день.

Горелов. А все остальное — маскировка?

Ольга. О! Когда вы дарили мне что-нибудь, я чувствовала себя любимой.

Горелов. Вы смелая девочка.

Ольга. Какие это были счастливые дни.

Горелов. Были...

Ольга. Завтра уеду домой, к папе. Живите, как хотите.

Горелов. А как же экзамены?

Ольга. Потом приеду. И снова буду вас видеть. Каждый день.

Горелов. Я не преподаю больше в университете.

Ольга. О! Где же?

Горелов. Не знаю. Мне предлагают кафедру в педагогическом.

Ольга. Кафедру? Надо соглашаться.

Горелов. Разумеется.

Ольга. Все равно. Это был самый чудесный год в моей жизни. Ведь кто знает... Может, и не придется больше так...

Горелов. Как?

Ольга. ...Вот у меня мама с папой очень скучно жили. Я когда выросла, поняла: скучно живут, машинально. Безо всякой любви. Мама красивая была, за ней ухаживали, а папе лестно показалось отбить ее. Ну, понимаете, так вот из-за одного тщеславия и женился. А мама рассуждала так: вот он непьющий, честный, порядочный, ответственный работник. Чем не муж? И вот, понимаете, даже дружно жили, а безо всякой радости. Я наблюдала. Холодными глазами друг на друга смотрят. Чужие. Понимаете? Ужас какой! Кого-то себе папка на стороне завел, а мама даже не страдает. А соседи все завидовали. Какая у Даниловых семья дружная. Ни драк, ни скандалов. Чудная, советская семья. А у нас дома тоска, скука. Знал бы кто! Уж лучше бы дрались и скандалили. Только любили... А они спокойные, равнодушные, вежливые. Дома ковры, хрусталь... А мне всегда темно, холодно, солнышка нет. Мне мама перед смертью сказала: ты уже большая, Оленька. Не гоняйся за чинами да за деньгами. Ищи в жизни любовь. Только любовь. Мне теперь этих одиннадцати месяцев на всю жизнь хватит. Ох, я счастливая. Богатая. Ничего больше не надо. *(Пауза)*. Смеркается уже. Комары стали кусать. Вечер какой прохладный. *(Горелов молча идет в дом, приносит старенькую шерстяную Олину кофточку.)* Вот видите, вы это сделали ма-

шинально, из вежливости. Думаете, приятно? Нет. Скучно. А было хорошо. Ничего не знал, орал на меня, ногами топал. *(Тихо смеется, тоном Горелова.)* На целину, на производство... Гос-споди, как было чудесно в этой рабской обители...

Горелов *(сдержанно)*. Я рад, что вы оказались хорошей девочкой... Хочется верить людям.

Ольга. Я верила Виктору Васильевичу, а он выдал меня.

Горелов. Вы сами себя выдали.

Ольга. Как он долго не идет.

Горелов. Уже не терпится удрать? Да вы еще поживите. Домработницы предупреждают об уходе за две недели.

Ольга. Этого я больше всего боялась. Догадаетесь и станете издеваться надо мной.

Горелов. Но все же это лучше, чем быть вежливым?

Ольга. Еще бы!

Горелов. Ну, а если самое важное в жизни любовь, как теперь вам жить? Неважная будет жизнь.

Ольга. Неважная? Кончу институт, стану учительницей. Я хочу быть такой учительницей...

Горелов. Как Виктор Васильевич?

Ольга. Лучше! У него только с мальчиками был контакт. И потом он — добрый, слабохарактерный. А у меня знаете какой характер. Я — безжалостная. И принципиальная.

Горелов. Не пугайте меня.

Ольга. Хочу быть одинаково необходимой и мальчикам и девочкам. С первого до последнего класса.

Горелов. Так не бывает.

Ольга. Будет. У нас ведь теперь все время что-нибудь меняется. К тому времени, как я кончу, наверняка в Министерстве догадаются назначать классных руководителей с первого до последнего класса.

Горелов. Зачем? Зачем это вам все?

Ольга. Хочу, чтобы не было у нас плохих ребят. Вы же знаете, как много зависит от учителя. От его культуры, ума, сердца, справедливости.

Горелов. Совсем другая Оля. И язык другой. И мысли в головке есть.

Ольга. Не смейтесь. Меня это очень волнует.

Горелов. Но не больше, чем любовь?

Ольга. Не знаю. Надо любить детей всех без разбору. И плохих, и хороших. И если к ним душевно подходить, ну, строго, конечно, но с любовью, не будет у нас тогда ребят обиженных, гордых одиночек. Испорченных...

Горелов. Значит, вы детей любите.

Ольга. Ну, страшно. Тем более своих не будет, и я целиком посвящу себя чужим.

Горелов *(рассмеялся)*. Полно. Выйдете замуж, и на своих, и на чужих любви хватит.

Ольга. Замуж...

Горелов. За меня.

Ольга. И этого я очень боялась. Чем-то вы будете тронуты, и не захотите меня терять, и женитесь машинально. И будет ужасная, мертвая, машинальная жизнь. Нет уж, дудки! Так интересно и хорошо, как было, не будет никогда. И вы не воображайте.

Горелов. Трудно не воображать, если меня полюбила такая чудесная девушка. Значит, есть за что. Ведь вы плохого не полюбите.

Ольга. Вы очень даже неплохой, но трудновоспитуемый, распущенный и крикливый.

Горелов. Так надо воспитывать. С любовью. Душевно подходить. Займитесь мной и у вас будет богатый опыт.

Ольга. Вы не первоклассник.

Горелов. Я — хуже. Я кандидат педагогических наук. Не смейтесь. И я испорченный.

Ольга. В этом уж я убедилась...

Горелов. И я обиженный...

Ольга. Кто же вас обидел?

Горелов. Женщина, которую я много лет любил. Обидела ничтожеством своим, притворством и ложью.

Ольга. Не любила вас?

Горелов. Она любила, в основном, тряпки и деньги.

Ольга. Вот за что вы меня ненавидели.

Горелов. Умница. Именно за это. А любовью все можно со мной сделать. Только любите меня, Оля, с первого до последнего класса, то есть, я хотел сказать — всю жизнь.

Ольга. Меня-то об этом и просить не надо. Я-то люблю.

Горелов. А вам никогда не приходило в голову, что и я полюбил вас?

Ольга. Нет. Никогда. Я ведь не такое воображало, как вы.

Горелов. Сам того не сознавал...

Ольга. Не выдумывайте. Я не нравилась вам.

Горелов. Да. Но мне нравилось радовать вас. Я любил твою радость. Не замечала?

Ольга. Это еще не доказательство.

Горелов. Я пожалел, не тронул тебя тогда...

Ольга. Посмели бы вы меня тронуть!

А Тамара Алексеевна на что? Я никогда ничего не боялась рядом с ней.

Горелов. Я очень скучал по тебе на юге. Видишь, вернулся раньше срока.

Ольга. Из-за меня? Будто я не понимаю, что из-за Тани. Хороша любовь. В первый же день приезда... Как вы могли?

Горелов. Не знаю. Может быть, я мстил тебе за то, что ты такая.

Ольга. Все это очень сложно для моего слабого умишка. Может быть. Но и это не доказательство. У вас их нет.

Горелов. Да. У меня их нет, к сожалению.

Ольга. Значит, не любите.

Горелов. Это не доказательство.

Ольга. Хитрый какой!

Горелов. У меня их нет — пока.

Ольга. Что значит, пока? А где вы их возьмете потом?

Горелов. Это уж мое дело. Только дайте мне возможность доказать.

Ольга. А что для этого надо сделать?

Горелов. Выйти за меня замуж.

Ольга. Нет. Мне нужны доказательства сейчас.

Горелов. Более всего тебе нужно ставить меня в дурацкое положение. С неизменным успехом ты делала это в течение одиннадцати месяцев.

Ольга. Я?

Горелов. А почему я должен верить твоей любви? Восторженная, увлекающаяся девчонка ищет интересной жизни. Пускается на рискованные авантюры. Где доказательства твоей любви?

Ольга. Столько терпеть, сколько я от вас терпела...

Горелов. Сама виновата. Не надо было притворяться.

Ольга. Так старалась. С такой любовью делала все для вас.

Горелов. Обычная добросовестность. Ты за это деньги получала.

Ольга. Но я их не тратила.

Горелов. Не уверен в этом.

Ольга. Какие же вам нужны доказательства?

Горелов. Самые веские.

Ольга. Выйти за вас замуж, да? А сказку про белого бычка вы знаете?

Горелов. Я ничего не хочу знать. Поцелуйте меня, Оленька.

Ольга. И это будет доказательство?

Горелов. Да.

Ольга *(целует)*. Теперь верите?

Горелов. Да. И не смею больше задерживать вас. Идите, собирайте вещи. Сейчас придет Лосев.

Ольга. А-а. Вы это сделали для того, чтобы мне было трудней уйти?

Горелов. Но ничего не сделал для того, чтобы это было невозможно.

Ольга. И ничего не можете придумать?

Горелов. Кроме того, что уже придумано. Сказку про белого бычка.

Ольга. Жаль. Пойду укладываться. *(Уходит.)*

Горелов некоторое время один, не замечает подошедшего Лосева.

Лосев. Где она, Женька?

Горелов. Собирает вещи. Долго же ты провожал.

Лосев. Мы пропустили одну электричку.

Горелов. Как Таня?

Лосев. От всего сердца желает тебе счастья.

Горелов. Какого счастья? Какое может быть счастье, если с восьмого по десятый ты был ее руководителем и наставником. Я ей тут клялся... Не верит. Ей нужны доказательства.

Лосев. Слушай, я сам подозревал, что ты...

Горелов. Попробуй, убеди ее.

Лосев. Сегодня, когда она сказала «босоножки беленькие», у тебя даже губы с нежностью шевельнулись, повторяя «беленькие». Я скажу ей.

Входит Ольга.

Ольга. Виктор Васильевич? Как хорошо, что вы пришли...

Лосев. Что с тобой?

Ольга. Не знаю, что делать. Много вещей. Не влезает в чемодан.

Горелов. Возьмите мой.

Ольга. Что вы? Зачем? Я как-нибудь...

Горелов. Видишь, Витька. Твое воспитание. Где здесь логика? Подарки принимала, не стеснялась. А тут, посмотри, из-за несчастного чемодана...

Лосев. Правильно, Оля. Не берите чемодана.

Ольга. Что же делать? В узел связать?

Лосев. С узлом неловко.

Ольга. Да. Правда. Господи, сколько неразрешимых проблем в жизни. Посоветуйте же что-нибудь, Виктор Васильевич.

Лосев. Боюсь, что ты не послушаешься меня.

Ольга. Вас? Почему? Очень даже послушаюсь. Кого же еще?

Лосев. Не уезжай совсем. Женьке Горелову можно верить.

Ольга. Вы убеждены в этом?
Лосев. Вполне. Всю ответственность на себя беру.
Ольга *(усталым и тихим голосом)*. Ну, это совсем другое дело. Чем он убедил вас?
Лосев. Я сам понял.
Ольга. Ох, какие все умные. Вы всегда были очень проницательны, Виктор Васильевич. Особенно, когда дело касалось девочек. Значит...
Горелов. Что «значит», Оля?
Ольга. Придется, значит, вязать узел. Ничего. Я сделаю красивый узел. *(Лосеву.)* А где я буду ночевать в городе?
Лосев *(мрачно)*. У меня.
Ольга. Это удобно?
Лосев. Не очень. Теща может насплетничать Кате.
Ольга. Хорошо. Переночую на вокзале. Утром уеду к папе.
Лосев. А вы хорошо представляете, что значит сейчас, в августе, достать железнодорожный билет?
Горелов. Я куплю ей билет. Пусть едет.
Ольга. Спасибо.
Горелов. А, может быть, купить два билета и вместе поехать к папе? Плевал я на кафедру.
Ольга. При чем тут кафедра?
Горелов. Мне надо принимать дела через несколько дней.
Ольга. Это мальчишество — плевать на кафедру. Я уеду одна.
Горелов. Ты долго меня будешь мучить, Оля?
Лосев. Да. Долго вы будете мучить его, Данилова? Черт знает что такое. Не повезло человеку в жизни, так надо добивать ушибленного. Перестаньте, Данилова, прикидываться девчонкой. Он любит вас.
Ольга *(жалобно)*. Я должна уехать отсюда.
Лосев. Но почему? Почему?
Горелов. Оставь ее. Я понимаю.
Ольга *(смотрит исподлобья)*. Что вы понимаете?
Горелов. Ты хочешь, чтобы я сказал это вслух?
Ольга *(быстро)*. Нет.
Горелов. Оставайся ночевать, Витька. Она никуда не уедет.
Лосев. Сам черт вас не разберет. *(Уходит в дом, хлопнув дверью.)*
Ольга. А он, оказывается, невыдержанный, этот Витька Лосев. Чертыхается как семиклассник.

Горелов. Не надо храбриться, Оля. Уж если струсила...
Ольга. Я... Даже не знаю, как сказать.
Горелов. И говорить не надо. Ведь я понимаю. Вернее, только сейчас понял, когда ты вошла и сказала: как хорошо, что вы пришли, Виктор Васильевич...— У тебя был трудный день, Оля.
Ольга *(доверчиво)*. Да.
Горелов. Слишком много всего для девятнадцати лет. И страдания, и радости, и сомнения... И ты вдруг почувствовала себя такой маленькой, беззащитной. И даже думала, наверно: «Если бы мама была жива...» Ну, ладно, ладно. Не плачь.
Ольга *(жалобно)*. Конечно. Вам хорошо... А я одинокая. Мне страшно.
Горелов *(с тайной горечью)*. Одиннадцать месяцев Тамара Алексеевна всегда была рядом, и ты чувствовала себя в полной безопасности. А тут, один на один — струсила. Хороша же твоя любовь, если ты не доверяешь мне...
Ольга. Не доверяю.
Горелов. А я, если хочешь знать, способен быть для тебя и подругой, и матерью. И бегать от меня глупо, потому что все равно никуда от этого не убежишь.
Ольга. В самом деле, все понял.
Горелов. Потому что люблю.
Ольга. Да. Это доказательство.
Горелов. Еще бы!
Ольга. Мне теперь легко. Теперь...
Горелов. «Теперь уйди, оставь меня, мой милый. Дай мне побыть наедине с тобой...»
Ольга. Вот вы какой!
Горелов. Какой?
Ольга. Хороший.
Горелов. Было бы для кого быть хорошим. Значит, договорились, Оля? С первого до последнего класса?
Ольга. Конечно.
Горелов. Вот и отлично. Иди, гуляй. Отдыхай. Мечтай. Вечер какой!
Ольга. А вы?
Горелов. Пойду к Витьке Лосеву и будем готовить праздничный ужин.
Ольга. Представляю...
Горелов *(добродушно)*. Представляй, представляй. Но даже самое богатое воображение, даже твое, не может представить, на какие подвиги способен Женька Горелов. Но только дайте, дайте ему классного руководителя! *(Уходит в дом.)*
Ольга *(одна)*. «Теперь уйди, оставь меня, мой милый. Дай мне побыть наедине с тобой...»

КРАТЕР ОЛЬГА

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

1

Лихман писал письмо жене, когда дежуривший в этот вечер Саша Сашевич деликатно кашлянул за дверью каюты.

— Михаил Маркович, вас вызывает Тяпкин. Говорит, срочно. Говорит, нужно самого. Я говорю, вы отдыхаете, а он говорит...

Лихман с досадой отбросил ручку, сунул недописанное письмо в книгу, но не только не чертыхнулся, а даже нашел в себе силы пошутить, правда, не очень оригинально:

— Ну, раз Тяпкин!..

Вставая, он опять не рассчитал это проклятое лунное притяжение, хотя уже пора было привыкнуть за два месяца, но, наверное, и за два года не привыкнешь, и опять ноги на миг повисли в пустоте и показались длинными и тонкими, как у паука, и опять почувствовал он всем телом, какой усталостью и тяжестью оборачивается на деле эта кажущаяся лунная легкость. «С такими работничками как раз отдохнешь,— вздохнул он.— Вечно что-нибудь да случится».

— Слушаю, Петя.

— Михаил Маркович,— голос был хриплый, испуганный, как у нашкодившего школьника, самоуверенности как не бывало,— вы, конечно, извините, но без вас... Ради бога приезжайте!

— Прямо сейчас?

— Михаил Маркович, тут какая-то чертовщина...

— Что случилось?

— Да ничего. Честное слово, ничего. Просто бур дальше не идет.

— Знаете, Петя, давайте оставим шутки на завтра. А если действительно что-то произошло, не валяйте дурака, говорите...

— Да нет, честное слово, ничего такого не произошло. Только бур не идет. И хоть лопни.

— Если у вас алмазный бур не идет в грунт, значит там, по крайней мере, алмазы. Тогда немедленно давайте на Землю радиограмму: «Закурил трубку мира. Тяпкин». И за вами пришлют ракету скорой помощи. И отлично, важно захватить болезнь в начальной стадии.

Тяпкин обиделся.

— Напрасно смеетесь, Михаил Маркович. В самом деле бур не идет.

— Я смеюсь! Нет, вы подумайте, я смеюсь, мне весело, что посреди ночи меня вытаскивают из постели. Я смеюсь! Как мило... Хорошо, еду!

Низко над горизонтом висел большой голубоватый глобус — самая прекрасная планета Вселенной. Он был словно стеклянный, и сквозь полупрозрачное стекло смутно проглядывали очертания материков, заключенных внутрь шара. Лихман не столько разглядел, сколько угадал в одном из темных пятен Европу, мысленно поставил точку посреди материка и улыбнулся ей: там была Ольга.

Лихману нравились лунные ночи с их мягким земным светом, скрадывающим резкие, как провалы, тени. Ночами он отдыхал и от ослепительного солнечного сияния, от которого не спасали даже фильтры в шлемах, и от черных теней, на которые боязно ступить, и от полосатого, как матрац, лунного пейзажа. Но главное, конечно, ночью можно было сколько угодно смотреть на Землю.

Еще издали, из окна тряского вездехода, увидел он четыре фигурки головастиков, сидящих у подножия вышки. Значит, буровая простаивала. Вспомнил график основных работ, висящий в каюте,— в груди неприятно царапнуло. Заметив вездеход, головастики встали, робкими прыжками двинулись навстречу. Сквозь шлем скафандра мелькнули

растерянные, злые глазки Пети Тяпкина — видно, ждал взбучки.

— Ну-с, проверим, в чем дело,— спокойно сказал Лихман.— Давно стали?

— В час десять. Автоматика отключила бур — перегрев. Добавили охлаждение, все проверили, включили — опять реле сработало. Уж я хотел отключить автоматику, так пустить, а потом думаю, вдруг установка полетит, тогда что?

— С чего бы ей полететь? Просто какая-то неисправность или в реле, или в системе охлаждения. Не может же быть грунта такой твердости.

— Не может, точно. Только я же не мальчишка, Михаил Маркович, реле я уже сменил, а охлаждение Дима на три ряда проверил, все в порядке. Что же тогда, Михаил Маркович?

«Вот дьявольщина! Породы такой твердости в природе не существует, но если все в порядке, а реле выключает бур — что бы это значило?»

— Ладно, Петя, молодец, что вызвали. Отключать автоматику, конечно, нельзя. В этом проклятом космосе ожидай любого подвоха, вдруг и в самом деле... нашла коса на камень. Ну что же, раз не берет алмаз, попробуем лазер. Как там у вас аккумуляторы, Дима?

Когда до конца ночной смены осталось полчаса, Димке удалось выколотить керн. На груду породы упала блестящая металлическая болванка с оплавленной поверхностью. Пять шлемов стукнулись друг о друга, склонившись над нею.

— Металл, — сказал Тяпкин.

— Сталь.

— Вот тебе и сталь. Потверже, братцы!

— Алмаз сюда,— протянул руку Лихман.— Старую коронку, живо!

Богатырь Димка попробовал резануть болванку алмазом — следа на поверхности металла не осталось никакого. Лихман почувствовал, как со лба по щеке побежали щекочущие мураши.

— Везите — и сразу в лабораторию, пусть дадут состав, — сказал он водителю вездехода. — Да скажите, срочно, Лихман велел.

— Ну что, Михаил Маркович, еще разок долбанем лазером?— входя в азарт, спросил Димка.

— Тебя вот долбанет оттуда. Ишь, герой какой. Заканчивайте, ребята, и айда отдыхать. Кстати, Петя, дайте-ка мне ваши записи.

Когда в тамбуре ракеты сняли скафандры, Лихман сказал каким-то странным, загадочным тоном:

— Ну вот, наконец-то свершилось. Не грех сегодня и шампанское раскупорить.

И тут же достал из кармана пластмассовую коробочку, торопливо кинул в рот сразу несколько таблеток и, пошатнувшись, сел. Лицо его было совсем серым.

...Вечером в столовой собрались все. Настроение было тревожное. Если бы это была не научная экспедиция, а пиратский корабль, можно было подумать, что назревает бунт. Лихман сказал:

— На глубине 340,4 бур наткнулся на преграду чрезвычайной твердости. Кроме лазера, ни один инструмент этот металл не берет. Химический состав: железо, кремний, цезий. Невозможный, нелепый, с нашей точки зрения, сплав. Что это такое, я не знаю. И мы не готовы изучать это здесь, а вопрос, сами понимаете, слишком серьезный. Поэтому за двадцать четыре часа экспедиция сворачивается. Завтра в девятнадцать ноль-ноль личный состав отбывает на Землю. Обе грузовые ракеты и все оборудование остается, забираем только пробы и документы, надеюсь, скоро вернемся...

— Разрешение уже есть?— робко вмешался Саша Сашевич.

— Разрешения нет и не будет. Даю радиограмму, вот она: «Связи чрезвычайными обстоятельствами экспедиция снимается подробности на месте. Начальник ЛН-5 Лихман».

— Чрезвычайные обстоятельства!? Что же тут чрезвычайного?— послышался чей-то ершистый голос.— Наткнулись на самородок — и струсили. Ничего себе, герои!

— Времени остается немного. О готовности постов доложить. А теперь к делу,— сказал Лихман, вставая.

Ноги вытянулись на невообразимую длину, стали тонкими и невесомыми, как лучи. Казалось, все, что до сих пор находилось у него внутри, провалилось в ноги.

За дверями каюты буровиков ораторствовал Петя Тяпкин:

— ...ракету бы скорой помощи ему. Вот псих! А болезнь надо захватывать...

«Лунная научная пятая» отправлялась домой в унынии, будто свершила не открытие, а какой-то позорный коллективный проступок.

2

Лихман пришел домой рано, взъерошенный, злой, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Ольга отобрала сигареты, присела рядом на диван.

— Эх ты, вот уж и закурил, а еще лунатик.

— Скоро запью,— пообещал Лихман.

— Ругают?

— Смеются. Если бы ругали! Был сегодня у Гришаева — тоже смеется. Завтра пойду к Главному.

— Неужели уж он-то не разберется?

— Так вот что, Оля,— сказал Лихман.— Ты найди мне, пожалуйста, мой альбом. И карандаши. Не выбросила еще? И, будь добра, кофе с лимоном, покрепче только, ладно?

Когда она принесла кофе, рисунок был уже готов. На островке между трех пальм плясал волосатый человек в модных очках и полосатых, как из сумасшедшего дома, штанах. В одной руке он держал обглоданную кость, а другою заслонял глаза от солнца, вглядываясь вдаль. Рядом стоял шалаш с трубой от самовара, из трубы шел дым, а под кустами валялись консервные банки и бутылки, на одной даже четко виднелось «40°», с соседнего островка на дикаря смотрела влюбленная парочка, а далеко на горизонте громоздились корпуса заводов и дымили трубы.

— Боже мой, да это Гришаев!— узнала Ольга.— Ну-с, принимайте кофе, Михаил Маркович.

Он взял кофе и тут же поставил его на стол.

— Это не хохма, Оленька,— сказал он серьезно.— К сожалению, не хохма. Это научная платформа. Мы, на Земле, похожи на того упрямца, который переплыл на островок посреди Волги и возомнил, что это необитаемый остров, что он его открыл и что он есть Робинзон. А раз ему хочется во что бы то ни стало прослыть Робинзоном, то ему наплевать, что под каждым кустом валяются вещественные доказательства его неправоты, что на пальме вырезано «Люба + Коля», что с соседнего островка на него смотрят влюбленные, а на берегу видны заводы и поселки. На все он закрывает глаза — ему хочется быть Робинзоном. И это научная платформа!

— Но ты же сам говорил, что все это только гипотезы. И спутники Марса, и Луна, и Тунгусский взрыв, и Атлантида, и... Что там еще?

— Не старайся, всего не перечислишь. Да, гипотезы, но когда столько гипотез... Нельзя же во что бы то ни стало, вопреки очевидному, считать себя Робинзоном!

— Миша, откуда же, по-твоему, взялся на Луне этот сплав?

— Если бы я знал — откуда, надо мной не смеялись бы. Но в том-то и беда, что я не знаю откуда, зато наверняка знаю, что мой бур наткнулся на него и, следовательно, он существует. Но как раз над этим-то и смеются.

— Может же быть, что это ядро Луны. Или какая-нибудь там мантия...

Лихман усмехнулся:

— Нет, Оленька, не может. Сплав искусственного происхождения.

— Тогда что же это?

Он пожал плечами. Некоторое время оба молчали, стало слышно, как тикают часы в соседней комнате. Потом тиканье размылось, ушло, и комната наполнилась тем тугим, неслышным гулом, который каждому, кто побывал в космосе, известен под именем «космической тишины». Вероятно, гудело в ушах.

— Миша, а ты знал, когда добивался этой экспедиции, что найдешь там что-то такое... следы другой цивилизации?

— Я знал только, что рано или поздно это случится. Знал, Оленька, конечно, знал. Но что так скоро... не ожидал. Видишь ли, моя заслуга только в том, что я настоял перенести разведку в этот кратер, Б-046-20. По глубине он не самый удобный, и мне нелегко было убедить Главного, но тут, вероятно, сработала его блестящая интуиция. Понимаешь, Оленька, этот кратер, как бы тебе сказать поточнее... чуть-чуть странный. Он явно не метеоритного происхождения, скорее вулканического, но и для вулканического... короче, меня тянуло к этому безымянному, ничем не примечательному кратеру. И «ЛН-5» начала бурение именно там. Следы другой цивилизации... Что можно считать следами? Обломок обшивки ракеты? Оставленный на орбите искусственный спутник? Нерасшифрованные радиосигналы из космоса? Гигантское сооружение, возведенное когда-то в древности, но непосильное даже для современной техники? Подозрительные намеки в древних книгах и легендах? Ах, Робинзоны мы, Робинзоны! А может быть, мы сами, понимаешь, мы, человечество,— сами следы другой цивилизации? Помнишь, у Бора: «Эта гипотеза не может быть истинной, ибо она недостаточно безумна?» В этом, Оленька, величайший смысл космической философии. И пусть меня считают сумасшедшим, но я утверждал и буду утверждать...

Ольга спала в кресле, убаюканная его лекцией. Лихман потер лицо ладонями, проглотил остывший кофе, опасливо покосившись на жену, спрятал в карман сигареты.

«Скучно ей со мной,— горько подумал он.— И всем скучно. Сухарь, фанатик, фанта-

зер, черствый и желчный деспот. Удивительно, как еще Главный верит в меня? Впрочем, всему есть предел. Завтра скажет: «Все отлично, Михаил Маркович, экспедицию мы пошлем, это любопытно, гипотезу вашу проверим, стоящая гипотеза, но... сколько вам лет, Михаил Маркович? И к тому же, говорят, со здоровьишком у вас того... А? «Главного не проведешь. Легче провести врачей со всеми их премудрыми приборами. Собрал волю в кулак на этот решающий час — и вот вам, товарищи эскулапы, вместо сердца — пламенный мотор. А Главный по глазам читает. «Я ведь и не требую ничего, товарищ Главный Конструктор. Мне бы только эту экспедицию, последнюю. Клянусь вам, сразу же уйду на пенсию и никогда больше не буду изводить вас своими прожектами». Неужто не даст? Тогда — в ЦК, и все равно добьюсь. Вы еще не знаете Лихмана!».

Он прошелся по комнате, машинально закурил, но, вспомнив о врачах, тут же смял сигарету о декоративную пепельницу японского фарфора. Рядом стояла маленькая копия — золотая ваза, древнейшая из ископаемых, найденная недавно на Крите,— его любимая игрушка. Он нежно взял ее в ладони и в тысячный, наверное, раз прочел древнегреческий текст: «Плыли двести колен и вот земля цветущая». Что такое двести колен? Знатоки толкуют, сто человек. Но уж коли считать людей по частям тела, логичнее считать по головам, чем по ногам. Знатоки уверяют, будто речь идет о морских путешественниках. Но при чем тогда этот рисунок — шарик с хвостиками?

Лихман поставил вазу на место и неожиданно подумал: «А кратеру нужно дать имя. К конце концов, это мое право».

...Назавтра он позвонил только в десять вечера. Ольга взяла трубку.

— Алло, с вами говорит начальник экспедиции «ЛН-6» доктор Лихман.

— Боже мой, уже!? Поздравляю, Миша! Был у Главного?

— И у Главного, и повыше. Все отлично, родная, погода переменилась, ветер дует в наши паруса. «Плыли двести колен и вот земля цветущая». Предстоит нечто грандиозное: двадцать две грузовые ракеты, шестьдесят человек, большая лазерная установка, совершенно уникальная, пять...

— Когда, Миша?

— Старт через два месяца, двадцать второго апреля.

— Тогда, может быть, ты успеешь прийти домой, поужинаем вместе?

Лихман долго молчал, наконец, сказал, вздохнув:

— Я постараюсь, но ты лучше не жди. Ложись, отдыхай, Оленька.

3

В конференц-зале базы «ЛН-6» было просторно, не сравнишь со столовкой на «ЛН-5», где приходилось собирать народ в прошлой экспедиции, но шестидесяти двум здоровенным парням и здесь оказалось тесновато. Лихман с гордостью оглядел свое воинство, впервые собранное вместе.

— Пожалуй, начнем,— сказал Лихман.— Повестка дня ясна: что делать? Для начала предоставим слово главному историку экспедиции, доктору археологии Сереже Лазебникову.

Встал Сережа, больше похожий на студента, чем на доктора наук. Жесткий, упрямый чуб, съехавшие на нос очки, беспрерывно что-то мнущие нервные пальцы. Доктору археологии Сереже Лазебникову было всего двадцать восемь, Лихман гордился, что откопал для экспедиции этого вундеркинда.

— Я расскажу вам сказочку,— начал Сережа задиристым, петушиным голосом.— Позвольте сказочку, Михаил Маркович?

— Давай, давай, жанры выступлений не ограничиваю. Другое дело — время.

— Так вот, это древняя китайская сказочка, и сколько ей лет, никто не знает. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был волшебник по имени...

Конференц-зал угрожающе загудел. Понятно, взрослые люди не любят, когда им рассказывают сказочки, тем более не стоило лететь так далеко, чтобы слушать сказки.

— ...по имени Чао Ли-дзинь. Могущество его было столь велико, что казалось страшным. Чао Ли-дзинь мог достать огонь из холодного камня, вызвать дождь из чистого неба и одним взглядом усыпить человека. Хан боялся волшебника, боялся, что волшебник отнимет у него власть, и потому упрятал Чао Ли-дзиня в самую высокую и неприступную башню, в которой просидел волшебник сто лет. Сто лет выходил он по ночам на крышу и смотрел на звезды через какую-то странную трубку, и только когда появлялась на горизонте голубая Утренняя Звезда, уходил обратно в свое подземелье.

Однажды снизошло просветление на древнего Чао Ли-дзиня, и послал он одного из своих многочисленных стражей за ханом, чтобы сообщить чрезвычайной важности весть.

Хан явился, и сказал ему Чао Ли-дзинь: «Уводи скорей свой народ в горы, потому что завтра встанет дыбом земля, и стеной встанут моря, и вспять потекут реки, и дождь разразится, каких никогда не было. Не мешкай, хан!» Но хан посмеялся над словами мудреца и велел побить его по пяткам.

А назавтра появилась в небе Желтая Звезда — и вздыбилась земля, и огонь вырвался из недр, и огромная волна захлестнула земли возле моря на много дней ходьбы, и хлынул дождь, и, взбурлив, повернули реки. Испугались люди, пришли к хану, чтобы принял он какие-то меры. А хан показал на башню и сказал: «Он виноват. Это он вызвал несчастье, чтобы на вас и на меня излить свое зло, накопившееся за сотню лет». И потребовал хан у Чао Ли-дзиня, чтобы прекратил он это безобразие. Но старик не слушал хана — он высекал какие-то знаки на камнях башни. И отрубили ему голову.

Когда перемешалась земля, как пища в котле, когда суша стала морем, а море — горами, когда погибли все люди в округе, осталась на той земле одна только высокая башня, в которой жил и погиб Чао Ли-дзинь. Лишь через много-много веков пришли туда новые люди, прочли рисунки на камнях и записали их так: «Говорил я хану, пусть ведет в горы народ, потому что на смену Утренней Звезде приходит другая, злая Желтая Звезда, и глаз ее нацелен прямо на нас, и будут бедствия от нее неисчислимые, но не послушался хан, и все погибли, о чем сообщает потомкам старый ученый Чао Ли-дзинь».

Переписали люди эти слова на папирус, но и папирус затерялся, и только через тысячи лет кто-то нашел его и пустил по свету сказку о мудром волшебнике Чао Ли-дзине, и сказка дошла до нас, потому что нет более прочного материала, чем память народная, а камни той башни давно превратились в песок, и в тлен превратился папирус. К сведению собравшихся, — закончил Сережа Лазебников, — подобные же сказочки содержатся в эпосе и других древних народов.

Сережа Лазебников сел.

— Ну и что же из того? — язвительно кинул с места Петя Тяпкин.

— Да, более конкретные выводы, — попросил Лихман.

— Какие же еще выводы? — удивился Сережа. — Разве и так не ясно?

— Очевидно, не всем, — глядя на Тяпкина, сказал Лихман.

— Ну, хорошо. Так вот, Луна прикочевала к нам во время оно из Большого Космоса. Если отбросить это предположение, кто растолкует мне, почему у нее такая нелепая форма, будто она родилась как спутник другой планеты, имеющей по крайней мере втрое большую массу, чем Земля? И чем иным можно объяснить ту небольшую космическую заварушку, благодаря которой наша уважаемая планета вдруг сдвинулась на тридцать градусов по отношению к оси, легкомысленно переменила положение полюсов и заживо заморозила бедных мамонтов? Итак, встреча в Космосе. Но вот вопрос: могла ли Луна, двигаясь с энной космической скоростью, избежать прямого столкновения с Землей, благодаря чему я имею счастье лицезреть вас в данный момент? Вероятно, могла — при одном условии. Чтобы стать вечной нашей спутницей и яблоком раздора для ученых, она должна была выйти на строго рассчитанную орбиту по касательной, имея в этой точке строго определенную скорость. Неужели вы думаете, что Луна сама по себе была такой умной? Примите эту гипотезу, и она объяснит вам все: и форму Луны, и легкомысленное поведение Земли, и судьбу мамонтов, и трагедию Атлантиды, и даже библейский всемирный потоп...

Сережа опять сел.

— Что же дальше!? — еще более вызывающе крикнул Тяпкин.

Сережа пожал плечами. Разжевывать «дальше» он не собирался.

— Сережа хочет сказать, — ласково разъяснил Пете Лихман, — что Луна вышла по касательной на орбиту спутника, затормозившись к этому времени до расчетной скорости...

— Как это — «затормозившись»? — возмутился Петя. — Бред! Мистика!

Лихман вспомнил картинку про Робинзона, и ноги опять протянулись в бесконечность, вызывая гнетущее чувство тошноты. Если бы возражал ему не Петя Тяпкин, а Гришаев, он, наверное, взорвался бы. Но Петю он по-своему любил и радовался, что отыскал его для экспедиции: он уважал людей одержимых. А Петя был явно одержимый, хотя и противник, не верящий ни во что из того, во что верил он сам и внушил накануне сегодняшнему докладчику — Сереже Лазебникову.

Петя Тяпкин вскочил, огляделся злыми глазками, видимо, ища поддержки.

— Слово имеет командир отряда буровиков кандидат технических наук Петр Артемьевич Тяпкин.

— Я расскажу вам анекдотец. Позвольте анекдотец, Михаил Маркович? В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один цыган. Однажды украл этот цыган у

крестьянина коня. Собрался суд. Цыган спрашивает: «Дак чо я у тебя украл, расскажи честно гражданам суддям».— «Коня». — «А хомут на нем был?»— «Был».— «А дуга?»— «И дуга была».— «А оглобли?»— «И оглобли».— «А телега?»— «И телега была».— «Ну дак и врет он, гражданы судди,— сказал цыган,— потому что этот же конь, сами видите, и без хомута, и без дуги, и без оглоблев, и без телеги». Посмотрели судьи, прав цыган. Отпустили его вместе с конем, а крестьянина за клевету выпороли. А что цыган накануне пропил в корчме и хомут, и дугу, и оглобли, и телегу — кому что за дело! Было бы доказано.

Анекдотец никого не рассмешил. Петя оглянулся, снова ища поддержки, не нашел, но не сдался.

— Я к тому, Михаил Маркович, что такие доказательства, когда неугодные факты вовсе замалчиваются, для цыгана хороши, а не для ученого. Я ведь отлично понимаю, для чего все это товарищу Лазебникову. Он хочет свернуть напрочь буровые работы и вести раскопки своим археологическим методом, на который уйдет сто лет. Он и сказочку свою только для этого придумал. А мы, буровики, можем решить задачу за несколько дней, позвольте только пустить большой лазер и пройти этот слой насквозь. Мы разом все цыганские гипотезы отметем...

— Точно! Даешь лазер!— раздалось несколько нестройных голосов с той стороны, где сидели буровики. А Димка выкрикнул:— Жми, Петя, развивай дальше!

— Ты скажи прямо, Сергей,— обратился Петя к Лазебникову,— ты не юли: раскопки предлагаешь?

— Раскопки,— сказал Сережа и опустил глаза.

Поднялась буря. Шум стоял минут пять, не меньше. Медленные, может быть, многолетние раскопки, когда всем казалось, что отгадка рядом,— это никого не устраивало.

Атмосфера накалялась. Выступали почти все, летели едкие реплики с мест, начиналась простая ругачка. Но большинство, соглашаясь с Лазебниковым, все-таки категорически возражало против раскопок: молодежь, не терпится. А ничего другого никто предложить не мог. Или лазер, или раскопки. «Не подумаешь, что на Луне,— отметил Лихман.— Типичная земная перебранка ученых».

— Нет, нет, нет, лазер нельзя,— выкрикивал кто-то, пока Лихман в последний раз взвешивал все за и против,— там, может быть, дворец, черт знает что, а мы, как дикари, с лазером. Нет, нет, нет!

— Копаться здесь пять лет лопаточками? Извините! Сегодня же подаю заявление. Мы что — детский сад!?

— Только не лазер, надо подумать, все взвесить и не спешить. Главное, не спешить. Так мы можем всю Луну испортить...

Когда Лихман встал, нестройный шум голосов умолк разом.

— Все правы,— сказал он негромко.— И все ошибаются. Разумеется, лазером нельзя. Это ясно. Но и раскопки нас не устраивают — время не то. Что есть еще подходящее? Больше нет ничего...

Шестьдесят один человек молчали. Казалось, никто не дышал. Где-то между вторым и третьим рядом всплыло на секунду ехидное, злорадствующее лицо Гришаева — и растаяло. Мелькнули тревожные глаза Ольги: «Только, пожалуйста, береги себя. Лучше лишний раз с Землей посоветуйся, спроси разрешение». Ольга, Ольга! Единственный человек, которому нужны не его открытия, а он сам. По ней, хоть вовсе не будь никакой Луны, лишь бы ее Миша возвратился живой и здоровый. Ну что ж, посмотрим!

— Больше нет ничего, это точно. Значит, остается одно — взрыв.

4

Посреди ночи громыхнул телефон. Ольга взяла трубку. Незнакомый, взволнованный голос спросил:

— Квартира Лихмана? Извините, пожалуйста, у вас случайно нет Гришаева? Это дежурный института, с ног сбился, весь город обыскал, тут у нас «чп»...

— Чего ради у нас будет Гришаев в такое время?— насмешливо ответила Ольга и положила трубку.

— Кто это?— спросил Гришаев, потягиваясь.

— Из института, дежурный. Тебя что, всегда у женщин ищут по ночам? Хорош директор!..

— Брось, Ольга! Случилось что?

— Какое-то «чп», говорит. С ног, говорит, сбился, тебя разыскивая.

Гришаев вскочил с постели, заметался, уронил в темноте бутылку, жалобно звякнул разбитый бокал. Ольга включила свет. Он торопливо зашнуровывал ботинки. Через две минуты он был готов.

— Черт, в такое время и такси не схватишь.

Она подошла к нему, прижалась на прощанье к его громоздкой фигуре. Ласковые ру-



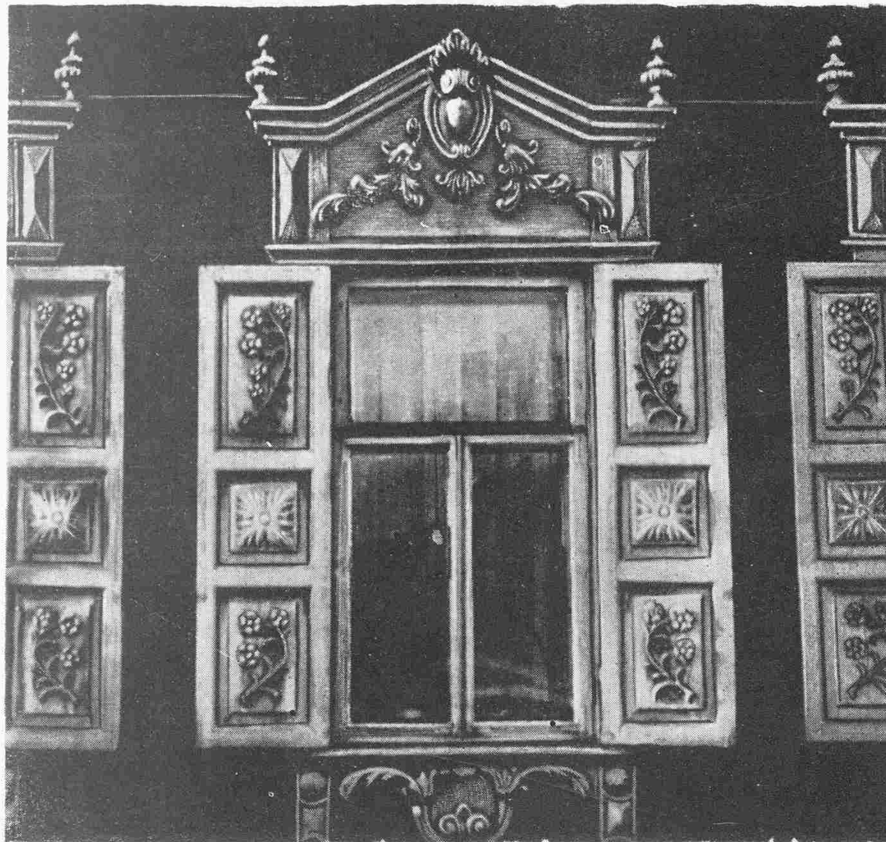
Иркутск. Детали оформления окон. Улица Дзержинского. Фото Б. Дмитриева

Фрагмент дома по ул. Баррикад. Фото Б. Дмитриева



Крыльцо. Бульвар Гагарина. Фото Б. Дмитриева

Детали оформления окон. Улица Декабрьских событий. Фото Б. Дмитриева





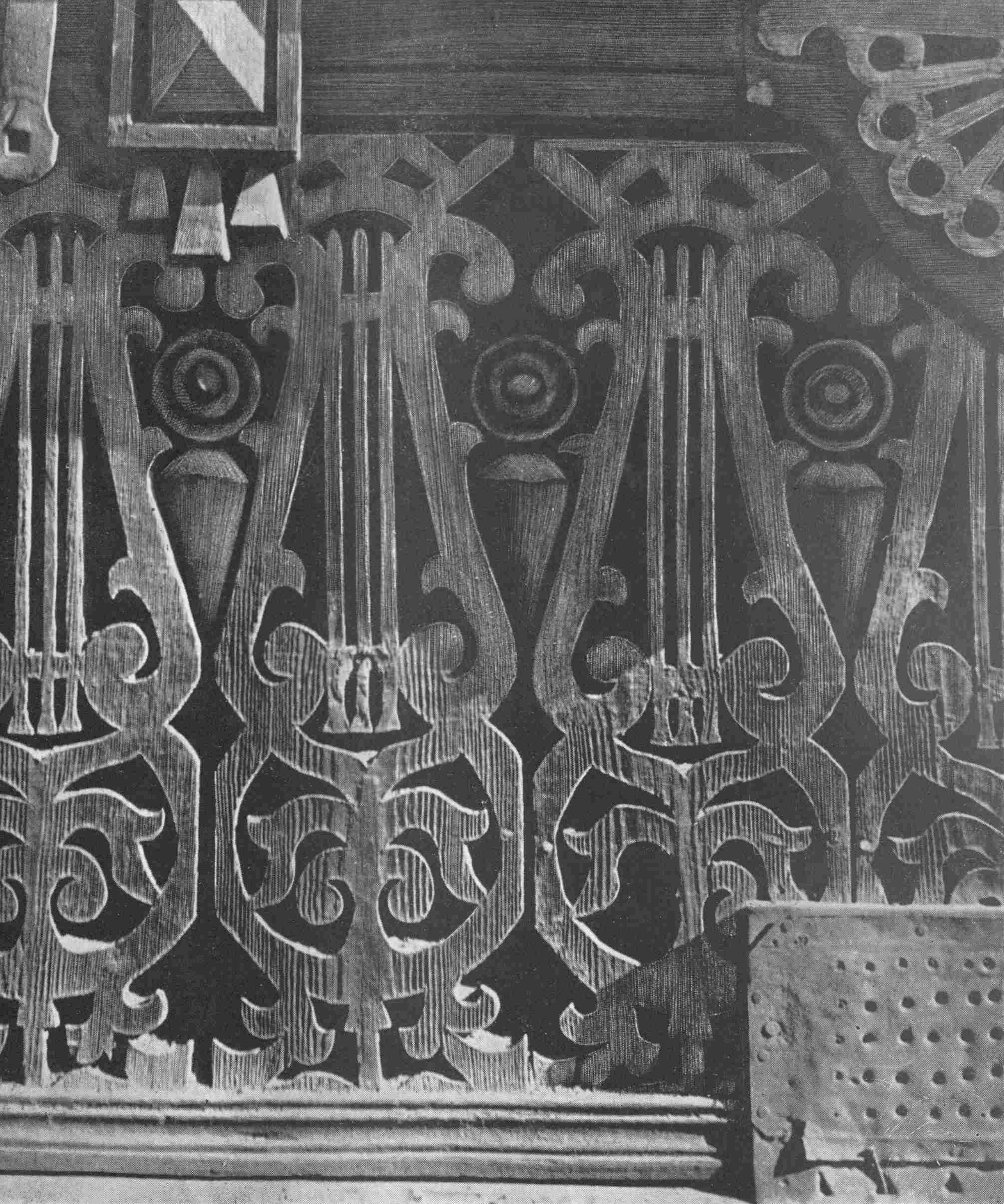
Ворота, украшенные резьбой. Улица 3-я Красноармейская. Фото Б. Дмитриева

Ангара



Л. КРАСОВСКИЙ
В. ГУСЕНКОВ
Б. ЛЕВАНТОВСКАЯ
Б. ЛАПИН
Б. ЛЕБЕДИНСКИЙ

4
1966



Деталь оформления дома по улице 5-й Армии. Фото Б. Дмитриева



Фрагмент дома по улице Маяковского. Фото Б. Дмитриева

Наличник. Сфотографировано на улице Дзержинского. Фото Б. Дмитриева



Наличник. Сфотографировано на улице 3-й Красноармейской. Фото Б. Дмитриева

Наличник. Дом на улице Декабрьских событий. Фото Б. Дмитриева

ки Гришаева на этот раз даже не коснулись ее, остались прижатыми к бокам — по стойке смирно. Она заглянула ему в глаза снизу вверх. Его лицо было спокойным, собранным, почти каменным, как обычно на работе. Ее охватила тревога.

— Костя, «чп» — что это может быть? Луна?

— Не знаю, возможно. Твой сумасшедший на все способен. Ладно, пока. Узнаю — сразу позвоню.

Дверь за ним закрылась. Она накинула халат, принялась ходить по комнате. Тревога не унималась. С маленькой фотографии на столе грустными глазами смотрел на нее Лихман.

...Она была студенткой четвертого курса, когда судьба столкнула ее с Лихманом. Он читал курс общей теории космонавтики, а для нее это были дебри. Вообще она попала в этот институт случайно — не хотелось расставаться с одним очень славным парнем, а он не мыслил жизни без этого института. Прежде она как-то не замечала строгого, острозыкого профессора, но когда дважды он попросил ее с экзамена, пришлось задуматься. Дело пахло отчислением, это было бы глупо после четырех лет учебы. Одна подружка посоветовала ей: «А ты, Олька, очаруй его, используй последний шанс. Тем более, старый холостяк. Вот прямо сейчас и шагай к нему домой. Чего теряться!»

И она пошла. Три вечера, забывая о времени, он рассказывал ей про космонавтику. Это было интересно, поначалу она даже увлеклась и стала вполне сносно разбираться в основных вопросах. Она выкарабкалась, зато он «влип». Да так, что она почувствовала, что теперь не может бросить его, что нужна ему, что этот насмешливый, никаких авторитетов не признающий человек, гроза ортодоксов, надежда науки — вдруг превратится в ничто, перестанет существовать как индивидуум, если она скажет ему «нет». И она сказала «да», тем более, что роман со студентом слишком затянулся и не сулил ничего хорошего. Правда, Лихман был почти на двадцать лет старше ее и часто прихварывал, потому что его детство совпало с последней войной и его там куда-то угоняли фашисты, но она по-своему любила его, скорее жалела. И она стала его женой.

Все эти годы она в меру своих сил и способностей исполняла обязанности жены большого ученого и большого чудака, но при нем все-таки чувствовала себя так, словно играла роль, а настоящей жизнью, такой, как хотелось, жила лишь во время его командировок. К счастью, в последние годы он уезжал часто и надолго...

В шесть она включила радио. В последних известиях ни о каком космическом «чп» не было ни слова, но это еще ничего не значило. Передавали легкую музыку, потом урок гимнастики. Гришаев не звонил.

Без десяти восемь раздался звонок в прихожей. Она открыла. Неизвестный человек спросил строго:

— Товарищ Лихман, Ольга Владиславовна?

— Да, это я.

— Распишитесь.

Она машинально расписалась. Прежде, чем разорвать конверт, села в кресло: руки и ноги не слушались. В конверте лежала маленькая хрустящая бумажка под копирку.

«Для печати.

6 мая в 23 часа 07 минут по московскому времени в районе Шестой Лунной научной экспедиции на Луне зафиксирован взрыв большой мощности. Причины взрыва пока не установлены. Связь с Шестой Лунной экспедицией временно прервана. Принимаются меры по налаживанию связи через аварийные каналы. Если в течение двадцати четырех часов связь не будет восстановлена, на Луну отправится специальная спасательная экспедиция, которая в настоящее время готовится к старту.

Президиум Академии наук СССР».

Прошло сколько-то времени, пока позвонил Гришаев.

— Олька, читала? — спросил он.

— Читала. Что это может быть?

— Черт его знает! Твой старик всегда выкинет какую-нибудь штучку. Авантюры — его амплуа. Помнишь, я просил тебя повлиять, чтобы чаще советовался. Говорила?

— Говорила.

— И что?

— Обещал.

— Обещал! Слушай, ну ты как?

— Ничего, держусь.

— Ладно, Олька, молодец. В общем, я думаю, ничего страшного. Самое страшное — он мне все планы сорвал. Горит мой институт из-за твоего Лихмана. Да, там, кажется, в бутылке, вчера что-то осталось. Ты не против, если я заскочу на часок?

— Против.

— Что!?

— Против.

— Ах, вон оно что! Отпеваешь старика? Ну-ну, валяй.

— Нет, не отпеваю. Думаю.

Она положила трубку. Под ногами хрустнули осколки разбитого ночью бокала.

В радиоотсеке сидел верный Саша Сашевич. Земля спрашивала, взывала, умоляла, требовала, угрожала — Саша Сашевич оставался глух и нем. Лихман просмотрел радиограммы, выбрал три из них. Две угрожающие — дело рук Гришаева, сразу видно, не верит ни в какую катастрофу, очень уж хорошо знает Лихмана, Лихман для него — авантюрист. Одна дельная радиограмма-инструкция — от Главного, «на случай, если радиостанция работает только на прием». Хитер Главный! Послушал скупое сообщение ТАСС, слава богу, паники никакой, настроение деловое. Скоро минуют сутки, нужно срочно давать ответ, иначе прилетят «спасать», а что ответишь, когда не оседает проклятая пыль, мешает определить результаты взрыва. Хорошо, если риск оправдал себя, а если нет? Голову снимут. Взрыв на Луне! Действительно, «так можно всю Луну испортить».

Странное дело, больше всех возражал против взрыва не кто иной, как его любимец Сережа Лазебников. Едва кончилось заседание, этот вундеркинд давай ломиться в радиоотсек — передать свое особое мнение на Землю, «пока не поздно». Хорошо еще, догадался Лихман заранее отправить Сашу Сашевича со строжайшей инструкцией: никого в отсек не пускать и ничего к передаче не принимать. Лихман ждал подвоха от кого угодно, но не от Сережи. Думал, Петя Тяпкин жаловаться будет, скандал подымет, а он стащил у доктора конскую дозу снотворного и до сих пор спит, делайте, мол, что угодно, только без меня!

До старта спасательной экспедиции с Земли оставалось немногим более трех часов. Дальнейшее промедление становилось опасным. Гришаев там бесится, с этим «чп» все его честолюбивые планы лопнули. Рвет и мечет. Чего доброго, рискнет еще покинуть директорский кабинет, явится сюда собственной персоной. Тьфу, тьфу, тьфу, спаси и избави! Но что же эта проклятая пыль? Почему пыль в безвоздушном пространстве? Никто не ожидал, что она может висеть сутки, думали, за час все осядет. Вот уж верно, жди от космоса любых сюрпризов.

Лихман еще раз пробежал списочек убытков, причиненных взрывом. Искарежен один вездеход, оставленный растяпой-водителем в опасной зоне. Конечно, вездеход пустяк — если на Земле. На Луне его ценность подскакивает в тысячу раз — «плюс транспортные расходы». Вследствие колебания почвы опрокинулась грузовая ракета, к счастью, уже почти разгруженная. Взорвался от детонации погребок с остатками взрывчатки — правда, взрывчатки там было сущие пустяки. Вмятины, царапины на ракетах не в счет. Вообще, удача спишет все. А если неудача?

К черту! Стоит ли думать о грозящих ему «оргвыводах»? Если исследователь будет ломать голову над проблемами, как посмотрит начальство на тот или иной его шаг, — не останется ни сил, ни времени для науки. В конце концов, самый большой ущерб от взрыва — переживания Ольги. Она-то ведь ничего не знает. Существовала бы телепатия, тогда проще, тогда напряг бы все душевные силы и передал ей одной: «Не волнуйся, родная, все в порядке, просто твой старик темнит, проворачивая очередную авантюру».

Лихман взглянул на часы: пора. Пыль еще не осела, хотя и стала пореже. Сейчас будет дан сигнал общего сбора, и двинутся вездеходы к центру гигантского искусственного кратера. Чудаки бурильщики, предлагали ломиться в стену, когда непременно должна быть дверь. Но если она окажется не на дне воронки, а совсем в другом месте? Тогда, значит, интуиция обманула его, тогда пора подавать в отставку.

Люди в скафандрах начали вываливаться из люков базы, в шлемофоне послышалась вибрация от моторов вездеходов. Лихман опасливо встал — опять ноги показались длинными и ватными, как на «ЛН-5», хотя система искусственной гравитации действовала исправно. «Нервы, нервы, — отметил он. — Расклеиваюсь. Расклеивается, Оленька, твой старик, на пенсию ему пора, на Землю, цветочки поливать. А на Луне помоложе нужны...»

Четыре вездехода двинулись к кратеру. На трех сидели люди, один пыхтел под тяжестью прожектора, снятого с грузовой ракеты. Как пригодился бы сейчас пятый вездеход!

Лихман сидел у смотрового стекла головного вездехода. Гребень нового, первого на Луне искусственного кратера приближался. Вездеход колотило на камнях, Лихман вцепился в поручни и почти прилип лбом к стеклу. Вот кабина поднялась на гребень, перекачнулась в сторону кратера, и стало видно бездонную черную дыру глубиной в добрых триста пятьдесят метров. На дне ее не было ни единого блика.

— Прожектор! — скомандовал он хрипло.

Вниз свалился ослепительно белый столб,

уперся в стену воронки, дрогнул, стал падать ниже, почти вертикально, и вдруг поблек в свете ответного, казалось, еще более яркого луча. Вглядываясь в него, Лихман сощурился до боли в уголках глаз и почти сразу различил покатую сверкающую сферу, на которой в самом центре луча новеньким пятачком выделялся...

— Люк! Вход!..— раздалось в шлемофоне сразу несколько не то восторженных, не то испуганных голосов.

«Выдержала оболочка наш взрыв,— почти равнодушно отметил Лихман.— Недаром же рассчитывали ее на оборону от метеоритов. Если так не откроем, честное слово, лазером трахну», — внезапно решил он. И сразу почувствовал, как ноги вдруг стали расти, расти, вылезли из вездехода, опустились в воронку и, вытягиваясь и тоньшея, достигли наконец сверкающей металлической сферы, как корни дерева, проросли сквозь люк и устремились в темноту...

Водитель вездехода видел, как Лихман отвалился от смотрового стекла и медленно рухнул на спинку сиденья. Первым его порывом было сорвать шлем с теряющего сознание начальника экспедиции, но он во-время спохватился, что это Луна, и только прокричал в микрофон: «Врача в головную машину, срочно! Начальнику плохо».

Когда врач дал Лихману кислород, он прошептал спекшимися губами:

— Немедленно... радиограмму на Землю... которая у Сашки...

5

Люк подался неожиданно легко.

Люди — от волнения, что ли, он даже не видел, кто — уважительно посторонились, пропуская его вперед и подсвечивая фонарями. Он первым шагнул в этот чужой мир.

Лестница в десяток широких ступеней вела вниз, в круглый вестибюль. Здесь вдоль всей стены шли двери, которые бесшумно раздвигались, едва к ним подходили — столько тысячелетий прошло, а ничего не испортилось! За каждой дверью была небольшая, человек на пять, кабина. Внутри кабины громоздились строчка на строчку непонятные рельефные рисунки. Лихман пригляделся к ним, но изображения человека нигде не обнаружил. Может быть, это были и не рисунки, а клинопись.

Он повернул какую-то рукоять на противоположной от входа стенке кабины — и пол под ногами дрогнул и поплыл вниз. «Лифт,— догадался он.— А как же выберемся?— Оглянулся: в кабине был он один.— Вот так штука! Ну да ничего, конструкция вроде бы несложная».

Он спускался довольно долго и все сожалел, что не знает скорости лифта: на какую глубину он опустится? Наконец, лифт остановился, дверь автоматически открылась. Это был точно такой же круглый зал, только освещенный призрачным желтоватым светом. Вглубь вел широкий коридор, и Лихман смело пошел вперед. Через две минуты он оказался в другом зале, более просторном, и светлом. На возвышении стояла золотая скульптура: устремленная вперед и вверх, как бы рвущаяся взлететь обнаженная женщина держала в руке сверкающую острыми лучами звезду. Женщина была очень похожа на земную...

В какой-то пустой комнате он остановился у вмонтированного в стену матового рефлектора, и сразу в голове его начала складываться таинственная песня...

«Было три дочери у нашего солнца, три родных сестры. Старшую звали Оуа, среднюю — Аэу, младшую — Юиа. И когда поняли три сестры, что умирает их отец и уже не сможет обогреть их своим теплом, собрали они Объединенный Совет Мудрецов. Двадцать лет думали мудрецы и порешили: лететь, искать себе новое солнце, очень похожее на наше, и планеты, чтобы можно было на них жить и чтобы не угас в веках разум человечества, родивший великое Знание. И порешили: не строить для полета искусственных сооружений, а обуздать подходящую малую планету, поселить внутри нее три человечества трех планет-сестер, разогнать до нужной скорости и покинуть родное солнце, чтобы в неизведанных дебрях Бесконечного обрести новое солнце и новую жизнь. И нашли такую планету, называлась она Луна, и за сто лет построили внутри нее все необходимое для жизни четырех миллиардов людей в течение трехсот поколений и для защиты в пути от полчищ летающих глыб и смертельных для всего живого лучей, видимых и невидимых, и двинулись в путь в тридцать две тысячи восемьсот тридцать пятом году, рискуя либо потерять все, либо все обрести заново...»

«Передача мысли,— догадался Лихман.— Это еще успеется, надо дальше, дальше, надо найти что-то самое главное, найти тайну этого космического Ноева ковчега. Кстати, если они разгоняли свою планетку до третьей космической скорости, должны же где-то быть дюзы. Может, то, что мы принимали за кратеры вулканического происхождения, и есть

дюзы двигателей? А все остальные кратеры — от встречных метеоритов? Боже, как просто!»

Он торопился, во многие помещения вовсе не заглядывал, в другие заглядывал мимоходом, пытаясь определить, для чего они предназначены. Быстро, почти бегом, прошел мимо большого плавательного бассейна, полного воды. За стеклянными стенами плескались золотые рыбки. Отвернул и снова прикрыл кран водопровода, из которого потекла тоненькая струйка, и вовсе не удивился, что все еще действует и водопровод, и электричество, а может быть, и кондиционирование воздуха? Он попробовал на секунду свинтить шлем — воздух был нормальный, немного тепловатый, с запахом пыли и нагретого металла. «Какой же энергией они должны были пользоваться, чтобы столько веков продержаться внутри планеты? Ладно, это выяснится позднее, а пока вперед, вперед!»

Он пошел дальше, уже без шлема, идти было легко и приятно, и чем дальше он шел, тем вкуснее и прохладнее становился воздух. Вскоре он обнаружил, что коридор не прямой, а закругленный, с едва заметным уклоном. Ему представилась спираль, бесконечно спускающаяся вниз, к центру планеты. Так можно было идти много дней, и он свернул в один из боковых коридорчиков. Здесь располагались крохотные каютки, видимо, жилые: в ковчеге было тесновато, как в коммунальной квартире годов его детства. Он бродил по запутанным проходам и тупичкам, стараясь запомнить дорогу назад или хотя бы не потерять ориентировки. Откуда-то смутно повеяло запахом роз...

Вдруг в полутьме мелькнуло что-то. Чья-то тень? Лихман побежал за нею, свернул налево и снова увидел что-то черное, нырнувшее в люк на полу. Когда он подбежал к люку, легкая крышка его, неплотно прикрытая, все еще подрагивала. Не раздумывая, Лихман откинул крышку и прыгнул в темноту люка. Здесь явственно пахло розами. Он нащупал ногами крутые ступени и начал осторожно спускаться по узкой винтовой лестнице. Темнотища была совершенно беспросветной, хоть глаз выколи.

«Отстану,— с досадой прошептал Лихман,— ему каждая ступенька знакома, а я...» — И тут же поймал себя на мысли, что думает о НЕМ, как о совершенно реальном существе. Да неужели ОНИ могли жить в трех шагах от нас, внутри Луны, когда их, космических братьев по разуму, надеялись найти лишь где-то очень далеко, в неведомых глубинах Вселенной? Но надо быть логичным: куда же они могли подеваться, раз прилетели к нам? Четыре миллиарда — не пустяк, чтобы исчезнуть бесследно. Неужели все погибли? А может, они — это мы!?

«Слушай, Лихман,— представился ему оживленный голос Гришаева, сидящего в знаменитом кресле в кабинете.— Если они выбирали себе планету для заселения, то ведь наверняка побывали и на Марсе, и на Венере. Вдруг они стали марсианами и живут там, внутри? И вдруг спутники Марса — их рук дело? А может, с ними связана и катастрофа Атлантиды? И все древние легенды о космических пришельцах и богах? Вот это да! — Гришаев даже подскочил в кресле, настолько изумила его самого эта мысль.— Эх ты, Лихман, Лихман! Ты способный человек, но ты узкий практик. Как же тебе раньше не пришла в голову эта идея!?»

Лихман усмехнулся и ответил с ехидцей, которой Гришаев, кажется, не уловил: «Мне всегда не хватало твоей окрыленности. Но на этот раз твоя гипотеза недостаточно безумна, чтобы быть истиной. Самая безумная — вот она: и Луна, и спутники Марса, и гибель Атлантиды, и Тунгусский взрыв, и все прочее — все это свидетельства разных контактов с разными космическими путешественниками! Чуешь: Вселенная перенаселена, и десятки делегаций были у нас в гостях, и все оставили свои следы. А мы, на Земле,— истинные робинзоны. Глупые, заскорузлые, нелюбопытные робинзоны. И главный робинзон — ты, Гришаев!»

Гришаева перекосило, и он вместе с креслом исчез из-за стола директора института, как ветром сдуло. «Ну, наконец-то я выдал ему!» — с удовлетворением подумал Лихман.

...Ступеньки мелькали под ногами, он торопился, торопился и чувствовал, что уже настигает того, в лицо ему уже веяло ветерком от движения ТОГО. И вдруг Лихман с ужасом обнаружил, что под ногами нет ничего. Неизвестно на какой высоте лестница оборвалась. В детстве он часто видел это во сне: он спускался по крутой винтовой лестнице в полной темноте, и вдруг лестница обрывалась.

Он рухнул вниз... но ничего не произошло. Он оказался в новом полутемном коридоре, рванул первую попавшуюся дверь — и замер. В небольшой опрятной комнате стояла на столе золотая критская ваза, точно такая же, как у него, только побольше. Он взял ее в руки и прочел древнегреческий текст: «Летели двести поколений и вот планета цветущая».

Пораженный этим новым открытием, он неосторожно выронил вазу, и она разлетелась мелкими осколками, словно была стеклян-

ная. В двери соседней комнаты появился человек. Увидев Лихмана, он изумленно попятился.

— Кто вы? — спросил человек на чисто русском языке.

— Я — Лихман...

— Извините, вы что-то путаете, — сказал человек. — Лихман — это я.

Лихман пригляделся и понял, что перед ним стоит он сам, он, Лихман, похожий как две капли воды, только иначе, по-домашнему одетый. Лихман не поверил, почему-то ему показалось, что перед ним зеркало, и он ощупал лицо незнакомца. Лицо было теплым, чуть влажным и отпрянуло под его рукой.

— Не может быть, чтобы вы были Лихман, — сказал он. — Это невероятно. Невероятно, чтобы во Вселенной случались такие парадоксы!

— В чем же вы видите тут парадокс? — обиделся тот, второй. — Я, славу богу, вот уже пятьдесят два года ношу эту фамилию, и у меня нет оснований отказываться от нее...

— Да нет, вы не так меня поняли, — сказал Лихман. — Просто я хочу, чтобы вы как-то доказали мне свое существование. Я, видите ли, еще не могу поверить. Может, опять какие-нибудь ваши лунные фокусы, вроде передачи мысли... передачи образа...

Но тот, другой, не слушал, он подошел к двери соседней комнаты и тихо позвал:

— Оленька, поди-ка сюда, скажи этому типу, кто я...

Из двери вышла Ольга, совсем настоящая, совсем такая, какою он видел ее в последний раз перед отлетом на Луну. Она обняла того, другого, положила голову ему на плечо и сказала нежно:

— Это мой, Лихман, Михаил Маркович, мой самый любимый человек. Никому его не отдам.

— Ольга! — крикнул Лихман в бессильном отчаянии. — Ольга, вот же он я...

— Ольга... — слабо простонал Лихман.

Врач Шестой Лунной склонился над ним.

— Что, Михаил Маркович?

— Скажите вы ему... — прошептал Лихман.

Врач вытер пот на его лбу.

— Бредит, — тихо сказал Саша Сашевич. — Лучше ему?

— Хуже! — отрезал врач и отвернулся.

...В этот самый момент Димка из отряда буровиков с помощью ручного лазера открыл наконец входной люк лунного бункера и, оттиснув кого-то плечом, первым шагнул в неизвестное.

6

Ольга уже все знала, но еще не верила ничему. Не хотела верить, потому что об этом сказал ей Гришаев.

И вот — газета.

«Великое открытие советских ученых»

«Луна — не сестра и не дочь земли. Луна — падчерица земли».

«Исследования города внутри Луны продолжаются».

«...таким образом подтвердилась гипотеза ряда советских ученых о том, что...»

«...немедленно направить в район работы Шестой Лунной научной экспедиции три пассажирских и семь грузовых ракет из резерва Президиума Академии наук СССР для форсирования работ...»

«Комсомольцы — на Луну!»

«Указ Президиума...

За проявленное геройство, мужество и находчивость в деле... присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда руководителю экспедиции «ЛН-5» и «ЛН-6» Лихману Михаилу Марковичу (посмертно)...»

«Указ Президиума Верховного...

В связи с ходатайством Академии наук СССР кратеру Б-046-20, где был обнаружен вход в подземный лунный город, присвоить наименование Кратер Ольга...»

Она все выдержала бы. Но это...

Две капли упали на газетный лист. Прямо на кратер ее имени.

Б. ДМИТРИЕВ

МОЙ ГОРОД

«Оттого новые города не имеют вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен и больше ничего».

Н. В. Гоголь

Города, как и люди, имеют свои лица и они очень разные: есть лица с ярко выраженной индивидуальностью, и есть очень похожие друг на друга, одинаковые, где дома одинаковы и улицы одинаковы, и даже названия улиц бывают одинаковыми, но запоминаются всегда выразительные лица.

Иркутск имеет свое лицо, представленное улицами, парками, домами. Домами старыми и новыми. Как те, так и другие в одинаковой степени рассказывают о его жизни.

Старые дома на лице нашего города — как морщинки на лице человека, прожившего жизнь. Но есть люди, боящиеся морщин: они считают, что морщины уродуют лицо и стараются избавиться от них, а получаются гладенькие масочки.

Кому-то не нравятся старые дома на лице нашего города и их сносят.

Старые дома нашего города в основном построены в конце XIX и начале XX столетия, большая его часть сгорела в 1879 году в результате большого пожара (более трех тысяч деревянных домов и около ста каменных). Погибли памятники архитектуры.

Часто говорят о домах, построенных после пожара, что это архитектура старая и она ценности не имеет. Но она ведь выросла не на пустом месте, она выросла на фундаменте, заложенном веками. Наши зодчие строили только при помощи одного топора, и строили красивые и удобные дома. Игорь Грабарь пишет в «Истории русского искусства»: «Россия по преимуществу страна зодчих. Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм — словом, все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа».

Русские на протяжении многих веков строили из дерева и овладели в совершенстве этим строительным материалом. Они строили деревянные жилые дома, деревянные крепости, деревянные церкви, которые до сих пор поражают зрителей красотой и виртуозностью исполнения.

В нашем городе очень много старых деревянных домов, и среди них есть интересные

как в архитектурном отношении, так и с точки зрения декоративного оформления.

Строители всегда украшали деревянные дома резьбой, но не всегда в одинаковом количестве. В оформлении деревянной резьбой можно проследить этапы, начиная от строгого, даже аскетического оформления и кончая сплошными декорациями. Сказывалось влияние эпохи. Когда строили только при помощи одного только топора, а доски получали, разбивая бревно клиньями, строитель вынужден был экономно относиться к декоративному оформлению строения, состоявшему из пришивных висячих досок, прорезанных узором. Чаще же просто вырубались декоративные украшения прямо на конструктивных частях. В XIX веке строения стали перегружать декоративным оформлением.

Декор деревянных домов нашего города очень разнообразен: деревянные кружева порой настолько ажурные, что дерево теряет свою материальность и не верится, что они выполнены из него: красивые наличники, ставни, крыльца, ворота.

Все это выполнено глухой и выпиловочной резьбой, а также накладной выпиловкой и аппликацией. Разнообразны стилевые направления: во многих наличниках ясно чувствуется влияние барокко, а такие элементы в резьбе, как стилизованные цветы, птицы и драконы, заимствованы, очевидно, с Востока.

Я давно полюбил эти деревянные тихие улочки, тонкие кружева, украшающие дома, стоящие там (особенно красивы они при солнечном освещении, а его у нас хватает). По ним можно ходить, как по музею: настолько разнообразны декоративные элементы. И никогда не наскучит рассматривать их. Но однажды я пришел на одну из таких улочек и не увидел нескольких деревянных домов: они были снесены, а на их месте строили новые, каменные здания. Всегда приятно видеть строительство. Нужно еще много новых домов: не все еще живут в благоустроенных квартирах. И дома строят. Новые строят, а старые ломают. Исчезают эти морщинки с лица нашего города.

Очень часто недооценивают значения старых зданий, архитектуры вообще, а ведь она, так же как поэзия и музыка, отражает то время, в которое возникла.

Ведь архитектура и все окружение представляли собой в каждый отрезок времени единое целое с жизнью народа, когда бы и где бы она ни существовала. И, глядя на архитектуру, можно представить себе те времена, в которые она возникла. Это — книга, живая книга истории, и не стоит вырывать из нее страницы.

Еще пятьдесят лет назад И. И. Серебренников писал в своем очерке о памятниках старинного деревянного зодчества в Иркутской области: «Многие из весьма древних и единственных в своем роде памятников местного деревянного зодчества находятся в самом печальном состоянии и грозят исчезновением». Так было полвека назад, а нам осталось еще меньше. И только в последнее время приняты решительные меры по выявлению и сохранению их. Но обращают пока внимание на каменные постройки, а деревянные дома продолжают исчезать. И чтобы сохранить о них хоть воспоминание, я начал их фотографировать.

Вот уже больше года я хожу по старым деревянным улочкам с фотоаппаратом и стараюсь запечатлеть то, что еще не исчезло с лица нашего города. Хочется как можно полнее запечатлеть эту последнюю страницу деревянного зодчества, которая очень скоро закроется.

В Центральном Государственном историческом архиве в Ленинграде найдено довольно интересное литературное произведение — «Сон одного заседателя (сибирская сказка)». В ней автор в легкой и доступной форме описывает тяжелое положение трудящихся страны, особенно Сибири. И хотя имя автора «сказки» осталось, по вполне понятной причине, неизвестным, но выпуск ее в свет намечался через хорошо известное в то время издательство О. Н. Поповой.

Для получения разрешения на право печатания «Сибирская сказка» была направлена в Санкт-Петербургский цензурный комитет, который сразу же передал ее на просмотр своему цензору графу Головину. После тщательного ознакомления с текстом произведения Головин доложил Совету комитета об основных положениях «сказки» и высказал свои суждения о ней.

«В этом рассказе,— пишет цензор,— обличаются злоупотребления низшей администрации, причем автор особенно напирает на тягостное положение рабочих».

Ввиду весьма незначительного объема рукописи и вполне доступного ее изложения, ее следует считать предназначенной для народного чтения. Понятно, что «Сибирская сказка» не соответствовала интересам господствующего класса и шла вразрез с государственной политикой в Сибири в конце XIX века. Граф Головин пришел к следующему заключению: «Не находя в ней ничего назидательного и руководствуясь циркуляром Главного Управления по делам печати от 8 мая 1865 года за № 2799 цензор полагает неудобным дозволить ее к печати».

С этим мнением цензора полностью согласился и Цензурный комитет и Главное Управление по делам печати. Что же касается издательства Поповой, которое настоятельно добивалось разрешения на издание этого произведения, начальник Управления дал указание своей канцелярии выдать издательству специальное свидетельство о том, что рукопись «Сон одного заседателя (сибирская сказка)» не дозволена к напечатанию на основании статьи 113 Устава о цензуре», и согласно статье 58-й того же Устава рукопись «удержана при делах Комитета».

Предлагаем вашему вниманию эту сказку.

Ленинград *Е. Д. Кравцов*

СОН ОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ

СИБИРСКАЯ СКАЗКА

Давно это было, так давно, что и сказать трудно, еще в то присно-памятное время, когда на свете не было «строгих ревизий», когда все кругом шло иначе и сами заседатели были иные, на нынешних совсем не похожие.

Съехались раз заседатель, доктор и стряпчий, как водится, на следствие по делу о «мертвом теле» и начали, как в таких случаях было положено, с карт и «очищенной». Последняя, как известно, появилась на свете чуть ли не вслед за «грехопадением». Пьют же они и играют, играют и пьют, друг дружке ревизы ставят, взятки дают, ан дело и к ночи пошло, спать захотелось... хоть они и «весьма усердными» начальством своим почитались, а все же, поди, и им отдых-то полагался... Как-никак, а вместо жестоких романсов, которые распевал стряпчий с таким чувством, стал он выделывать носом рулады, несомненно свидетельствовавшие, что человек далеко не бодрствует... Послушал доктор, послушал, да и сам захрапел с полуштофом в руке. Один заседатель никак заснуть не мог. Ворочался это он на постели, ворочался, с боку на бок переваливался и глаза закрывал и уши затыкал,— нет сна, да и только! В избе было душно и жарко, храп заснувших раздражал и беспокоил, голова трещала, в висках точно кузнецы наспех работали, и ощупью, не слыша под собою земли, еле держась на ногах и шатаясь, выполз заседатель из душной избы на воздух.

— Тут-то даст бог засну!— подумал он и лег под старым, угрюмым кедром. На дворе стояла глубокая летняя ночь.

Свежий теплый воздух ласкал как-то особенно мягко, точно бархат прикасался к лицу. Зеленые верхи старых угрюмых кедров, качаясь, о чем-то шептали друг другу и их нежный шепот усыплял и баюкал, как нежная сказка. Яркие божьи звезды горели, переливаясь радугой в темном, почти синем эфире. Во всем и везде царила какая-то чудная нега, сладкая истома летней сибирской ночи, насквозь проникавшая заседательское тело. Он лежал неподвижно, всматриваясь в какую-то далекую звездочку, пока глаза его сами собой не стали слипаться, в голове не спуталось, не подернулось все туманом.

Долго ли, коротко ли лежал так заседатель, бог его знает! Только вдруг видит: перед ним матерый волк стоит, стоит хвостом машет, глазищами поводит да прямо ему в лицо зубами щелкает. Вот-вот кинется... Обомлел заседатель: хочет бежать — сил нету; крикнуть хочет «караул» — голоса нет.

— Что скажешь?— начал было он свой стереотипный вопрос, каким всегда просил просителей, и насилу договорил от страха, да и то в конце поперхнулся.

А волк все стоит над ним в самой наглой позе, стоит да зубами щелкает и глазищами водит. Щелкал-щелкал, водил-водил, да наконец и ответил дерзко:

— А я съесть тебя, председатель, хочу, вот что!— и так защелкал зубами, так засверкал глазищами, что бедного заседателя вперемежку три раза морозом прошибло и три раза в пот бросило.

Как-никак, а с жизнью куда не весело расставаться, особенно заседателю. Ужас, страшный, неописуемый ужас охватил несчастного, сковал ему члены и сдавил горло. Но острое чувство самосохранения взяло-таки верх и он взмолился:

— Волк, а волк, голубчик... не ешь, не губи меня, помилуй!

— Не могу, брат, не прогневайся,— спокойно ответил волк,— с какой стати мне от добычи отказываться, что я за дурак такой! Разве ты, заседатель, кого миловал, от добычи отказывался, а? Вспомни-ка!

Так-то оно было — так, а все-таки крепко не хотелось заседателю самому добычей явиться.

— Я тебе душу свою запишу!— пошел он торговаться.

Волк только хвостом махнул, и как-то особенно презрительно.

— Что мне в твоей душе истрепанной?— сказал он насмешливо.— Да и какая у тебя, заседателя, душа-то!

Но заседатель продолжал молить так жалобно, что в конце концов разжалобил волка. Тот призадумался.

— Вот что,— сказал он наконец, надумавшись,— душа твоя пусть останется при тебе, а ты мне свое заседательство подай, на том тебя и помилую.

Как ни хотелось жить заседателю, однако такое необычное предложение смутило-таки его.

— Как это заседательство? А я-то с чем останусь, как буду?

— Говорю: подай заседательство — и подавай, а не то — аминь! Буду заседателем, а ты — чем себе хочешь. Коли надоест по свету валандаться, приходи на это самое место да и кликни меня, я сейчас прибегу и отдам тебе твое... Но тогда уж слопаю!

Призадумался бедняга. Крепко не хотелось с заседательством расставаться, да жизнь все-таки милее показалась. Согласился.

— Бери!— сказал он наконец, вздохнув и махнув рукой.

— То-то, давно бы так!— сказал волк и стащил с заседателя все, что на нем было, даже усы и бакенбарды снял. Перевернулся раз, другой через голову и стал капля в каплю настоящим молодцом-заседателем. Дунул затем на заседателя, и тот совсем преобразился: на любого из людей похож стал, только не на себя. Ахнул несчастный, глядя на такое превращение, а волк-самозванец крякнул, подбоченился, выругался и сказал:

— Только, чур, слушай, уговор лучше денег. Я обязуюсь ни в чем твоих порядков не изменять: как ты заседательствовал, так и я буду во всем до последней мелочи, а ты не проговаривайся, не то быть беде!

— Ладно!— вздохнул заседатель.

Свистнул волк — и откуда ни возьмись появилась тройка «земских» с малиновым колокольчиком. Вскочил волк, хлопнул ямщика, по заведенному, раза два в зубы — для памяти,— и был таков.

А заседатель лежит, как мать родила, под старым кедром, лежит и думу думает. И холодно ему, и голод мучить начинает, а пуще всего страх донимает. Что он теперь делать станет, как жить будет? Кто его пригреет, кто приласкает, куда он голову свою приклонит? Жил он до сих пор заседателем, а теперь бобылем беспаспортным оказался; всем сам командовал, а теперь под команду самому идти придется. Да еще волк обещал ни в чем порядки им заведенные не менять, а знал он эти порядки,— ох, знал хорошо!— за что его «лютым» прозвали... Мороз продирает по коже заседателя, он почти и жизни не рад стал. «Господи,— думает он,— вот кабы нанесло на меня мою заседательшу... Положим, она меня не узнает,— теперь волка проклятого за меня принимает, да все же у нее сердце доброе, мягкое, пожалела бы меня нагого, прикрыться дала бы чем, а то и подвезла бы!»

Глядь, а заседателева молитва и услышана... Прямо по дороге плетется тарантас на земских, а в нем пухлая заседательша покачивается, с крестин едет.

— То-то, чай, от волостных писарей подарков везет,— забывшись, чуть не облизнулся заседатель, да вспомнил, что все это не про него уже, и вздохнул тяжко.— Матушка,— взмолился он.— Смилуйся, дай что-нибудь... ограбили меня, прохожего, злые люди...

— А ты жалуйся!— резонно отвечала заседательша, когда тарантас остановился на его крики.

— Да ты дай, кормилица, чем наготу прикрыть...

— Всякому не напасешься, прости господи!— ответила заседательша.— Нет у меня ничего про тебя, не припасено!..

— Да ведь сердце-то у тебя доброе!— молил заседатель.

— Доброе-то доброе, да опять не про тебя... Трогай, чего зазевался,— крикнула заседательша на кучера.

Тарантас тронулся, а бедный заседатель слезами залился. Вспомнил, что сам же он выучил заседательшу свою не жалеть никого, вымуштровал на свой лад. А сердце-то у нее, как у всякой женщины, было сначала действительно мягкое и доброе, к людям жалостливое, да сам же он ненавидел и преследовал в ней эту жалостливость. Еще за час всего он бы только похвалил ее, а теперь? И проклял заседатель самого себя.

Лежит он, все лежит и думает, кто бы такой выручил его, помог ему... Перебрал имена всех знакомых, перебирал да вдруг и вспомнил... Дерунов! Кто как не он! Добрейший купчина, вместе дела делывали, да еще и какие! Вот на прошлой неделе усмирял он, заседатель, рабочих его, когда те, канальи, верного расчета потребовали!.. Господи,— взмолился заседатель,— нашли на меня Дерунова!

Глядь и эта молитва его услышана. Только он успел ее вымолвить, а по дороге громадный тарантас «на своих» плетется и в нем толстый-претолстый купчина похрапывает. Храпит и сквозь сон барыши высчитывает.

— Батюшка, отец родной, помоги!— закричал во всю мочь заседатель.

Тарантас остановился. Купец протер глаза, оглянулся пугливо кругом и выхватил из кобуры револьвер, но убедившись, что пока нет никакой опасности для кармана, опять его спрятал.

— Чего тебе? Кто такой будешь?— спросил он сурово, подозрительно оглядывая заседателя.

— Видишь, голый! — молвил тот.— Прохожий я человек, да ограбили меня злые люди. Выручи... Одень!.. Дай чем срам-то свой прикрыть!..

— Ишь ты... Стану я всякому прощелыге подавать!— с насмешкой отозвался купец.— Нет, брат, не таковский я, не на такого напал. Сам для себя всяк припасай — вот мой закон!

— Довези хоть до жилья!— плакал заседатель.

— И лошадей для тебя морить не стану... Трогай!

Уехал купец Дерунов, а бедный заседатель слезами заливается. Точь в точь так и сам бы он поступил раньше, а Дерунову бы похвалу высказал за то, что нищенства-де не поощряет. А теперь?.. И вновь проклял себя, бедняга. Ах, если бы все это он раньше предвидел, если бы только знал! Отчаяние, жгучее отчаяние овладело несчастным, и он уже собрался было звать волка, да заслышал грохот телеги.

— Ну, слава богу,— подумал он,— может, господь и пошлет кого доброго.

В телеге ехал дюжий мужик Пахом, славный работник, хорошо известный всему крещеному люду округа. Но как только завидел его заседатель, так и схватился за голову. Еще вчера сорвал он с него, Пахома, ни за что, ни про что четвертную, а неделю тому назад задаром проморил его в каталажке, пока тот не откупился коровой. Ну как же теперь просить у него помощи? — Господи,— воскликнул только заседатель,— за что на меня такое испытание? Эх, кабы я знал раньше, да разве бы я...

Но к его крайнему удивлению, даже страху, Пахом и без его мольбы остановил лошадей, как только его завидел. Долго всматривался в сконфуженного заседателя, старавшегося по какому-то непонятному побуждению не глядеть ему в глаза и наконец спросил:

— Что за притча, сердечный.., видать, ограбили?

— Ограбили, братан!— еле вымолвил заседатель.

Пахом покачал головой и оглянулся кругом.

— Все это от заседателя нашего пошло. Такие порядки развел лютый, что кругом одно грабительство идет, прости господи! Совсем закон забыл!— сказал Пахом.

Знал заседатель,— ох! знал, сколько правды в словах пахомовских, и впервые застыдился. Молчит, только глазами хлопает.

А Пахом стал шарить в телеге и вытащил грубый, но теплый зипун.

— На,— сказал он, подавая его заседателю,— надень, холодно, чай... Да садись, подвезу... обогреешься у меня.

С восторгом, просто себе не веря, схватил заседатель теплый зипун и вскочил в телегу. Слезы, какие-то благодатные слезы, еще неведомые, неизведанные, давили его и он чуть не обнял Пахома. Ему даже захотелось как-то покаяться, признаться во всем Пахому, да вспомнил угрозу волка: «быть беде», и только вздохнул. Ах, если бы он раньше все это знал, кабы предвидел только!

А Пахом погнал лошадей, и когда они отъехали немного, повернулся к нему и спросил: «Не здешний, чай?»

— Не здешний, братан, чужой... Работу ищу!— ответил ему заседатель.

— И работа найдется... Тут купец Подлевский на завод намеднись людей спрашивал, кули таскать... Вот и иди!

Пахом замолчал, и только подъезжая к избе, опять повернулся к заседателю.

— Ты, братан, слышь, жаловаться-то не вздумай!— сказал он ему.

— А что?— спросил заседатель.

— Да напасть одна с твоей жалобой-то выйдет... Лютый он у нас, заседатель... Без денег он ничего тебе, еще виноватым сделает, меня вон вчерась задаром пощипал... Брось, не ходи!

И вновь облилось заседательское сердце жгучим стыдом,— чувствовал он, что Пахом говорит правду.

Обогрелся бедняга заседатель на пахомовских полатях, подкрепился чем бог послал. Пахом, правду сказать, не скупился для нежданного, богом посланного гостя. Тот даже повеселел немного.

«Ну, что ж,— думал он,— как-никак, а пробьюсь, может, еще в люди вылезу, все же лучше, чем у волка на зубах хрустеть!»— усмехнулся он и пошел искать работы.

На заводе его приняли. Сметливый заводчик сразу смекнул, что дело выгодно,— парень голодный, холодный, да еще и беспаспортный. Таким всегда половинная цена, а работа двойная. Принял заседателя кули таскать по гривне ассигнациями, да фунт хлеба в сутки,— работать без отдыха. Воды не жалел, воды сколько хочешь! Только вздохнул заседатель, да делать нечего, голод не тетка. К тому же, раньше-то сам такую методу на заводах поддерживал: чуть лишь заупрямится рабочий, пожалуется хозяин, он сейчас в каталажку тащит без разговору. А каталажку-то завел он у себя особенную: с морозцем да с дымком, — одним словом, лютую!

Таскает он кули, таскает бедняга, пот градом льется, спина ноет, из глаз слезы сами собой брызжут. Проклинает несчастный трудовое ра-

бочее житье и крепко жалеет, что не завел раньше в округе таких порядков, чтобы не истязали рабочих через силу неимоверной работой, как и закон требует. Легче было бы тогда ему кули-то таскать... Ну, да что теперь поделаешь?.. Еле дышит бедняга.

Глядит на него хозяин, глядит да и думает: как бы с него еще чего-нибудь да повыжать. Беспаспортный ведь, с ним что хочешь, то и делай, все равно, что не человек. Остановил он его:

— Эй, братец, что-то погляжу, ноша у тебя легкая будет по силе-то. Куля, видать, тебе одного мало, тащи зараз два!

Обалдел заседатель.

— Батюшки,— завопил он.— Куда мне два куля-то, я и под одним света не вижу!..

— И не надо, братец, тебе его видеть, зачем тебе... Твое дело только кули таскать, и тащи!

— Батюшка, отец родной, помилуй!— вопил заседатель.

— Не бог я и не царь,— отвечает хозяин,— что же мне тебя миловать... Не мое это дело! Коли хочешь таскать — работай, не хочешь — убирайся!

Зло разобрало заседателя. Какая-то непонятная обида, точно за поруганное человеческое достоинство, охватила его, защемила в груди. Глаза его загорелись, губы задрожали.

— Христианской души в тебе нет, не лошадь я!— резко, весь дрожа, выпалил он ему сквозь стиснутые зубы.

— Души н-е-е-т! Н-н-е л-о-о-шадь! Вот погоди же, лентяй, покажу я тебе душу,— стой!— И дюжею рукою вцепился ему хозяин в загривок.

В первый раз пришлось подобное поругание на долю несчастного заседателя и он не выдержал... Вспомнил, взревел, да как толкнет купчину «под микитки», так тот и отскочил на сажень, как мяч.

Но тут-то и пошла беда. На крик хозяина выбежали все приказчики, кто с метлой, кто с дубиной, и накинулись на беднягу-заседателя. Хорошо еще, что на смерть не убили, но все же еле живого потащили к заседателю-волку.

А проклятый волк встретил его точь-в-точь, как и он встречал приводимых. Так и накинулся:

— А-а, бунтовать, мерзавец, такой-сякой сын?!— даже слова выговорить не дает.

— Ваше скородие!— взмолился заседатель, низко кланяясь,— помилуйте, не виноват я, видит бог, не виноват! По два куля тащить заставлял сразу, а после еще драться полез!

— Так тебе и надо, рррракалья!— кричит волк, топая ногами.— В каталажку его!

Точь-в-точь, как и он когда-то.

— Да погляди, ваше скородие... Я весь избит, как есть в кровь!— молвил слезно заседатель.

— Так и следует, разбойник. В каталажку!

— Отец-милостивец, да ведь закон бить не позволяет!

В первый раз вспомнил бедняга, что есть на свете закон, вспомнил только теперь. Да, солоно же ему досталось.

— Закон, а... закон, говоришь? Погоди же, покажу я тебе закон! Вот тебе закон. Вот тебе закон!— ревел волк, тузя избитого заседателя.

Вспомнил бедняга, что он сам так же «закон» показывал и, зарыдав навзрыд, опять себя проклял.

Потащили его в каталажку с морозцем да с дымком, которую он сам и выстроил... Ох, знал он ее, хорошо знал, да только не думал бедняга, не знал одного, что на себя же ее и выстроил... Знай только, да он бы ее дворцом сделал. Ну да что теперь! Плачет он, плачет, себя клянет, а на волка не ропщет. За что? Сам виноват.

И сидит он день, сидит другой, в холоде да в голоде. Ни маковой росинки за два дня во рту не бывало... Посадили его в «секретную», так что другие арестанты, им же посаженные, и делиться с ним не могли. Завыл, бедняга, с голоду, да и вспомнил, что арестантам кормовые полагаются. Вспомнил, обрадовался, побежал сейчас к дверям и зовет сторожа Кондрата...

— Так и так,— говорит ему,— кормовые мне, потому — по закону полагаются!

Тридцать лет служил Кондрат при каталажке сторожем, а не помнит ни разу, чтобы арестанту деньги выдавались. Пошел к волку.

Прибежал волк с пеной у рта, даже дрожит весь, слова вымолвить не может. Только и кричит одно: кор... кор... кор... да задыхается... Наконец выговорил:

— Задай-ка ему Кондрат кормовых, да со всего маху, как и при нем это заведено было. На всю неделю, кажись, должен бы сытым остаться!

Даже слова не выговорил бедняга, только рукой махнул.

Сидит он дальше, все сидит, и хотел было уже волка звать, да не может... По условию в лес выйти надлежало, на то самое место, где уговор был. Отощал бедняга, живот подвело, кости выперло, а глаза под лоб ввалились. Так и помер бы, не сиди он теперь в «общей», где им же посаженные арестанты с ним хлебом делились, что родные носили. Только этот хлеб опять-таки ему в горло не шел: больно уж арестанты заседателя бранили, на его голову всякие беды звали, лютым прозвали. Чувствовал заседатель, что они правы и не потянулась его рука за их хлебом. Вот где отозвались ему людские слезы!

И стал он со слезами Кондрата просить, чтобы тот его выпустил. Помнил, что Кондрат при нем всецело этим заведывал, значит, по условию с волком и теперь так должно быть. Позвал Кондрата, тот не перечил, только денег запросил.

— Да ничего нету у меня, милостивец!— взмолился несчастный заседатель.

— А нет ничего, так и сиди!

Точь-в-точь, как при нем. И еще раз проклял себя заседатель. Надоела ему жизнь хуже горькой редьки. Сделал он петлю, да и давай вешаться. Но Кондрат не допустил.

— Не смей, — говорит, — это не полагается!— И зуботычину еще дал.— Ишь, что выдумал!

Однако сжалился над ним.

— Неужто,— спрашивает,— у тебя родни-то никакой нету, чтобы выпустить тебя могли?

— Нет, ни душеньки нет!— ответил заседатель.

— Правда, беспаспортный... С тебя, видно, не выжмешь много... Давай все то, что ни есть на тебе, да иди себе с богом... Милостив я к тебе!

— Да в чем же я пойду?— удивился заседатель, а Пахом дал ему платье все новое, хорошее.

— Есть у меня старая пестрядь, дам тебе... Все же прикроешься!— ответил Кондрат.

Вздохнул заседатель, а ни слова не сказал, потому узнал свои порядки. Скинул зипун, рубаху, сапоги, порты — все новехонькое, что Пахом подарил, надел рваную пестрядь и пошел.

Шел он, шел, и набрел на прииск, а там как раз рабочих нанимали. Стал наниматься и он, и задатка, как водится, потребовал. Приняли с охотой, да, как беспаспортному, сейчас полцены и сбавили. Дали бутылку водки пополам с водой, зипун, рубаху, сапоги и приказали за это в получении ста рублей расписаться.

— Как сто рублей?— всплеснул заседатель руками.— За все это вместе самая красная цена десять рублей будет.

— Твоя воля,— отвечают ему,— не хочешь, не бери, ступай себе с богом, откуда пришел!

Что было делать?! Не помирать же с голоду! Расписался заседатель и снова клясть себя стал, что заводил и поддерживал такие порядки на приисках, вопреки закону.

Живет он день на прииске, живет другой, еле дышит. Работа как есть каторжная, а кормят всякою падалью, да и то впроголодь. Невмоготу стало бедному, и, как на грех, вспомнил он третий раз про «закон». До сих пор он никаких законов знать не хотел, а тут вспомнил. Вспомнил, что закон запрещает кормить падалью и изнурять работой, да и стал это вслух высказывать. «Так и так, мол, братцы, есть такой закон, наверное знаю...»

Слушают ребята, что такой закон есть и радуются, слава тебе, господи!— кричат.— Только, слышь, наверное ли знаешь?— допрашивают. Богом клянется заседатель, а вокруг него куча все растет, да растет. Такой гам пошел, что и сказать трудно, только и слышно было: «Закон, закон, закон!»

Услыхал это страшное слово управитель прииска, побледнел от страха, задрожал весь, да шасть за волком, а волк тут как тут.

— Что у вас здесь такое,— спрашивает,— бунтовщики?

— Закона хотим!— кричит ему толпа,— закон подавай!

Даже затрясся волк...— А-а, канальи... лентяи, пьяницы анафемские... закона захотели! Кто вам про закон наговорил?

Выдвинула толпа бедного заседателя. Как увидел его волк, так даже зубами заскрипел.

— Зачинщик! Бунтовщик! Кандалы!

Заковали бедного заседателя и повели в острог под конвоем. Не плакал он, не убивался теперь и не клял себя, а только каялся. Каждому встречному низко кланялся и прощения просил.— Великий я,— говорит он всем,— грешник! Простите православные!— И народ его прощал.

Долго ли, коротко ли сидел он в остроге, но таки в конце концов вышел, бог его знает как.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Постарел бедняга, осунулся, а все еще жить ему хочется. Опять выручил его Пахом, накормил, одел и дал ему в долг лошадь.

— Разживайся,— сказал,— с нею... С лошадью-то скорее, легче... Разживешься, отдашь.

Ходит заседатель с лошадью в извоз, возит, что все рабочие люди возят. И сам сыт и лошадь его сыта, да и Пахому долг выплатил. Ожил он, повеселел, на мир божий стал глядеть любовно. Людям радовался, свету божьему. Что-то новое теплое, мягкое, человеческое стало просыпаться в его холодной груди, какой-то луч живого света проник в его сердце. Ни корысть, ни жадность, ни злоба не мучили его, не терзали его. Вставал он с солнцем, с солнцем ложился и свято соблюдал святую заповедь: трудиться и «в поте лица добывать хлеб свой». И люди его любили, и он их любил.

Только и стрясись над ним новая беда! В одну злую ночь, бог весть как, угнали у него лошадь.

Обезумел бедняга и побежал к волку.

— Так и так,— докладывает,— ночью у меня, ваше скородие, лошадь угнали!

— А мне,— говорит волк,— какое дело, что у тебя лошадь угнали? У меня своих делов, братец, много и без твоей лошади.

— Да ведь она у меня единственная, ваше скородие!

— А хоть бы и вторая,— отвечает нахально волк,— мне-то что: ступай, ищи себе воров.

Вышел бедняга, краше в гроб кладут. Только догоняет его Кондрат.

— Эй ты, слышь!— кричит,— найдется лошадь-то, только не скупись! У нас,— говорит,— все воры наперечет.

Знал это заседатель, ох, твердо помнил!

— Нету у меня, голубчик, ничего, ни алтына!— ответил он, плача и напрасно шаря в карманах.

— Нет, так и лошади нет,— ответил Кондрат и пошел прочь.

Зарыдал заседатель... Последняя надежда, единственная опора отнята. Хватил он себя руками по бокам и грохнулся наземь... Лежит, лежит бедняга, и от горя совсем обезумел. Поднял голову, осмотрелся вокруг, вспомнил, что воров по кабакам ищут, да и шасть в кабак. Сел там, смотрит, а добрый сосед и поднеси! Вышел заседатель, как-будто полегчало... Заложил зипун, выпил еще, точно еше легче стало. Еще и еще, да так и пошло с тех пор...

Пропил все, а там и стал пьяницей. Только протрезвится, сейчас первая дума: где денег на водку взять. Так и не выходит из кабака ни днем, ни ночью, все туда носил, что ни найдет, ни заработает. Сам ходил босой, хмурый, немытый, и всяк, кто ни встретит его, кричит ему одно: пьяница! Станет он людям горе свое выкладывать, как он хлеб зарабатывал, как жил трудясь, да с беды только, с горя-несчастья в кабак забрел и запил, а люди ему в ответ только одно: пьяница! пьяница! пьяница!

И вот раз, среди такого беспробудного пьянства, пришла ему в голову странная мысль: зачем он живет на свете? Пришло как-то невзначай и он даже улыбнулся себе на вопрос: «зачем»? Что в ней, в такой жизни? Беда, горе лютое, один позор и больше ничего. Ни людям, ни себе! Хотел он жить человеком, не выгорело!

«Нет, баста!— решил заседатель,— довольно... пойду к волку».— И пошел.

Стояла теплая летняя ночь. Звезды горели ярко в темном, почти синем эфире. Высокие кедры качались и навевали сон. Все спало, все говорило о безмятежном тихом покое. Захотелось такого мира и покоя заседателю и стал он кликать волка.

— Волк, волк, волк!

Прибежал серый волк, засверкал глазами, защелкал зубами, но заседатель уже его не пугался.

— На, бери ее, эту жизнь!— сказал он спокойно волку.

— Что, аль невмоготу?— ехидно спросил волк.

— Невмоготу.

— Солоно, чай... Смерть лучше?

— Лучше!— ответил заседатель.

Волк открыл свою страшную пасть...

Но тут заседатель проснулся под старым кедром, как заснул с вечера. Стряпчий и доктор еще храпели. С невыразимым изумлением осмотрелся он вокруг, ощупал себя и вдруг рассмеялся:

— Так это сон!— заливался он в восторге.

Говорят, что с тех пор он стал гнать волков и помогать людям.

Впрочем, иные утверждают совсем наоборот.

Евг. БАНДО

СИБИРСКИЙ МАСШТАБ

На Сибирском континенте, равном по территории всем Соединенным Штатам Америки, идет невиданное по размаху и своей значимости конструирование страны будущего.

Вчитаемся в директивы XXIII съезда ленинской партии по новому пятилетнему плану, выделим то, что относится к восточным районам страны и сравним с прошлым. И мы увидим, как укрепляются позиции Сибири в общественном разделении труда. В производстве электроэнергии на долю восточных районов в 1940 году приходилось лишь 9,2 процента общесоюзной выработки, в 1965 году — 25 процентов, в 1970 году будет 28 процентов. А это значит, что здесь будет произведено в 1970 году примерно столько же электроэнергии, сколько дали все электростанции Советского Союза в 1958 году. Алюминий, целлюлоза на востоке страны в 1940 году совершенно не производились, в 1965 году выпущено 35 процентов алюминия, 10 процентов — целлюлозы и картона, а к концу семилетки здесь будет сосредоточено 65 процентов выпуска алюминия, 28 процентов — целлюлозы, 31 процент — картона. Возрастет удельный вес восточных районов в производстве угля, цветных и черных металлов, нефти и природного газа. Таков сибирский масштаб роста.

Как и во всей Сибири, в Приангарье, Прибайкалье, Лено-Витимском крае идет грандиозное обновление и переустройство. И масштаб его тот же — сибирский.

В проектах и производственных планах предприятий строящихся, вводимых, действующих — счет идет на многозначные числа: миллиарды, миллионы, сотни тысяч.

Попытаемся расшифровать некоторые из цифр в свете тех новых больших задач, которые встают перед трудящимися Иркутской области в новом пятилетии.

Иркутская энергосистема заняла первое место в нашей стране. Одна Братская ГЭС со дня пуска первых агрегатов дала стране больше 50 миллиардов киловатт-часов электрической энергии.

В новом пятилетии идет подготовка к строительству третьей ступени Ангарского каскада — Усть-Илимской ГЭС, почти равной по мощности Братской.

В наши дни уже признается наивным, неубедительным сравнивать производство электроэнергии одной Иркутской области с тем, что давала энергетика всей дореволюционной России. Уже сейчас Иркутская область по выработке электроэнергии находится в одном ряду с пятнадцатью государствами земного шара, имеющими наибольшее ее потребление. По выработке электроэнергии она опережает такие государства, как Австрия, Чехословакия, Индия, Япония. В 1970 году на долю Иркутской области придется 30 процентов проектируемой общей выработки электроэнергии всей Сибири.

Когда же наберут полную мощь Братская ГЭС, тепловые электростанции и к ним присоединится Усть-Илимская ГЭС, Иркутская энергосистема будет конкурировать с крупнейшими энергосистемами мира.

В годы семилетки создана Единая энергетическая система Центральной Сибири. Ее линии напряжением 500 и 200 тысяч вольт протянулись от Кемерово и Омска на западе, до Улан-Удэ на востоке. От Братской ГЭС проложено 12 линий высоковольтных электропередач общей протяженностью более четырех тысяч километров. В новом пятилетии будет строиться сверхдальний и сверхмощный «электрический мост» на напряжение в полтора миллиона вольт для передачи электроэнергии Сибири за Уральский хребет. Его главной опорой, регулятором нагрузок так же останется Приангарье.

Для народного хозяйства области обилие, да еще дешевой электроэнергии (а в Приангарье она самая дешевая) — это основа ускоренного развития таких важнейших отраслей промышленности, как алюминиевая, химическая, электрометаллургия черных металлов; это электровозы; это сплошная электрификация сел с механизацией тяжелых процессов труда. А в сумме — новый, еще более ощутимый скачок в развитии производительных сил.

Для Иркутской области он выражен соотношением семь к пяти. Это значит,— за пятилетие предстоит освоить столько же средств на капитальное строительство, сколько было освоено в истекшую семилетку. А за семь лет в народное хозяйство области вложено пять миллиардов 660 тысяч рублей. Значит, столько же нужно сделать за пять лет.

Производство валовой продукции должно удвоиться. Это значит,— предстоит выдать продукции примерно на 24 миллиарда рублей. В первую пятилетку примерно такой же цифрой определялась выработка продукции всей Российской Федерации. Сегодня все убеждены в реальности планов. Щедрость природы, сила индустрии Приангарья, трудовой героизм сибиряков не оставляют в том ни малейших сомнений.

Вслед за энергетикой, первое место займет алюминиевая промышленность. И это понятно. Производство алюминия самое энергоемкое, потребность страны в нем быстро растет. И Приангарье становится одним из основных районов страны по выпуску этого металла. Первая очередь Иркутского алюминиевого уже в строю действующих. После завершения строительства по мощности он примерно в десять раз превзойдет первенца алюминиевой промышленности страны — Волховский алюминиевый завод.

Рядом с цехами электролиза на площади в 11 гектаров в Шелехове сооружается еще одно мощное предприятие — «Иркутсккабель». Завод вольется в общий комплекс и рассчитан на ежегодный выпуск из местного металла 35 тысяч кубометров кабеля и сотни тысяч тонн голых проводов. За 14 месяцев завод будет выпускать столько кабеля, что им можно опоясать по экватору земной шар, а годичной продукции кабеля достаточно для прокладки трех линий связи через весь Советский Союз, да еще дополнительной линии Иркутск—Москва.

Но так же как Иркутская ГЭС после пуска Братской оказалась станцией средней мощности, Братский алюминиевый завод вскоре превзойдет его во много раз. Уже к 50-летию Великого Октября строители завода обязались удвоить выпуск металла. Но это будет лишь шестая часть производства.

Два завода Приангарья уже к концу пятилетки выведут Иркутскую область на первое место в Советском Союзе по производству «летучего металла». И это солидно укрепит позиции нашей страны в мировом производстве алюминия.

Основная база крупнотоннажного производства химической и нефтехимической продукции создана на

площадке Ангарск—Усолье-Сибирское. Лишь в истекшую семилетку выпуск продукции в этой отрасли промышленности Приангарья увеличился в 6,8 раза. Сравним: в целом по РСФСР за семь лет выпуск продукции в химической промышленности увеличился в 2,3 раза.

Миллионы тонн сырой нефти, идущей по подземной магистрали из Башкирии, поваренная соль Усолья-Сибирского, черемховский уголь, прибайкальские известняки, ангарский гипс превращаются в высокооктановые бензины, каустическую соду, битум, нефтяные масла, дизельное топливо, карбид кальция, полихлорвиниловые и мочевино-формальдегидные смолы, карбамид и многое, многое другое. Больше 150 наименований в номенклатурном перечне продукции предприятий Ангаро-Усольского комплекса.

Минеральных удобрений для сельского хозяйства, например, сейчас в Приангарье производится больше, чем потреблялось минеральных удобрений перед первой мировой войной в сельском хозяйстве всего земного шара. Это колоссальное богатство, если учесть, что каждая тонна удобрений повышает урожайность зерновых на 3—4 центнера с гектара.

Флагману химии и нефтехимии Приангарья Ангарскому ордена Трудового Красного Знамени нефтехимическому комбинату нет и полутора десятков лет. Выросший со сказочной быстротой, он стоит ныне в ряду крупных и самых совершенных химических предприятий страны.

Быстро набирает мощности и расширяет номенклатуру выпускаемой продукции химический комплекс Усолья-Сибирского — второе звено большой химии Приангарья.

Всего два слова определили задания пятилетки химикам и нефтехимикам Ангаро—Усолья: увеличить мощности. А за ними десятки новых корпусов со сложными технологическими линиями, создание и освоение новых производств. Только нефтехимики Ангарска намечают построить за пять лет 46 крупных промышленных объектов.

Вот одно из строящихся предприятий: Ангарский завод химических реактивов. Он один рассчитан на выпуск 960 наименований продукции, в том числе около 450 редчайших реагентов, которые завод сможет выпускать по заказам ученых или производственных лабораторий.

Или еще одно предприятие, тоже широкой номенклатуры (более 50 наименований): завод по производству товаров народного потребления. Коллектив нефтехимического комбината включает в свои предложения к плану строительство новых сложных установок и, ко всему, начало работ по сооружению второго нефтеперерабатывающего завода.

Весьма перспективно еще одно предложение: создание нового звена химии Приангарья — завода фосфорных удобрений. Уже есть все необходимое, чтобы начать его проектирование и строительство: сырье — большие запасы Тыретского и Зиминского месторождений соли, Белозиминского месторождения апатитовых руд; электроэнергия и прекрасная площадка.

Никто не оспаривает высокой экономической эффективности лесохимии. Она очевидна. Но Приангарье первым прокладывает дорогу к крупномасштабному и подлинно комплексному использованию древесины. Здесь зародился новый тип такого предприятия — лесопромышленный комплекс. Это такое предприятие, на котором десятки заводов и производств объединяются единым технологическим процессом, обеспечивающим полное и высокоэкономичное использование древесины. Один из них — Братский — уже в строю действующих, строительство второго — Чунского — начинается в текущей пятилетке. Одно из чрезвычайно важных их преимуществ — использование леса всех пород и любого возраста, в том числе так называемой дровяной древесины, отходов лесопиления и деревообработки, даже пней, остающихся после вырубки леса.

Братский ЛПК первоначально проектировался на переработку в год около четырех миллионов кубометров леса. Это программа целого лесозаготовительного комбината. Сейчас он строится на 6,6 миллиона кубометров. А проектировщики предлагают на этом же ЛПК нарастить такие мощности, чтобы ежегодно перерабатывать по 8—9 миллионов кубометров леса.

Главное предназначение Братского ЛПК — производство так называемой кордной целлюлозы, идущей на изготовление сверхпрочных покрышек для шин самолетов и автомашин. Ее ЛПК будет давать в год 200 тысяч тонн. Второй его поток рассчитан на выпуск 280 тысяч тонн картона. Скажем, что это больше, чем производила картона вся наша страна к концу семилетки. А кроме того, здесь же одновременно будут производиться кормовые дрожжи и бумага, древесно-волокнистые плиты и другая лесохимическая продукция.

Теперь есть прочная энергетическая база, созданы крупные узлы строительной индустрии, выросли, обрели богатейший опыт строительные и монтажные коллективы ордена Ленина «Братскгэсстроя», городов Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Иркутска. Активно помогает развитию производительных сил научный центр Сибирского отделения Академии наук СССР с восемью институтами. В области есть теперь около 20 научно-исследовательских и проектных институтов.

И все же чем больше масштабы вовлечения в хозяйственный оборот естественных ресурсов, тем острее, злободневнее становится проблема бережного, хозяйского к ним отношения. Мы не можем, не должны закрывать глаза, молчать, когда видим несоразмерные потери, утраты того, что мы называем сырьем. В заботах о будущем сибиряки обязаны более разумно и расчетливо эксплуатировать лесные и водные ресурсы, залежи недр и еще в большей мере энергию, труд создателей новой Сибири.

Ни для кого не составляет секрета, что бездумное и безответственное отношение к водоемам привело уже к загрязнению многих, еще недавно богатых рыбой рек. Горькая судьба одной, воспетой в песнях, Бирюсы — печальный, но, к сожалению, далеко не единственный тому пример. А гидролизникам Бирюсы ничего не стоит враз спустить в реку столько отходов, что потери погибшей рыбы не восстановить годами. И за подобные явные преступления ответственность часто символическая: акт, в лучшем случае штраф за счет предприятия. Говорят, заводу выгодно заплатить штраф за спуск неочищенных вод, чем остановить производство для устранения поломок. Возможно, заводу выгодно, а государству? И не идут ли на сделку со своей совестью инспекции, органы прокуратуры и суда, когда либерализмом своим потакают таким хозяйственникам.

В последние годы, пожалуй, ни о чем другом не писалось и не говорилось столь остро, заинтересованно и, самое главное, обоснованно, чем об угрозе, нависшей над священным Байкалом в связи со строительством на его берегах и на его притоках целлюлозных предприятий. Пока есть лишь небольшой успех в этой борьбе за чистоту вод Байкала: очистные сооружения на Байкальском целлюлозном заводе более совершенны, чем на других однотипных предприятиях. Но и они сулят мало утешительного: никто — ни проектировщики (Сибгипробум), ни эксплуатационники уже действующего завода — не гарантируют полную очистку стоков. Совершенно бесспорным должно быть одно: пока не будет обеспечена полная гарантия сохранности пер-

созданной чистоты вод Байкала, ни у кого не может быть успокоенности. Борьба за чистоту священного моря не должна прекращаться. И здесь не может быть ни послаблений, ни отступлений. Обязательной составной частью ее должна быть действенная заинтересованность всех в успешном решении этой острой и злободневной проблемы. А это значит, что ученые и исследователи, проектировщики и эксплуатационники обязаны отыскивать наиболее эффективные средства очистки сточных вод.

С такой же страстью и настойчивостью нужно сосредоточить усилия на охране чистоты вод, нерестилищ в многочисленных реках, впадающих в Байкал и Ангару.

Теперь уже стало фактом, что знаменитый байкальский омуль исчезает. Многочисленные научные исследования убедительно подтверждают: для сохранения и воспроизводства омуля требуются жесткие правила, в том числе и для лова рыбы. Формально они есть. А на практике? Вместо увеличения ячеи неводов и сетей, чтобы максимально сократить вылов молоди, рыбопромышленные тресты, наоборот, год от года сужают ее. Молодь истребляется, все более сокращая базу воспроизводства омулевого стада. Есть закон, категорически запрещающий лов рыбы, идущей на нерест или возвращающейся с нереста (так называемый покатный омуль). Но рыбопромышленники и здесь находят лазейки, направляя ежегодно к устьям нерестовых рек целые экспедиции. И как ни досадно, все это делается либо с молчаливого согласия, а порой и по охотным разрешениям инспекции, призванной пресекать подобное хищничество, хотя бы и прикрываемое громкими фразами о государственном плане.

Здесь потери, утраты исчисляются так же десятками тысяч. Две цифры. Было время, когда в Байкале вылавливалось в год до 100 тысяч центнеров омуля. Теперь улов его не превышает в год 30—40 тысяч центнеров. Они, эти цифры, вопиют. И нет более правильного решения, кроме одного, уже давно рекомендованного работниками науки,— признать воспроизводство омуля первоочередной и главной задачей всех рыболовецких, рыбоохранных, рыборазводных хозяйств на Байкале, вплоть до сокращения на какой-то период планов вылова омуля. Придет время и это сторицей возместит щедрый Байкал.

Неоспорим прогресс в более рациональном использовании лесов Приангарья и Прибайкалья. Расширение сети и увеличение мощности лесопильных, деревообрабатывающих предприятий, создание крупнейших лесопромышленных комплексов, развитие гидролизного производства повышают экономическую эффективность лесоразработок и переработки древесины. И все же как еще не расчетливо, бесхозяйственно используются у нас дары «зеленого океана».

В лесных железнодорожных маршрутах и сейчас преобладает перевозка круглого леса (75—77 процентов). И в этом колоссальный ущерб государству. Из каждых 100 вагонов, везущих необработанную древесину, только 53 загружены пригодным в дело материалом. Что же везут остальные? 27 вагонов доставляют горбыль и обрезки, 12 — кору, будущие опилки, стружку, щепу. 8 вагонов везут воду. Только транспортные расходы на перевозку отходов составляют в год около 180 миллионов рублей.

Но и это далеко не все потери. Если же отходы использовать для химической переработки в районах заготовок леса, государство получило бы дополнительно еще 150—180 миллионов рублей дохода.

Подсчитано, что затратив один рубль на заготовку леса, можно при переработке на строительные детали получить продукции на 1 рубль 20 копеек, а при химической переработке — на 3—5 рублей.

А сколько отходов лесопиления и деревообработки бесполезно гибнет и сейчас на предприятиях нашей области? Каждый, кто едет железной дорогой, видит горы опилок, горбыля, срезок, щепы, стружек. Ими засыпают болота, овраги, их сжигают. Еще больше потерь дает так называемая дровяная древесина. А ведь это весьма ценное сырье для химической переработки.

Большой урон ежегодно наносят лесные пожары.

Устранить эти потери — значит дать народному хозяйству дополнительные десятки, сотни миллионов рублей дохода.

Все острее становится проблема перебазирования лесозаготовок в северные районы области, более разумного размещения химлесхозов, леспромхозов, деревообрабатывающих предприятий. Уже давно известно, что в районах, прилегающих к Транссибирской магистрали, леса истощены, что в них рубка ведется сверх допустимых норм, а лесовосстановительные работы очень отстают, планы по восстановлению лесов ежегодно не выполняются.

Да и в перебазировании на север нужны более глубокие экономические обоснования. Разумно ли, например, почти удваивать мощности Братского ЛПК, строить почти рядом еще Чунский ЛПК в расчете, что часть древесины будет доставляться из зоны будущего водохранилища Усть-Илимской ГЭС? Видимо, правы те, кто считает, что лучше создавать самостоятельный лесопромышленный комплекс в районе Усть-Илимской ГЭС. И решить это нужно уже сейчас, чтобы не повторять просчетов и ошибок, допущенных в свое время при очистке ложа водохранилища Братской ГЭС.

В нашей области слишком медленно и нерешительно идет поиск алюминийсодержащего сырья. Речь идет о китойских силлиманитах. Мешают в поисках ошибки, просчеты, слабая заинтересованность проектных и научных организаций, в частности Всесоюзного алюминиево-магниевого института (ВАМИ) и его Иркутского филиала. На Иркутском алюминиевом заводе был построен и пущен первым экспериментальный электротермический цех по производству силумина. В его проекте была заложена усложненная и весьма неэкономичная технология. Эксплуатация цеха приносила убытки. Руководство бывшего Иркутского совнархоза и ВАМИ, вместо поисков наилучших технических и экономических решений, избрали более легкий путь: законсервировали цех. Миллионы рублей убытков плюс оттяжка в решении проблемы электротермического способа получения очень нужного стране металлического сплава — силумина — вот та дорогая расплата за просчеты ВАМИ.

Алюминиевое производство в Иркутской области, с его огромным размахом, требует объединенных энергичных усилий работников науки, геологов и производственников в ускоренном решении проблемы местных сырьевых ресурсов для Иркутского и Братского заводов.

Упорно и настойчиво нужно работать над полным использованием естественных ресурсов, над сокращением непроизводительных издержек производства, потерь и утрат от бесхозяйственности, технической отсталости. Необходимо заботиться об охране природы, о восстановлении равновесия естественных богатств: лесонасаждение и разумная, научно обоснованная эксплуатация лесов; рыборазведение и научно обоснованный промысел рыбы; охрана Байкала и рек от загрязнения, поиск и ввод в эксплуатацию новых более экономичных источников сырья.

И все это в сочетании с наращиванием мощностей промышленности, созданием новых энерго-промышленных баз и районов, с неукоснительным выполнением величественных задач, определенных XXIII съездом КПСС.

И. В. ПАРАМОНОВ,
Герой Социалистического Труда

ЧЕРЕМХОВО, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ[1]...

В несгораемом сейфе управляющего Черембасстрестом я неожиданно, и к большой своей радости, обнаружил собственноручно написанное В. И. Лениным письмо, присланное черемховским углекопам в 1920 году.

С волнением читал я этот документ.

Письмо было на бланке Председателя Совета Народных Комиссаров. Вот его содержание.

«15.IX.1920 г.

Главному правлению каменноугольных копей Восточной Сибири.

Для рабочих копей, а равно и технического персонала их.

Дорогие товарищи! От всей души благодарю вас за приветствие ваше от 2 августа 1920 г., переданное мне т. Ив. Як. Ильиным. Беседа с т. Ильиным об энергичной работе на Сибирских копях и его сообщение о постепенном росте сознательной дисциплины трудящихся (которые трудятся отныне не на капиталистов, а на себя) доставили мне огромную радость.

Особенно дороги в вашем приветствии, товарищи, чувства глубочайшей уверенности в полной и окончательной победе Советской власти над помещиками, капиталистами и всяческими эксплуататорами, а также непреклонная твердость и решимость преодолеть все препятствия и трудности. Именно в этой твердости рабочей, трудящейся массы, я, как и всякий коммунист, черпаю уверенность в неизбежной мировой победе рабочих и рабочего дела.

С коммунистическим приветом и пожеланиями быстрейшего успеха горячо преданный вам

В. Ульянов (Ленин)»[2].

Письмо, конечно, не возвратилось больше в несгораемый шкаф. Оно было вывешено на видном месте, как напоминание всем нам о великом долге, как боевой ленинский призыв.

Письмо В. И. Ленина побудило меня обратиться к революционному прошлому Черемхово. Старожилы обычно начинали свои рассказы воспоминаниями о первых днях, месяцах и годах революции, ибо до осенних дней двадцатого года, когда горняки Черемхово заслужили добрую похвалу Ильича, они прошли путь большой и нелегкий.

Много волнующих страниц черемховской истории узнал я еще до приезда в Черемхово от А. Н. Буйских, первого председателя Черемховского Совета.

С Буйских мне пришлось встречаться неоднократно, сначала в Новосибирске, в Кузбасстресте, где он одно время был управляющим Кольчугинским и Горловским рудоуправлениями и трестом Сибсоль при Сибпромбюро. Я слушал его рассказы о событиях 1917—1920 гг. и его жизненной «Одиссее» — скитаниях по миру и работе каменщиком, печником, шахтером на Урале, на Кавказе, в Анжерке, Сучане, Чите, Сихотэ-Алине, Черемхово и ряде других мест; побывал он также в Персии, Японии и Китае. Приезжал Буйских при мне в Черемхово в 1927 году и выступал на собраниях рабочих с воспоминаниями о борьбе черемховских шахтеров за Советскую власть.

Из воспоминаний Буйских, а также других товарищей, вырисовывалась яркая картина героической революционной борьбы черемховских горняков за Советскую власть и восстановление народного хозяйства.

В 1917 году на копях Черембасса скопилось много политических ссыльных. С получением в марте известий о свержении царского самодержавия черемховские шахтеры арестовали жандармов и урядников.

Летом 1917 года в Черемхово осела группа анархистов из числа возвращавшихся из Америки через Дальний Восток эмигрантов. Анархисты пользовались довольно сильным влиянием. Они стали руководить Советом и профсоюзами. Вот тогда-то председателем Черемховского Совета и был избран анархист Буйских — «революционный синдикалист», как он сам называл себя.

В конце октября 1917 года в Черемхово собрался уездный земский съезд. На этом съезде эсеры, меньше-

[1] Глава из книги «Пути пройденные», выпускаемой Политиздатом.

[2] В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 390.

вики, попы, торговцы и деревенские кулаки открыто потребовали роспуска Черемховского Совета рабочих депутатов. Буйских был арестован.

Весть об аресте председателя Совета облетела копи. Загудели тревожные гудки. Рабочие двинулись к Совету. Узнав, что Буйских увезен на станцию для отправки в Иркутск, рабочие Щелкуновских копей и механического завода двинулись к вокзалу. Конвой, охранявший Буйских, просил шахтеров не препятствовать его отправке в Иркутск. Ждали подачи вагонов. В это время с шахт явилась Красная гвардия. Конвой разбежался. Буйских направился в Совет, где собралась большая группа рабочих. Был экстренно созван пленум Черемховского Совета, принявший постановление о роспуске земского собрания, исключении из состава Совета эсеров и меньшевиков, аресте офицеров гарнизона, разоружении солдат и передаче оружия Красной гвардии.

Затем Буйских явился на земский съезд и объявил о его закрытии. Контрреволюционных главарей арестовали, милицию и солдат гарнизона разоружили. Солдаты перешли на сторону Совета.

Красная гвардия в Черемхово начала формироваться под руководством Буйских еще в дни корниловского мятежа, когда Черемховский Совет решил 29 августа 1917 года создать революционные батальоны для посылки в Петроград на борьбу с контрреволюцией. Каждая копь создавала по отряду Красной гвардии.

В декабре 1917 года произошло контрреволюционное восстание в Иркутске. Председатель Центросибири (Центральный Исполнительный Комитет Советов Сибири) Борис Шумяцкий прислал с нарочным письмо председателю Черемховского Совета с просьбой немедленно выслать в Иркутск Красную гвардию. Семь эшелонов гвардии направились в Иркутск. Многие копи были остановлены, остались только охрана и рабочие, занятые на водоотливе.

Прибывшие в Иркутск более двух тысяч черемховцев под прикрытием тумана перешли Ангару по понтонному мосту и вступили в бой.

Вслед за черемховцами в Иркутск прибыли и другие подкрепления, в том числе отряд красноярских рабочих, в котором находился прапорщик Сергей Лазо, позднее ставший легендарным командиром советских войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

17 декабря, после девятидневных боев, контрреволюционеры решили сложить оружие и начали переговоры о перемирии. Красным частям нужна была хоть небольшая передышка. 20 декабря был подписан мирный договор о создании в Иркутске коалиционной власти — от народных социалистов до большевиков. Черемховские шахтеры, красноярские и иркутские рабочие, канские и иркутские солдаты считали такой мир поражением и предъявили штабу офицеров, казаков и юнкеров ультиматум: «В течение двадцати четырех часов безоговорочно признать власть Советов, произвести полное разоружение, сдать оружие и безоговорочно демобилизоваться». Ультиматум был принят. Власть в Иркутске полностью перешла в руки Советов. Комендантом города был назначен Сергей Лазо, комиссаром по военным делам Борис Шумяцкий. Над Белым домом, бывшим губернаторским, снова взвился красный флаг революции.

Вернувшись к мирному труду, черемховские шахтеры добились больших успехов на угольном фронте. Черемховские копи в 1917 году дали рекордную добычу угля: 1290 тыс. пудов.

С установлением Советской власти в Черемхово стал остро вопрос об организации управления копями. Анархисты в декабре 1917 года «социализировали» все копи и предприятия Черемховского бассейна. Национализация копей, предлагавшаяся большевиками, была категорически отвергнута, Черемховский Совет третьего января 1918 года своим постановлением установил, что «хозяином копей являются рабочие в лице Совета рабочих депутатов, а на местах — в лице рудничных комитетов. Национализация рудников и заводов недопустима».

Создав рудничные комитеты для управления копями, анархисты решили закрыть профсоюз. Они говорили:

— Теперь рабочие являются хозяевами черемховских копей и им профсоюзы не нужны.

Черемховский Совет и рудничные комитеты организовали свое особое государство в государстве. Они в демагогических целях втрое увеличили ставки заработной платы шахтеров, по сравнению с оплатой других рабочих Сибири. В результате резко повысилась продажная цена на черемховский уголь. Это поставило в тяжелое финансовое положение Забайкальскую железную дорогу, вынужденную покупать уголь по взвинченной цене. Установилась анархия в худшем смысле этого слова. Избыток бумажных денег на копях привел к повышению рыночных цен на продукты питания и промтовары. Не имея своих денежных знаков, Черемховский Совет в резко ультимативной форме требовал их от Иркутского губисполкома.

Черемховские анархисты пытались распространить «социализацию» и на угольные копи Кузбасса и даже на железную дорогу. Делегация черемховских анархистов ездила на Анжерку и Судженку и вела там агитацию за захват рабочими копей под флагом социализации.

Когда же иркутские большевики разъяснили шахтерам неправильность действий Черемховского Совета и рудничных комитетов, значительная часть рабочих отошла от анархистов и присоединилась к большевикам.

На общесибирском съезде углекопов и железнодорожников, состоявшемся 11—21 марта 1918 года, завязалась острая борьба между большевиками и анархистами по вопросам о системе управления горной промышленностью и железными дорогами Сибири. На съезде присутствовали делегаты всех копей Кузбасса, Черембасса, Забайкалья и железнодорожного пролетариата Омской, Томской, Забайкальской и Самаро-Златоустовской дорог. После горячего обсуждения подавляющее большинство съезда приняло решение национализировать все горные предприятия и железные дороги Сибири, подчинив их через Центросибирь ВСНХ и Совнаркому.

В конце мая 1918 года меньшевистско-эсеровская контрреволюция, опираясь на чехословацкий корпус, начала восстание против Советской власти в Сибири. Черемховский отряд участвовал в подавлении первого выступления чехов на станции Иркутск, затем пришел на помощь красноярцам. После успешных сражений у станций Тулун и Худоеланская и двухдневных упорных боев под Нижнеудинском черемховцы под ударами превосходящих сил вынуждены были начать отступление на восток.

Второго июля началась эвакуация советских организаций из Иркутска и Черемхово. Многие черемховские рабочие, активные борцы за Советы, с семьями грузились в вагоны и уезжали на восток. Другая часть черемховцев разбрелась по деревням. Отдельные копи оставались почти совсем без рабочих. Черемхово было оставлено советскими войсками 5 июля.

Черемховские красногвардейцы с боями отступали, дошли до Благовещенска. Но в сентябре 1918 года, под ударами японцев с востока и семеновских банд из Китая и с запада, началась эвакуация и отсюда. 15 сентября 1918 года флотилия из двенадцати пароходов и восемнадцати барж, груженных оружием, про-

довольствием и войсками под прикрытием канонерской лодки была отправлена вверх по реке Зее. 18 сентября Благовещенск был захвачен семеновскими бандами, переправившимися из китайского города Сахаляна за Амуром. В тот же день у города Свободного пароходы приняли бой. С одной стороны были японские войска, с другой — белогвардейцы. Один пароход затонул вместе с ротой солдат, остальные были захвачены японцами. Последние остатки черемховцев вместе с Буйских попали в плен к японцам. Начались мучительные скитания красногвардейцев, советских и партийных работников по тюрьмам японцев, семеновских палачей в Благовещенске и Чите, колчаковских вешателей в Иркутске и барона Унгерна в Даурии.

Буйских попал в число двадцати семи человек, специально отобранных и посланных на расправу в Даурию к палачу Унгерну. Буйских еще в декабре 1917 года имел встречу с Унгерном, когда на станции Черемхово во время иркутского восстания юнкеров были задержаны ехавшие на восток три казачьих офицера и два десятка казаков. После ликвидации восстания всех задержанных в Черемхово офицеров и солдат освободили без оружия. Среди них был есаул Семенов, позднее ставший атаманом, и барон Унгерн.

— В Даурии, в тюрьме,— вспоминал Буйских,— дверь в нашу камеру открылась и начальник караула крикнул мою фамилию. Я предстал перед бароном Унгерном. Он посмотрел на меня пристально и сказал: «Это не тот. Того я знаю...» Барон меня не узнал. В Черемхово, когда задержали его, я был в солдатской форме, бритый и в пенсне, а теперь весь оброс, поседел, без очков и в арестантской одежде... У Унгерна было два решения: расстрелять, либо выпороть и освободить. Из нашей группы шесть человек были расстреляны и восемнадцать выпороты и освобождены. Освобожден был и Буйских.

Контрреволюционное Сибирское правительство аннулировало все декреты Советской власти и отменило национализацию промышленных предприятий. В Черемхово вернулись старые капиталисты, которые хозяйничали под эгидой сначала эсеровской, а затем колчаковской власти.

В это время на Черемховские копи возвратились рабочие, ушедшие в деревню, и немногие красногвардейцы. Черемховские шахтеры вели беспрерывную борьбу с эсеро-меньшевистскими, а затем колчаковскими властями. 5 октября 1918 года началась политическая забастовка черемховских рабочих с требованием сохранения восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной платы. Эсеровское руководство профсоюза горнорабочих провалило забастовку и она окончилась 12 октября поражением бастовавших.

15 декабря 1918 года Центральное правление профсоюза Черемховских копей вынесло протест против порки семеновскими войсками рабочих читинских мастерских. 2 января 1919 года черемховцы объявили экономическую стачку. Забастовки происходили затем в июне и в августе 1919 года.

В 12 часов ночи с 19 на 20 декабря 1919 года в Черемхово произошло восстание рабочих. Батальон колчаковских войск, находившихся в Черемхово, выступил на стороне восставших. Белочешские войска, стоявшие в городе, объявили нейтралитет. Колчаковские власти были арестованы. К утру 21 декабря весь Черемховский район присоединился к восставшим.

В день восстания стало известно, что идет поезд с политзаключенными, направленный из красноярской тюрьмы в Забайкалье в распоряжение атамана Семенова. Черемховская рабочая дружина под руководством И. С. Пестуна встретила «эшелон смерти» на небольшой и глухой станции Забитуй, разоружила конвой. 266 красноярских партийных и советских работников, красногвардейцев рабочих и партизан были освобождены. Освобожденные немедленно влились в ряды черемховской организации и в рабочие дружины, укрепив их ряды. Среди них оказалось большинство коммунистов. В это же время стали стягиваться в Черемхово партизанские отряды. Пестун позднее был председателем Черемховского ревкома. При мне И. С. Пестун был директором Иркутского солеваренного завода.

После восстания владельцы и часть администрации Черемховских копей разбежались. Но хозяином города еще оставалось белочешское командование. Оно захватило управление угольными копями, назначило своих управляющих.

24 декабря началось восстание в предместьях Иркутска — в Глазково, Иннокентьевской и Батарейной. Черемховцы отправили в Иркутск сильный отряд, участвовавший в боях за освобождение города. Дружный удар черемховских шахтеров, прибывший на помощь 30 декабря в самый разгар сражения, сначала отбросил солдат «дикой» дивизии головореза Семенова, а затем заставил бежать за Байкал. В течение нескольких дней восстания поднялись по всей Иркутской губернии.

Черемховским организациям стало известно, что в Иркутск направляется захваченный чехами 27 декабря на станции Нижнеудинск поезд с арестованным Колчаком и эшелон с золотым запасом. Черемховцы потребовали от чехов выдачи им и Колчака и золота. Свои требования они подкрепили угрозой остановить копи. Чехи ответили репрессиями. Черемховцы начали забастовку. На четвертый день забастовки чехи вынуждены были пойти на уступки. Они допустили вооруженных шахтеров на совместную охрану поезда с Колчаком, задержанного на станции Половина. Здесь поезд берется под охрану дружиной черемховских шахтеров во главе с Владимировым, усиленный железнодорожниками, прибывшими со станции Иннокентьевская (Иркутск-II).

Два поезда с Колчаком и золотом прибыли в Иркутск 14 января 1920 года под охраной чехов и черемховских шахтеров. Колчака, Пепеляева и их приближенных под конвоем надежной рабочей дружины, во главе с Владимировым, отправили пешком через Ангару в иркутскую тюрьму, где совсем недавно сидели тысячи борцов за Советскую власть.

Перед иркутскими большевиками стояла большая задача: спасти драгоценный поезд, состоявший из двадцати девяти полногрузных вагонов с золотом и семи вагонов с платиной, серебром и другими драгоценностями. Решено было немедленно предъявить чехам ультиматум — в течение четырех часов сдать золотой поезд. Чехи, не рискуя начать борьбу, согласились. Поезд был загнан в тупик, разобраны рельсы к тупику, у вагонов сняли подшипники, состав обнесли проволочными заграждениями и установили сигнализацию. Был выделен самый надежный караул для круглосуточной охраны. В последний момент перед сдачей поезда белочехи успели проломить стенку одного вагона и выкрали несколько пудов золота.

Черемховцы участвовали затем и в доставке в Москву «золотого поезда» в составе тридцати девяти вагонов. Здесь были также ценности, отнятые у каппелевцев и обнаруженные в иркутских банках. В. И. Ленин был очень доволен тем, что удалось отбить у чехов и отобрать у каппелевцев такие большие богатства и сказал:

— Теперь нам есть на что торговать с Европой.

7 февраля 1920 года на рассвете, по постановлению ревкома, Колчак и Пепеляев были расстреляны и их трупы сброшены в прорубь реки Ангары.

7 марта 1920 года в празднично украшенный Иркутск вступили передовые части 5-й Красной Армии,

свершившей победоносный поход от берегов Волги до Байкала.

Сибирские шахтеры Черембасса и Кузбасса, героически боровшиеся с оружием в руках за Советскую власть, вернулись к мирному труду. За короткое время они значительно увеличили добычу угля.

Если при Колчаке за первое полугодие 1919 года было добыто в Сибири 25 миллионов пудов угля, то в первом полугодии 1920 года, при крайне трудных условиях, добыча составила 29 миллионов пудов.

2 августа 1920 года черемховские горняки написали приветствие Владимиру Ильичу Ленину. Его повез к Ильичу секретарь правления каменноугольных копей Восточной Сибири Иван Яковлевич Ильин. В. И. Ленин беседовал с И. Я. Ильиным и передал с ним письмо черемховцам, которое я привел в начале главы.

Весной 1921 года горняки Черемхово вновь обратились к Ильичу. 22 апреля 1921 года на копях началась «Неделя Труда» в ознаменование первомайского праздника. «Пусть Первое Мая будет эхом недели напряженного труда»— писала иркутская газета «Власть труда». В дни «Недели» издавался специальный бюллетень «Черемховская кочегарка». Десять бюллетеней «Черемховской кочегарки» были отправлены Владимиру Ильичу. Они до сих пор хранятся в Кремле, в кабинете В. И. Ленина, в зеленой папке с надписью: «Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину от участников коллективного труда».

М. ОДИНЦОВА

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 1906 г. В ИРКУТСКЕ

(Из воспоминаний о первой русской революции)

Расстрел рабочих 9 января 1905 года в Петербурге не только эхом прокатился по всей России, но он глубоко взволновал массы народа: рабочих, солдат, крестьян. В марте 1905 года в Иркутске забастовали печатники типографии Макушина.

В Иркутске не было крупных промышленных предприятий, и рабочих было сравнительно мало. Но Иркутск был крупным торговым центром Восточной Сибири и этот расстрел нашел отклик в среде приказчиков.

В Иркутске раньше, еще в 1883 году с помощью политических ссыльных было организовано общество взаимопомощи приказчиков, имевшее прекрасную библиотеку. Рабочий день приказчиков тогда продолжался 12 часов — с 8 часов утра до 8 часов вечера без обеденного перерыва.

Приказчики забастовали и предъявили ряд требований, в том числе восьмичасовой рабочий день и перерыв на обед. Забастовка продолжалась несколько дней, и приказчики добились восьмичасового рабочего дня и обеденного перерыва.

В мае снова бастовали печатники всех типографий. Революция шла на подъем. Летом произошло восстание в Севастополе, броненосец «Потемкин» был захвачен матросами. Волновала и бессмысленная, неудачная война с Японией. Много солдат погибло в чужих землях, в Маньчжурии, потонуло в Японском море. На востоке находилась большая армия, состоявшая в основном из мобилизованных крестьян, рабочих. А связывала эту армию с Центральной Россией тонкая ниточка одноколейной железной дороги со слабыми паровозами и легкими рельсами.

Октябрьская забастовка железнодорожников 1905 года охватила и Сибирскую магистраль, сообщение между Петербургом и Сибирью было прервано, даже телеграфное сообщение было поставлено под контроль забастовщиков. Полиция стала организовывать «черную сотню». Собрание железнодорожников в Доме кузнеца по Арсенальской (ныне ул. Дзержинского) улице подверглось нападению черносотенцев. Были убиты братья Винеры.

Манифест 17 октября 1905 года не внес успокоения, собирались митинги, то в театре, то в общественном собрании (ныне музкомедия). Митинги собирали большое количество рабочих, солдат и интеллигенции. Большой популярностью на митингах пользовались выступления социал-демократов Петрова (Виктор Николаевич Охацимский) и Николая Большого (Николай Николаевич Баранский, ставший после революции большим ученым, академиком).

Николай Николаевич Баранский приезжал из Томска в Иркутск ненадолго. Бывали жаркие споры в клубе приказчиков (ныне Дом офицеров, бывший дом купца Колыгина) между эсерами, большевиками, меньшевиками. Иногда в этом клубе устраивались концерты и вечера в пользу революции.

Военный губернатор генерал Ласточкин объявил в Иркутске военное положение и запретил всякие собрания. Большевики Иркутского комитета РСДРП решили не подчиняться и назначили собрание вечером 31 декабря в школе на Детской площадке[1] под предлогом встречи нового года. Собралось человек 250[2]. Заслушали доклад, начались прения. И докладчик и ораторы сидели за столом на скамейках и стульях. Было много молодежи. Может быть, здесь следует сказать о нашем чтении, под влиянием каких книг складывалось наше мировоззрение. Придется обратиться к личным воспоминаниям.

Меня интересовали человек, человеческое общество, развитие культуры, смена общественных формаций. Еще будучи в седьмом классе гимназии, то есть шестнадцати лет, я одолела два толстых тома Бокля «История цивилизации Англии». Эта книга была популярна среди молодежи, интересовавшейся историей, но не она определила наше мировоззрение. Мы прочли Плеханова («К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»), Ленина («Развитие капитализма в России» и другие его статьи), К. Маркса («Капитал» I том, «К критике политической экономии»). Особенное впечатление произвело введение к последнему труду, работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Теория исторического материализма прочно вошла в наше сознание, поэтому мы сами отвергали идеалистические теории народников и эсеров, нашедшие свое отражение в сочинениях Михайловского, в особенности в статье «Герои и толпа».

Из художественной литературы следует указать на влияние ранних романтических произведений М. Горького: «Гордо реет буревестник, черной молнии подобный... Буря! Скоро грянет Буря!», или «А вы на земле проживете, как черви слепые живут: ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют!» Да всего и не перечислишь, читали много, следили за политикой и нелегальной литературой.

Было принято чтение вслух небольшими группами, так обычно читали газеты «Искра» и «Вперед», чтение сопровождалось обменом мнениями.

Большие идеи, заложенные в трудах основоположников марксизма-ленинизма, освещенные ярким светом романтической поэзии, захватили сознание молодежи, обыденная жизнь с ее модами, прическами, каблучками, вся эта «жизни мышья беготня» отошла прочь — молодежь потянулась к революции. Наиболее логически стройным учением о развитии человечества и пронизанным искренней любовью к людям был

---

[1] Этот дом существует и сейчас, он имеет № 54 по ул. Ленина.

[2] «Восточное обозрение», 1906, 10 января, № 7.

марксизм-ленинизм. РСДРП следовало этому учению, и молодежь потянулась в эту партию. Поэтому и на собрании на Детской площадке было так много молодежи. Часов около одиннадцати дом был окружен солдатами, в помещение вошел офицер и объявил, что все арестованы, предложил одеваться для следования в тюрьму. Он не слушал никаких возражений и пришлось подчиниться. Несколько девушек и одна женщина с явными признаками беременности (А. М. Талалаева) уговорили солдат, стоявших на крыльце, пропустить их на улицу.

Я говорила, чтобы никто не уходил. Думала, что арест большого количества молодежи произведет впечатление, а жандармам будет труднее выявить членов комитета и других крупных работников.

Мы оделись и, окруженные солдатами, двинулись к тюрьме. Мое предположение оказалось правильным. Арест на Детской площадке стал сразу же известен по телефону в общественном собрании, в клубе общества приказчиков и других местах и произвел некоторое впечатление на общественность Иркутска. Были волнения среди железнодорожников, печатников, приказчиков и учащихся. Биржевой комитет сделал большую продуктовую передачу арестованным (несколько окороков и другой снеди). Даже иркутская ультраправая дума посвятила одно из заседаний разбору этого инцидента и отправила прошение председателю Совета министров Витте об отмене военного положения[1].

В тюремный двор нас ввели через ворота, находящиеся в переулке, направо от главного корпуса, и поместили в большом деревянном бараке. Позднее мы узнали, что это была пересыльная каторжная тюрьма. В бараке были одноэтажные, широкие нары на высоте стола. Одна сторона была прикреплена к карнизу у стены и они несколько наклонно спускались к проходу. К внутренней стене примыкала большая печь с топкой из коридора. Вокруг нее были такие же нары. Между нарами — неширокий проход.

При входе в камеру нас обыскали, искали оружие, потом замкнули. Было два часа ночи, горела маленькая керосиновая лампа. Мы немного поволновались, а потом улеглись на нары, некоторые уснули, другие так, без сна, промаялись до утра.

Так мы встретили новый 1906 год.

Утром нам дали чаю и хлеба.

Мы требовали прокурора, но никто на наше требование не обращал внимания.

[1] «Восточное обозрение», 1906.

К вечеру нас перевели в другое помещение, в главный каменный корпус в нижний этаж, где условия были несколько лучше, и расположили в двух камерах.

Я шла по коридору в толпе, мои подруги потянули меня в небольшую камеру, там помещалось человек четырнадцать—шестнадцать.

Второго или третьего января нас повели к прокурору. Нам были заданы такие вопросы: фамилия, имя, отчество — Турицына Мария Константиновна, звание — мещанка, возраст — двадцать лет. В подтверждение ответов документов не требовали.

Мы все были осуждены в административном порядке: более молодые, неизвестные жандармам — на один или два месяца, старшие — три месяца заключения в тюрьме. Из нашей камеры большинство получило один месяц заключения в тюрьме.

Каждый вечер являлся начальник тюрьмы и делал поверку всех находящихся в камере и двери замыкались. Утром была та же церемония: являлся начальник тюрьмы в сопровождении помощника или другого подчиненного лица. Опять была поверка, и двери открывались до вечера. Мы могли ходить в соседнюю женскую камеру и во двор.

Двери двух женских камер и комнаты надзирательницы выходили в общий коридор, затем в небольшую комнату, в которую нам приносили ведра с супом, а затем одна дверь вела в маленький дворик, в который мы могли выходить.

В нашей камере мы выбрали двух старост, одного для ведения общего хозяйства — Е. Э. Понтович, а другого — для переговоров с тюремщиками и прокурором. Таким старостой в маленькой комнате выбрали меня. У нас была коммуна. Все передачи поступали в общее пользование. Все ставилось на стол, и староста разрезала хлеб и делила все продукты.

Из женщин нашей камеры я отмечу двух. Рядом со мной спала Софья Николаевна Громова — учительница приготовительного класса частной женской гимназии, она была сестрой замечательной большевички, соратницы Н. К. Крупской и В. И. Ленина, Громовой-Самойловой Конкордии Николаевны[1].

И еще я хочу отметить Дашу Пуляевскую — учительницу Пушкинской школы (которая была расположена на углу Русиновской и Первой Иерусалимской). Еще до ареста я знала, что около нее группировались ссыльные социал-демократы. Из них надо отметить Бокия Глеба Ивановича[1]. От них я получила первую нелегальную литературу. Лет шестнадцати-семнадцати я прочитала «Манифест Коммунистической партии» и не сразу поняла слова «класс» и «классовая борьба».

[1] Славные большевички. М., Госполитиздат, 1958, стр. 247.

Во второй камере народу было больше, человек сорок, политическим старостой там выбрали женщину постарше, уже побывавшую в ссылке. Во время разговоров с прокурором она вела переговоры, а я только поддакивала.

В этой камере собралась разношерстная публика, наряду с убежденными большевичками попали и случайные люди. Общей коммуны у них не было. В большой камере сидело несколько учениц фельдшерской школы и фельдшерицы.

Среди них находилась женщина (Дубникова?) среднего роста, с круглым, очень бледным, несколько полноватым лицом, черными большими глазами и, как мне тогда казалось, трагическим ртом. У нее был глубокий, низкий голос. Вечерами, когда нас замыкали по камерам, она иногда пела песни того времени, полные революционного гнева или острой печали. Она подходила к окошечку двери, и ее низкий голос раздавался по коридору, и было хорошо слышно ее пение...

Как дело измены, как совесть тирана
  Осенняя ночка черна...
Черней этой ночи встает из тумана
  Видением мрачным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво;
  В ночной тишине, то и знай,
Как стон, раздается протяжно, тоскливо:
  — Слу-шай!..[2]

И до сих пор в моих ушах звучит: «Слу-ша-а-а-й!»

Я должна отметить еще одну заключенную. Я знала ее под кличкой «товарищ Паша». Она была связной между мной и кружком молодежи (я считалась пропагандистом, рассказывала о рабочем движении, о классовой борьбе и историческом материализме).

После, уже в советское время я узнала ее полное имя — Прасковья Иннокентьевна Гедымин, это ее фамилия по мужу. Она была активной большевичкой в Иркутске. Многие фамилии членов социал-демократической организации я узнала только во время Советской власти. В интересах конспирации излишнее любопытство считалось пороком, а я этим пороком не обладала.

Мужские камеры находились в нижнем этаже того же корпуса, что

[1] В 20-х годах Г. И. Бокий был ближайшим сотрудником Ф. Э. Дзержинского. В 1903 году Г. И. Бокий организовал первое выступление социал-демократов на лекции проф. Кулябко-Корецкого в зале музея Географического общества (ныне краеведческий музей).

[2] Поэт И. И. Гольц-Миллер. Изд-во политкаторжан, 1930, стр. 27.

и женские. В мужском корпусе издавали рукописную газету. Первый номер ее попал и в нашу половину. Газета была интересная, в ней между другими материалами была помещена песенка, довольно популярная в то время. Я помню только первый куплет:

...Дело было под Артуром,
Дело скверное, друзья,
Того, Ноги, Кашимура
Не давали нам житья!..

Не знаю, сохранилась ли эта газетка.

Вообще, надо сказать, мы не чувствовали угнетения, нам казалось, что революция идет на подъем. Наше заключение в тюрьму — только мелкий эпизод.

Девятого января мы в большой камере устроили митинг, посвященный расстрелу рабочих в Петербурге. На этом митинге выступала и я, рассказывая о событиях, очевидцем которых была 9—10 января, так как я в то время жила в Петербурге, училась на Бестужевских курсах.

Но скоро тревога и печаль стали проникать в наше сознание. Среди нас появились новые арестованные, взятые на железной дороге. Правительство организовало две карательные экспедиции, одна под начальством Меллера-Закомельского двигалась с запада, другая — генерала Ренненкампфа — двигалась с востока. Генерал, неудачно воевавший с Японией, развернул свои таланты в борьбе с революцией: казнями, виселицами, арестами и расстрелами отмечен его путь с востока. На станции Мысовая погиб соратник В. И. Ленина — И. В. Бабушкин (ныне ст. Мысовая носит название г. Бабушкин).

Карателями был расстрелян иркутянин Попов-Коновалов.

Женщины, арестованные карателями, были заключены в иркутскую тюрьму, в нашу большую камеру, где было несколько свободных мест. Но арестованных было так много, что заняли и комнату надзирательницы. Арестованные женщины были свидетельницами зверств карателей. У них начались нервные и сердечные припадки. Здесь пригодились наши фельдшерицы, которые им оказывали помощь.

Положение вновь арестованных было настолько тяжелое, что наши фельдшерицы, лишенные лекарств, действенной помощи оказать не смогли. Решили потребовать врача. Вечером перед вечерней проверкой мы все вышли из камер в коридор. Когда пришел начальник тюрьмы, мы сообщили ему свое требование. Он угрожал вызвать солдат и втолкнуть нас силой в камеры. Но это не подействовало и он согласился удовлетворить требование. На другой день была оказана помощь.

Можно отметить и еще одно происшествие. В большой камере одна заключенная, девочка четырнадцати лет (Гейман?) заболела корью. Старосты камер были у прокурора и потребовали отпустить больную домой. Прокурор предложил поместить больную в тюремную больницу. Мы возражали, указывая, что в больнице могут быть другие дети и может вспыхнуть эпидемия, да и больной всего четырнадцать лет и ее следует отпустить домой. Больную отпустили.

Так окончился месяц. Большая часть административно арестованных женщин была освобождена. Большая часть мужчин и несколько женщин были переведены в Александровский централ.

ВАСИЛИЙ ТРУШКИН

ПРЕДГРОЗОВЬЕ

(Литературная жизнь Восточной Сибири в канун революции)

На неприглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне.
Дай гневу правому созреть...

А. БЛОК

История литературной жизни Сибири пока еще не написана. Многие и притом важные периоды в ее развитии совсем не изучены. Особенно не повезло в данном случае литературе, непосредственно предшествовавшей Октябрьской революции. Ее мы просто-напросто не знаем, хотя она и запечатлела важнейшие и сложнейшие процессы общественной жизни Сибири, пробуждение народного самосознания в канун великого Октября. Более того, литература 1914—1917 годов явилась непосредственной предшественницей и своего рода провозвестницей в условиях Сибири нового революционного искусства, подготовила почву для его бурного развития после победоносного Октябрьского штурма.

Литературная жизнь сибиряков накануне революции особенно оживленно и интенсивно протекала в Восточной Сибири и прежде всего в таких крупных ее культурных центрах, как Иркутск и Красноярск. По верному замечанию Б. Жеребцова, одного из старейших сибирских библиографов и критиков, «Иркутск еще до революции стал литературным городом»[1].

То же самое следует сказать и о Красноярске накануне революции. Литературный процесс был тут поистине многогранен и по-своему сложен. В обоих городах издавались журналы, привлекавшие значительные литературные силы из всех крупных сибирских городов, выходили книги и стихотворные сборники, велась оживленная общественно-литературная полемика. Все это лишний раз свидетельствовало о том, что Сибирь в преддверии революции жила полнокровной общественно-политической и культурной жизнью, что она далека была от какого бы то ни было застоя и спячки.

Октябрьская революция и вскоре последовавшая за ней гражданская война взбудоражили бывшую страну каторги и ссылки, всколыхнули до самых глубин на всем ее необъятном пространстве от Урала до Тихого океана. Молодой Николай Асеев так писал о ней в 1922 году: «Сибирь — спящая царевна в ледяном гробу — задвигалась, зашевелилась и до самых глухих кержацких углов повелась конвульсией внезапного пробуждения. Горячее дыхание революции распалило ее снежный сон. И по-новому видишь ее, эту только что оживленную и уже полную буйства сестру России»[1].

Но таким ли уж «внезапным» было ее пробуждение?! Конечно же, старая дореволюционная Сибирь была глухой, отдаленнейшей окраиной обширной царской империи. Все это бесспорно. И все же, в отличие от других захолустий, она, особенно в начале XX века, в самый канун революции жила напряженной и интенсивной общественно-политической жизнью. Крепко заснуть ледяной красавице не давали то революция 1905 года, мощным гулом отозвавшаяся в ее снежных просторах, то кровавая трагедия Лены, то постепенно нараставшее недовольство империалистической войной 1914—1917 годов. Особенно ощутимым и сильным было влияние на нее политической ссылки, систематически наводнявшей Сибирь тысячами революционеров, людей, прошедших суровую жизненную и политическую школу. Стоит только с этой точки зрения взглянуть на «Даурию» К. Седых, «Строговых» Г. Маркова, «Хребты Саянские» С. Сартакова, «Лену» В. Саянова или даже «Угрюм-реку» В. Шишкова, чтобы наглядно представить себе, какие сложные общественно-политические процессы происходили в это время на земле сибирской. Но в произведениях названных авторов прошлое Сибири освещено, если позволительно так выразиться, ретроспективным светом, с большой исторической дистанции.

Старая же сибирская литература прошла, за редкими исключениями, мимо этих процессов.

Ой, ты, горечь, злая мачеха Сибирь!
Снежной степью разнеслась ты вдоль
и вширь.
Неприветна, неприютна, нелюдна,
Бессердечна, душегубна, холодна!

Эти горькие строки, вырвавшиеся из-под пера Шумахера еще в самом начале шестидесятых годов прошлого века, могли бы быть эпиграфом ко многим произведениям писателей-сибиряков дореволюционного периода, в том числе и таких, как И. Гольдберг, Вяч. Шишков, Г. Гребенщиков, А. Новоселов, не говоря уже о С. Елпатьевском, С. Максимове, Г. Мачтете и других. Пробуждение общественного самосознания, нарастание революционного протеста остались, как правило, вне поля зрения дореволюционных бытописателей Сибири. На это обстоятельство обратил внимание еще профессор М. К. Азадовский, писавший в самом начале тридцатых годов о старой сибирской литературе, что в ней «деревня изображается по преимуществу в мрачных и суровых тонах темного быта. Отсутствие понимания классовой борьбы внутри самой сибирской деревни,— подчеркивает М. Азадовский,— неумение вскрыть ее социальное расслоение вело, с одной стороны, к идеализации этого быта (Гребенщиков), с другой — к сознанию неизбежной покорности этому быту, к сознанию его безвыходности и порождало пессимистические концепции в восприятии Сибири»[1].

Такое положение в литературе коренным образом меняется с приближением Октябрьской революции. В прозе и особенно в лирике молодых сибирских поэтов начинают все отчетливей звучать ноты социального протеста, ощущается нетерпеливое ожидание революционного взрыва. С особой силой эти мотивы зазвучали в юношеской поэзии Федора

---

[1] Б. Жеребцов. Литературная традиция в Иркутске. В сб.: «Иркутские поэты». Иркутск, 1927, стр. 3.

[1] Н. Асеев. Сибирская бась. В кн.: Н. Чужак. Сибирский мотив в поэзии (от Бальдауфа до наших дней). Чита, 1922, стр. 91.

[1] М. Азадовский. Литература сибирская. «Сибирская советская энциклопедия», том 3, стр. 188.

Лыткина, в отдельных стихотворениях Владимира Пруссака, Виталия Кручинина, Льва Повицкого и других молодых поэтов-сибиряков.

Существенные изменения в расстановку общественных и литературных сил Сибири вносит уже первая мировая война. Она обнажает противоречия, проясняет позиции. В это время в литературе четко выявляются две противоположные тенденции. С одной стороны, появляется откровенно развлекательная, бездумная литература, далекая от какой бы то ни было реальной действительности с ее кричащими противоречиями. И в то же время в противовес ей нарождается подлинно гражданское, общественно активное искусство, насыщенное глубокими раздумьями о судьбах родины и народа.

Выразителями первой из этих противоборствующих тенденций следует признать прежде всего иркутские юмористические еженедельники типа «Иркутской незабудки» и «Иркутского жала». Особой популярностью пользовался юмористический еженедельник «Иркутская незабудка», основанный в декабре 1914 года известным сибирским фельетонистом и юмористом, в прошлом сотрудником «Восточного обозрения» А. Н. Варенцовым-Золиным. В 1915 году Золин умер и «Незабудка» перешла в другие руки.

Теперь, спустя полстолетия, просматривая тоненькие книжечки этого журнала, вы невольно ощущаете полный разрыв его со всем тем, что волновало и могло волновать его современников. Авторы и сотрудники «Незабудки» как будто сознательно и намеренно стремились отвлечь читателя от разыгравшейся кровавой трагедии миллионов. Так и кажется, что «Иркутская незабудка» расцвела не в тревожные 1914—1915 годы, а в пору безвременья, что она сверстница блаженной памяти лейкинских «Осколков» и «Стрекозы». Те же дешевые остроты, тот же маленький мир мелких фактов, забавных курьезов, частных злоупотреблений и ни одного сколько-нибудь значительного отклика на события, волновавшие страну и народ.

Под стать «Иркутской незабудке» были и стихотворные упражнения иркутской поэтессы Дины Стож, жены своеобразного сибирского «культуртрегера» М. Е. Стожа. Супруги Стож накануне революции организовали в Иркутске книгоиздательство «Ирисы» В этом издательстве двумя изданиями вышла книга Н. Насимовича-Чужака «Сибирские поэты и их творчество», печатались и некоторые другие авторы, но, как правило, основную книжную продукцию поставляли сами издатели. Печальную известность приобрел изданный М. Е. Стожем «Словарь сибирских писателей, поэтов и ученых». «Словарь» составлен был крайне небрежно и неряшливо. Имена писателей и ученых располагались в нем без всякой системы, не выдержан был даже алфавитный принцип. В этой хаотической мешанине из имен и названий было много пропусков действительно замечательных представителей культуры Сибири и, наоборот, оказались зарегистрированными фамилии лиц, ничего общего с литературой и наукой не имеющих. Это невежественное издание тогда же получило резко отрицательную оценку в печати[1].

В погоне за рекламой М. Стож не гнушался прибегать и к жульническим проделкам, к прямому обману читателей, Он любил, к примеру, указывать на титульных листах своих книг, что они выходят пятым или даже десятым изданием, хотя в действительности таких изданий и не существовало. Так, на титуле пресловутого «Словаря» значилось: «издание десятое», на сборнике стихов Дины Стож — «издание пятое» и т. д.

В 1916 году в книгоиздательстве «Ирисы» вышел литературно-сатирический сборник «Сибирский пересмешник», представлявший собой откровенную халтуру. Иркутский журнал «Багульник», сообщая в своем разделе «Сибирский календарь» о выходе в свет этого сборника, писал: «В Иркутске под редакцией г-жи Дины Стож вышел № 1—2 литературно-художественного повременника «Сибирский пересмешник». Сборник представляет собою наиболее безграмотное из всего, что г-ном Стож до сих пор выпускалось»[2]. В другом месте тот же журнал заметил о «Сибирском пересмешнике», что он «пересмеивает больше всего российскую грамматику»[3].

На таком же уровне стояло и «оригинальное» творчество Дины Стож, издавшей в 1914 году с пометой «пятое издание» сборник своих стихотворений «Смерть музы. Ужасы войны». Полное отсутствие чувства слова и ритма придают многим стихам сборника явно пародическое звучание, граничащее с графоманством. «Кудрявый лес», «мотылечки», мотивы «жестокого» городского романса и барабанные вирши во славу войны составляют все содержание книги. Вот один из довольно типичных и многочисленных образчиков «лирики» Дины Стож:

И всю свою я жизнь хватался
За борт своего челнока,
С невзгодой жизненною дрался,
И утомлялося рука...
Я постепенно обрывался,
Держа едва концы снастей,
И чиже, ниже опускался,
Не видя жалость средь людей.
Теперь начать жизнь слишком трудно,
Когда она совсем в чаду,
Страдальцу жизни тяжкой, мудрой
Закрыт свободный путь к труду.
...Пытанье есть позор постыдный,
Страданьем я упился весь,
Быть век ослабленным, бессильным
Я не могу жить вовсе здесь[1].

И так через весь сборник. Книга так и пестрит фразами типа: «от тяжелой жизни, нестерпимой с болью я гляжу сквозь слез», «и жизнь я горькую узнала и познакомилась с нею сыздетства».

Первая мировая война с ее ужасами и кровью, с ее бессмысленной жестокостью и разрушениями исторгает из-под пера нашей поэтессы такие бодрящие стишки:

Чем меньше стонов,
Тем больше жизни,—
Побьем тевтонов!
Хвала отчизне[2].

В духе квазипатриотической шумихи казенных газет изображается и отношение народа к войне:

Русь не унывает,
Мчится на врага:
Где враг отступает,
Крови там река[3].

За этой псевдопатриотической тарабарщиной начисто исчезла трагедия миллионов, брошенных в гигантскую мясорубку войны.

Показательно, что эти и подобные им стихотворные упражнения вызывали уже в то время, в самый момент своего появления в печати пародийные отклики прессы. Так, иркутский журнал «Багульник» в одном из своих номеров поместил пародию на стихи Дины Стож, сопроводив ее таким эпиграфом, взятым из «Дневника» поэтессы: «С тяжестью и болью в душе принимаюсь за обыденную скучную работу: приготовление обеда, между делом стараясь удовлетворить себя духовной пищей. Беру перо и дневник, наскоро читаю что-нибудь из книг и успеваю набросать стихотворение». Это любопытное признание журнал прокомментировал следующим образом:

Возьмешь перо, филей коровы,
Тетрадь, подливку для котлет,
И — на плиту! И глядь — готовы
Щи, полпоэмы и сонет!
Супруг плюется, чуть отведав
Таких талантливых обедов,
А от сонетов Дины Стож
Читатели... плюются тож[4].

И все же, по всей вероятности, и вирши Дины Стож имели своего

[1] См. рецензию М. Азадовского на «Словарь» М. Е. Стожа в ж. «Сибирские записки», 1917, № 6.
[2] «Багульник», 1916, № 3, стр. 16.
[3] Там же, стр. 14.

[1] Дина Стож. Смерть музы. Ужасы войны. Иркутск, 1914, изд. 5, стр. 11.
[2] Там же, стр. 33.
[3] Там же, стр. 40.
[4] «Багульник», 1917, № 5, стр. 15.

читателя. Они по-своему отражали уровень рядовой провинциальной поэзии тех лет, да и только ли провинциальной. Они мало чем разнились, скажем, и от «военно-патриотических» стихов такого признанного мэтра символистской поэзии, как Федор Сологуб, чьи стихотворные инвективы против «тевтонов» и по тону и по уровню исполнения стояли за гранью искусства.

Этой откровенно шовинистической казенной «литературе», в условиях Сибири противостояла другая поэзия, противостояла литература, в которой билось живое человеческое чувство. Одни поэты, подобно Владимиру Пруссаку, писали о трагедии войны, смертях и крови, другие стремились уйти от кошмарной действительности в призрачный мир поэтических грез. С особой откровенностью эта последняя тенденция проявилась в книге стихов Петра Солнцева (псевдоним П. Гребнева) «Под аккомпанемент мировой бури», изданной в 1915 году в Иркутске. Своей книге автор предпослал такое предисловие: «Цветущие города, трудовые нивы и мирные села залиты человеческой кровью. Весь мир тонет, захлебывается в кровавом океане современных битв. Ужас бойни наполняет наши умы и сердца. И под этот жуткий гром чудовищных орудий, под аккомпанемент мировой бури я решил выпустить в свет мою первую книгу. Я решил бросить песнь моей души в жизнь». Эта «песнь души» оказалась отъединенной от всего того, о чем только что говорилось в предисловии. От «ужасов бойни», от потрясенного войной мира автор ищет спасения в созерцании природы, его лирический герой бежит, точно загипнотизированный, от неприглядной действительности в мир сказки, призрачных видений и в не менее призрачный мир иллюзорной красоты. «Я в действительность вплетаю сердца пламенного сны»,— говорит поэт. Его книга так и пестрит этим обветшалым поэтическим реквизитом. «Храм мечты», «волшебство жгучих грез», «сладкие сны», «жгучие чары», «поцелуи жгучие», «думы безбрежные» говорят не только об очевидном эпигонстве начинающего поэта, но и об откровенно выраженном стремлении как-то забыться, не думать о кровавом кошмаре, окружавшем его. И все же действительность была такова, что она нет-нет да и врывалась в созданные воображением хрустальные замки. Волны морские «кричат» поэту «о свободе, о раскованном сильном народе» (стихотворение «Песня волн»). Узник у него мечтает «о жизни иной, о далекой умчавшейся воле».

Так, в пресловутый «храм мечты» начинают вторгаться вполне реальные голоса грубой жизни с явственно звучащими нотами борьбы и протеста.

И ломал я решетку железной рукой,
Грудь рвалась поскорей из темницы.
А внизу беспечально бродил часовой
И летели вечерние птицы[1].

Для сибирского поэта и его читателя оковы, темницы были не отвлеченным символом, а доподлинной реальностью. Не случайно эти образы переносятся автором на окружающую природу. Вот как видит он, к примеру, Байкал:

Он злобно лижет ноги гор
Стеной своих валов,
Он жадно рвется на простор
Из каменных оков.

О тайге поэт напишет: «Скоро ль ты сбросишь дикость свою неизменную?» Одно из своих стихотворений он посвящает шлиссельбуржцу Н. Н. Морозову. Сборник его заканчивался стихами, проникнутыми верой в грядущее, в торжество справедливости.

Верьте, братья, в песни воли,
В светоч правды и труда;
К солнцу истины и света
Путь укажет нам звезда[2].

Конечно, от этих расплывчатых представлений о свободе, от этой загадочной «звезды» еще далеко до подлинно революционной лирики и тем более подлинной революции. Но само наличие бунтарских мотивов в стихах начинающего сибирского поэта в самый канун Октября весьма симптоматично.

С еще большей силой ощущение предгрозовья сказалось в выступлении целого ряда поэтов, создавших в 1916 году в Иркутске литературное объединение под названием «Иркутские вечера». В него вошли молодые литераторы в основном из политических ссыльных. По свидетельству Н. Чужака, хорошо знавшего и близко наблюдавшего многих из участников «Иркутских вечеров», они «повели энергичную кампанию за возрождение в Сибири поэзии вообще»[3], которая, за исключением двух-трех одаренных поэтов типа Георгия Вяткина и Петра Драверта, представляла собой в те годы жалкое зрелище провинциальной ограниченности и безудержного эпигонства.

В 1916 году группа издает свой первый коллективный сборник под тем же названием «Иркутские вечера». Сюда вошли стихи Константина Журавского, Надежды Камовой, Льва Повицкого, Владимира Пруссака, Варвары Статьевой. По своему составу и взглядам группа была весьма не однородной. Объединила же их всех капризная судьба политических изгнанников и глубокая любовь к поэзии. «В стране непробужденных просторов и злых морозных туманов, — пишут авторы в предисловии-манифесте к своему сборнику,— где искусство живет вчерашним днем, где поэзия кажется тихой заводью, пугающейся свежего ветра, мы, случайно связанные временем и местом, дерзаем вступить на путь действенного и гласного творчества». По их словам, они не примыкают «ни к одной из существующих групп в поэзии». И далее идет такое признание: «Наш альманах — стихи, которые каждый из нас считает для себя наиболее характерными в данное время»[1].

Первое впечатление от сборника — его хорошая поэтическая техника и культура стиха. Вместе с тем на многих стихотворениях лежит печать подражательности и зависимости от модных в то время поэтов.

Явственное влияние поэзии Валерия Брюсова чувствуется в стихах Константина Журавского, открывающих «Иркутские вечера». По своим мотивам лирика К. Журавского довольно камерная, лишена серьезного социального содержания. Только в одном из стихотворений его прорывается намек на признание подлинным хозяином жизни человека труда.

Стучат станки, шумят водопроводы,
И день разорван криками гудка,
И тихо правит всем в размеренности хода
Мозолистая, крепкая рука[2].

Ощущением неприкаянности, отвращением к прозе жизни проникнуты стихи Надежды Камовой. В стихотворении «Жалоба» поэтесса признается: «Мне гадко, гадко, гадко... жизнь как стертая монета». В другом своем произведении она декламирует: «Я мантией поэта задернусь от судьбы». Неприятие окружающего выливается у нее в стихи о Саломее и Иоканаане, о молитвах в храме, о неверном и жестоком возлюбленном. Многие произведения ее воспринимаются как своеобразная реминисценция из поэзии А. Ахматовой и А. Блока. Вот довольно типичное для нее стихотворение:

В угаре ночных ресторанов,
Украдкой под звуки оркестра
Я плачу о милом, что рано
Оставил печальной невестой.
Купила из белого гипса
Слоненка за тридцать копеек,
Как будто накидка из рипса
От этого станет новее.
Как будто, гадая на святках,

---

1 П. Солнцев. Под аккомпанемент мировой бури. Стихи. Иркутск, 1915, стр. 7.

2 Там же, стр. 66.

3 И. Чужак. Сибирские мотивы в поэзии (от Бальдауфа до наших дней). Чита, 1922, стр. 66.

1 Иркутские вечера. Стихи. Альманах первый, издание группы поэтов в Иркутске, 1916. Предисловие.

2 Там же, стр. 18.

Увижу в обломке зеркальном
Волос золотые прядки
И губы в улыбке печальной[1].

В ее стихотворении «Коломбина» явственно звучат блоковские интонации:

Но каждый вечер, лишь смеркается,
Весь в черном входит кто-то в дом,
И чьи-то губы прикасаются
К бокалу с налитым вином[2].

На этом фоне с его подчеркнутым эстетизмом и камерностью резко выделяются своей социальной заостренностью стихи Льва Повицкого и Владимира Пруссака. Лев Повицкий пишет об узниках и тюрьмах, о казни революционеров (см. его стихотворение «Централ», «Опять эти черные гости», «Вечер»). В стихотворении «Забастовка» поэтом рисуются картины уличной демонстрации и жестокого избиения демонстрантов казачьей сотней.

Несомненно, самым одаренным из участников «Иркутских вечеров» был Владимир Пруссак, умерший двадцатилетним юношей в 1918 году, так и не успев полностью развернуть своего оригинального и крупного дарования. В. Пруссак, сосланный в Сибирь еще гимназистом, стоял во главе «Иркутских вечеров» и «Багульника». Как поэт он рос быстро и стремительно. Первый его сборник «Цветы на свалке» вышел в Петрограде в 1915 году, сборник насквозь эстетский и типично эпигонски декадентский, начиная с заглавия и кончая содержанием и формой стихов. Болезненные мотивы Бодлера, но без его глубокой душевной скорби, откровенное подражание «несравненному», как признается в одном месте автор, «королю поэтов» Игорю Северянину — вот все, что можно сказать об этих ядовитых цветах, выросших действительно на свалке буржуазной культуры. Все принципы поэтики и эстетики эгофутуризма здесь крайне обнажены и нередко доводятся до абсурда, до полной потери чувства меры и вкуса. Показательны уже сами названия разделов сборника — «Поэтезы», «Поцелуйные пляски», «Шампанские поэзы» и пр. Вслед за своим учителем Игорем Северяниным, провозгласившим себя гением, окрыленным своей победой, молодой поэт не без бравады заявляет:

Хочу признанья, хотя бы на неделю,
Хочу известности, рецензий и реклам.

Многие стихи, вошедшие в книгу, поражают своей безвкусицей и жеманной пошлостью. В моих стихах,— признается поэт,— больной эротикой проникнут каждый ассонанс». Своеобразным кредо звучат его стихи: «Добро. Чистота. Справедливость. Какие чужие слова!»

[1] «Иркутские вечера», стр. 35.
[2] Там же, стр. 42.

И только изредка в этот изломанный и болезненный мир врываются другие интонации, слышатся нотки протеста и борьбы, как, например, в стихотворении «Я уничтожил перед обыском...» Здесь, в частности, есть такие строчки:

Но ты скажи суровой матери,
Что я в Сибири останусь пламенным,
Что буду гордым я и на каторге,
Умру безмолвно, умру под знаменем[1].

Мысли о Сибири вызывает смятение в душе поэта. Она представляется ему ледяной пустыней, страной цепей и каторги. Одно из лучших стихотворений сборника как раз и посвящено образу этой «чужой дикой страны».

Нет, полюбить я не смогу
Просторы сумрачной Сибири,
Ее тоскливую тайгу,
Ее безрадостные шири.
Чужая, дикая страна!
То солнцем проклятые степи,
То снежной глади целина,
То жалко стонущие цепи[2].

Понадобится совсем немного времени, чтобы поэт иными глазами увидел Сибирь, да и сам во многом изменился. Переболев эгофутуризмом, Пруссак вскоре выходит на самостоятельную дорогу здорового, настоящего творчества. В феврале 1917 года он издает в Иркутске вторую книгу стихов «Деревянный крест». Здесь поэт начисто отказывается от манерничанья, от всех этих эгофутуристических «звездностей», «брызгов звуколаск», «ожиданий лазурных», «хищных нимф», «любовных трансов» и прочих «поэз». Стих его становится прозрачней и строже. Во весь голос зазвучали в нем социальные мотивы. Поэт и теперь не отказывается от формальных поисков, но они под его пером перестали быть самоцелью, обрели пульсацию живой плоти. В своих терцинах, триолетах, секстинах, венках сонетов, даже гекзаметрах он увлечен не прихотливостью изысканных стихотворных форм, как таковых, а стремлением отлить в эти формы разнообразные впечатления бытия. Его начинают волновать большие политические и социальные проблемы. Поэт пишет о страданиях родины и ужасах империалистической войны, о приближении очистительной революционной грозы. Еще недавно отказывавшийся провести границу между добром и «дерзностной ложью», он теперь открывает новую свою книгу стихами, утверждающими гражданское назначение поэзии.

Сарматы смачивали стрелы
В крови клокочущей своей,
Чтобы, заклятые, верней
Разили вражеское тело.
Порывы творчества бессильны,
Искусством песню не зови,
Пока не смочена в крови
Души, пораненной смертельно[1].

[1] Владимир Пруссак. Цветы на свалке. Стихи. Петроград, 1915, стр. 132.
[2] Там же, стр. 133.

Одним из ведущих мотивов книги становится тема многострадальной родины, тема сыновнего долга перед ней. Поэту больно видеть ее терпение.

О, родина! Безрадостный простор
И звон цепей и душный запах тленья;
Изменнику — суровый приговор —
Твое терпенье[2].

Боль за поруганную отчизну, страстное желание ее пробуждения и горечь от сознания своего бессилия по-настоящему помочь ей окрашивают многие страницы книги в тона горечи и грусти. Поэту подчас кажется, что он сторонний наблюдатель, что ему «свободным быть не суждено». Именно отсюда в стихах его иногда прорываются нотки отчаяния и одиночества, какой-то бродяжьей неприкаянности. У поэта подчас вырываются горькие признания: «не за что мне сражаться, некому мне молиться». В одном из стихотворений своих он скажет:

Я издали слежу борьбу и зовы,
И ропоты рабов, и тяжкие оковы.
Когда бы хоть горчичное зерно
Во мне горячей веры уцелело!
Но мне свободным быть не суждено,
Поодаль я стою оцепенело[3].

Многие стихи его обращены к родине, согреты трепетной любовью к ней. Она ему представляется то краем безграничного терпения и нищеты, то полной скрытых буйных сил. Поэт горячо любит родину и глубоко страдает от сознания ее униженности и порабощения. Он с горечью признается, что у него «в душе сочащаяся рана».

В напряженной, порой исполненной отчаяния и болезненного надрыва, порой согретой огнем негодования, страстной и порывистой и всегда глубоко искренней лирике Владимира Пруссака прекрасно передано мироощущение передовой, революционно настроенной русской интеллигенции из молодежи в тревожное предоктябрьское предгрозовье. Поэзия его исполнена нетерпеливого ожидания очистительной грозы революции.

Мы ждем во сне глухом и темном,
Покоясь в равнодушном сне,
И каждый путником бездомным
В родной считается стране.

Россия видится ему распятой на кресте, скованной и поруганной. Поэту же хочется лицезреть ее «не смиренной рабою», а могучей и

[1] Вл. Пруссак. Деревянный крест. Иркутск, 1917, изд. «Иркутские вечера», стр. 5
[2] Там же, стр. 17.
[3] Там же, стр. 15.

сильной. Когда Максимилиан Волошин в умиленье написал о России: «Люблю тебя в облике рабьем», молодой Владимир Пруссак не принял этого умиления перед рабством и покорностью, вступил в стихотворную полемику с ним. Не умиление, а горечь и негодование вызывает в нем «край терпенья, нищих и крестов».

Страна моя! Смиренная обитель,
Где звон цепей и грохоты вериг,
Где каждый—жертва и беспечный зритель,
Где юноша — морщинистый старик.
Где навсегда задушено веселье,
Где смех—придавленный и злобный крик,
Где радость — беспросветное похмелье,
Где все рабы, где каждый с детства пил
Отчаянья и гнева злое зелье
И ждал в тоске необычайных сил,
И веры ждал...[1]

Поэтому-то он так и уповает на «грядущие грозы», зовет Русь к пробужденью. По словам поэта, ей неоткуда ждать спасенья, пока она «огнем негодованья не вспыхнет в гордости своей» и не позовет сыновей своих «для новой брани».

Он хорошо чувствует скрытые богатырские силы, таящиеся в недрах России, ждущие своего пробуждения.

Меняется отношение В. Пруссака и к Сибири. Если раньше он писал о ней только как о неприветливой холодной стороне, где «символ чести — скованные руки», где «и жизнь обвило узкое кольцо», то теперь она представляется ему родной и близкой. Поэт увидел ее в ином свете.

И с каждым часом все чудесней
Изгнанья край и все родней.
Слагаю радостные песни
Невольной родине моей.

По отзывам современников, в поэтическом изображении Сибири, в умении проникать в ее судьбы Владимир Пруссак не знал себе равных. Показателен в данном отношении отзыв о нем Н. Насимовича-Чужака. Разбирая его небольшую поэму «Степь», Н. Чужак писал: «Степь» носит следы такого величавого, такого грозного и полного воплощения в судьбы Сибири, до которого не возвышался ни один коренной поэт Сибири... Такого эпического осознания Сибири, конечно, еще не бывало в «сибирском» творчестве»[2].

Поэзия В. Пруссака, как и вся деятельность в целом группы поэтов «Иркутские вечера», в свое время была заметным явлением в культурной и литературной жизни Сибири в самый канун революции. Своим острием эта деятельность была направлена против узколобого сибирского областничества и провинциальной ограниченности. В творчестве поэтов «Иркутских вечеров» зазвучали общерусские мотивы, вызывавшие яростные нападки со стороны убежденных сибирских областников. По свидетельству Н. Чужака, «Иркутские вечера» были встречены свирепым воем всех без исключения сибирских газет,— в то время как столичная критика их приветствовала[1].

В самый канун революции начало развертываться и поэтическое дарование Федора Матвеевича Лыткина, прославленного вскоре комиссара-центросибирца, выдающегося революционера и борца за торжество Советской власти в Сибири. В 1915 году в Иркутске вышел его первый и единственный поэтический сборник «Песни юности», представляющий ныне величайшую библиографическую редкость. Сборник дает довольно яркое представление о мироощущении юноши-революционера, позволяет говорить об органичном, логически закономерном приходе его в революцию.

Открываются «Песни юности» трогательным посвящением памяти матери. «Первую юношескую книгу моих стихов посвящаю солнечно светлой памяти моей мамы»,— пишет автор.

В большинстве стихов Лыткина властно звучат мотивы борьбы, освежающей грозы и бури. Чрезвычайно характерной в этом отношении является его «Песня перед бурей», предвосхищающая всем строем своим, лексикой и настроением революционную лирику позднего Лыткина.

Грозы я жду! В безгранном мире
Мне душно, пленнику цепей!
Как жаждут воли и лучей
Темницы затхлые Сибири.

Так я — извечный дух Свободы,
Я жажду бури и непогоды
Для счастья родины моей.

Для сознания поэта невыносимо понятие застоя, прозябанья, покорности. Он жаждет наступления очистительной грозы, когда «смоет буря грязь покоя». В лирике его появляются такие дышащие неподдельным революционным пафосом стихи, как «Друзьям — бойцам» с его излюбленным и гордым девизом: «в грозе бессмертие рабов!»

Семнадцатилетний юноша-поэт признается:

Мне страшно порою бывает...
Во власти бестрепетных снов:
Цветы... и цветы засыхают...
Любовь...и любовь умирает
Средь серых и вечных рабов!

Юношеская лирика Федора Лыткина и была проникнута этим страстным желанием скорейшего пробуждения «рабов». В «Песне пасынков Сибири» лейтмотивом звучат слова:

Уже близок рассвет,
Уже ночь на исходе!
Через несколько лет
Будем мы на свободе.

Поэт с гневом и презрением говорит о тех, кто живет только ради собственного благополучия, ради денег и желудка. Свое стихотворение «Мысли на городской улице» он закончил словами:

Не боюсь я страдать,
Ненавидеть и любить,
Но для тела, но для денег
Не хочу я жить.

Стихотворения Федора Лыткина, составившие в 1915 году книгу «Песни юности», были первой, но такой свежей и чистой, пропетой на заре песней, которая возвещала скорое наступление рассвета, наступление нового дня, ждала его и рвалась к нему навстречу.

В довольно оживленной литературной жизни Сибири на рубеже революции особенно интересным и примечательным явлением была сибирская журналистика, к сожалению, до сих пор абсолютно не изученная.

В 1916 году почти одновременно в Красноярске и Иркутске начинают выходить литературно-художественные журналы «Сибирские записки» и «Багульник», вокруг которых объединились лучшие культурные и литературные силы Сибири. Журналы издавались на высоком профессиональном уровне и были лишены каких бы то ни было элементов провинциальной ограниченности. Достаточно сказать, что «Сибирские записки» своей высокой культурой издания, своей «серьезностью» выгодно выделялись на общем, довольно-таки сером фоне всей дореволюционной провинциальной журналистики, на что справедливо указывалось уже в печати[1].

По-своему примечательным был и иркутский «Багульник»— литературно-общественный и сатирический журнал, выходивший в 1916—1917 годах. Редактором-издателем его был А. И. Миталь. Это был не первый серьезный литературно-художественный журнал иркутян. Ему предшествовала определенная журнальная традиция. Помимо периодически возникавших многочисленных, по преимуществу юмористических журналов, в Иркутске в 1913—1914 годах издавался литературно-художественный еженедельник «Сибирская неделя», объединявший значительные литературные силы.

«Багульник» выходил четыре раза в год большим форматом с ил-

[1] Вл. Пруссак. Деревянный крест, стр. 27.

[2] Н. Чужак. Сибирский мотив в поэзии. Чита, 1922, стр. 75.

[1] Н. Чужак. Сибирский мотив в поэзии. Чита, 1922. стр. 68.

[1] См. Очерки истории русской советской журналистики 1917—1932 гг. М., «Наука», 1966, стр. 464.

люстрациями художника Владимира Эттеля. Текст печатался в нем крупным шрифтом в три колонки. Всего вышло пять номеров журнала. Последний номер его появился в марте 1917 года, в самом начале Февральской революции.

В журнале сотрудничали В. А. Ватин, П. Л. Драверт, Е. И. Идучанский, П. Н. Колядо, Вс. Курдюмов, В. Михалев, В. Одиноков. Ведущую роль в нем играли участники литературного объединения «Иркутские вечера»— поэты Вл. Пруссак, Дм. Олерон (Глушков), В. Статьева, Л. Повицкий, Н. Камова и другие. Активными сотрудниками «Багульника» были Емельян Ярославский и Н. Насимович-Чужак, известный в то время публицист, литературный критик и политический деятель, работавший в сибирской периодике еще с 1908 года. Накануне революции Н. Чужак много занимался вопросами сибирской литературы и публицистики, разрабатывал общетеоретические проблемы марксистской эстетики. В 1916 году он издал в Иркутске свои книги «Сибирские поэты и их творчество», «К эстетике марксизма» и «Эстетизм и эстетика».

«Багульник», продолжая традиции «Иркутских вечеров», повел последовательную борьбу с проявлениями провинциализма и областничества в сибирской периодике, стремясь поддержать все талантливое и честное в литературе сибиряков. К нему тянулись литераторы и поэты со всей Сибири, начиная от П. Драверта и Г. Вяткина и кончая Д. Олероном, Вл. Пруссаком и другими молодыми поэтами из политических ссыльных.

Замечательна гражданская направленность журнала... В годы войны он стоял на четко выраженных интернациональных позициях. «Багульник» резко критиковал «беспринципность», по его определению, сибирской прессы по отношению к войне, «забвение вчерашнего дня», «всевозможные шатанья», «неожиданные уклоны туда и сюда» в этом принципиальном вопросе. В качестве образчика подобного рода беспринципности он ссылался на иркутскую газету «Сибирь», умудрявшуюся выступать в одном и том же номере «подчас с ура-передовой и интернационалистическим фельетоном»[1].

Антивоенная тема во весь голос звучала и в собственных материалах журнала. Так, в пятом номере за подписью Георгий Ж-в появляется статья «Человеческий документ (письмо с позиции)», рассказывающая о жестокости атак, бесчеловечности и бессмысленности империалистической войны. Здесь же была опубликована и небольшая антивоенная поэма Вл. Пруссака. Поэт говорит в ней о разрухе и голоде, о том, как напрасно гибнут «родины сыны», как постепенно рассеивается патриотический угар.

Эх, стоят неубраны поля!
Пропади пропадом горькая земля!
Эх, солдатики калечные,
Все слепые да увечные!
Будем вас с почетом принимать,
За широкий стол с поклонами сажать,
Звать по имени да отчеству,
Из пустых тарелок потчевать!
Поистратились хлеба у нас,
А святой Георгий новых не припас[1].

Видное место в журнале занимал поэт Д. И. Глушков-Олерон. Глушков попал в Сибирь из харьковской каторжной тюрьмы тяжело больным и физически разбитым человеком. Художественное творчество, занятие переводами скрашивали ему физические страдания. Глушков переводил «Послания» Овидия и стихотворения Хозе Мария Эредиа, увлекался античностью. Писал он преимущественно строгие сонеты, воскрешая картины и образы классической Эллады, сонеты посвящал он и современности. Особый цикл сонетов создал поэт о Сибири, ее людях, суровых сибирских пейзажах и не менее суровом быте сибиряков.

Художественная проза в «Багульнике» была представлена крайне слабо и бедно. Очерки Варвары Статьевой, рассказы П. Колядо и др. не шли ни в какое сравнение ни с поэзией, ни с публицистикой журнала, всегда острой, меткой, наступательной. «Багульник» живо откликался на все значительные явления в литературной и культурной жизни Сибири, да и не только Сибири. Он писал о театральных постановках и новых книгах.

В отличие от «Багульника» красноярский журнал «Сибирские записки» придерживался ярко выраженных областнических тенденций. Особенно наглядно это проявлялось в общественно-политическом разделе журнала, где часто печатались программные для журнала статьи его редактора и издателя В. Крутовского, убежденного областника. Статьи и материалы по областничеству шли в каждом номере. Кроме В. Крутовского, здесь печатались работы Е. Е. Колосова, Г. Н. Потанина, Н. Н. Козьмина и других областников. Из номера в номер шла публикация писем Ядринцева к Г. Потанину.

Но историческое и культурное значение «Сибирских записок», несомненно, в другом, и его нельзя свести к одному пресловутому областничеству. В. Крутовский оказался хорошим организатором. Ему удалось сплотить вокруг журнала лучшие научные, литературные и культурные силы Сибири. В числе его сотрудников значились Вл. Бахметьев, Г. Гребенщиков, Ис. Гольдберг, С. Я. Елпатьевский, Г. Вяткин, А. И. Иванчин-Писарев, Н. Н. Козьмин, Г. Н. Потанин, Е. Е. Колосов, А. Новоселов, А. И. Окулов, А. Соболь, В. Я. Шишков, И. И. Попов, Л. Ф. Пантелеев, И. Тараканов и другие.

«Сибирские записки» стали издаваться с января 1916 года. Это был настоящий «толстый» журнал, единственный в то время в Сибири, выходивший сначала по четыре, а с 1917 года по шесть книжек в год. Издание его отличалось довольно высокой культурой. Многие произведения, впервые появившиеся на страницах «Сибирских записок», с успехом могли бы украсить любой столичный журнал. Особенно хорошо был поставлен в журнале отдел беллетристики. Г. Гребенщиков опубликовал здесь свою повесть «Круг на болоте»— грустное повествование о том, как в провинциальной глуши опускаются и гибнут духовно люди. А. Новоселов выступил с рассказом « К архиерею».

О драме, разыгравшейся на таежной реке, скупо, с подлинным драматизмом рассказывает в повести «Братья Верхотуровы» Ис. Гольдберг. Случай, описанный в повести,— типичная бытовая картина из жизни старой Сибири с ее дикостью и жестокостью нравов. Три брата, три обычных сибирских мужика, после зимней охоты в верховьях Лены возвращаются на лодке с богатой добычей домой, мечтая поправить хозяйство, встретиться с домашними. Ничего в них нет особо примечательного. Простые сибирские мужики. Но вот по дороге им встречается незнакомая молодая женщина и просит подвезти ее. И здесь разыгрывается страшная сцена. В первую же ночь один из братьев насилует ее. Во вторую ночь наступает кровавая развязка — в завязавшейся схватке озверевшие братья убивают свою попутчицу.

В первом номере «Сибирских записок» за 1917 год Ис. Гольдберг поместил свой рассказ «Молитва девы», рисующий сцену столкновения двух молодых людей, бежавших после революции 1905 года из России, по-видимому, революционеров, в ресторане маленького сибирского городка с офицерами из карательного отряда.

В рассказе Вл. Бахметьева «У земли» («Сибирские записки», 1917, № 1) события развертываются в глухом кержацком поселении на Алтае. Писатель говорит о том, как

---

[1] «Багульник», 1916, № 3, стр. 10. Статья «Нужный язык».

[1] Вл. Пруссак. Из цикла «Деревянный крест». «Багульник», 1917, № 5, стр. 4.

богатые кержаки-раскольники согнали с земли алтайцев, как жестоко расправляются они со всеми, кто угрожает их благополучию.

Кричащие контрасты старой дореволюционной деревни показаны и в рассказе Павла Дорохова «Кузьма хромой» («Сибирские записки», 1917, № 2, 3).

В «Сибирских записках», отбывая ссылку, принимал участие А. Гастев. В первом же номере журнала за 1916 год он опубликовал под псевдонимом Дозоров свою «Сибирскую фантазию» — утопический рассказ «Экспресс». В рассказе рисуется будущее промышленной Сибири. Гигантские города, богатые и обильные поля, обрабатываемые машинами, десятки магистралей, прорезывающих вдоль и поперек сибирские просторы, соединяя ее с Владивостоком и Якутском, даже с Пекином. Океанские пароходы на сибирских полноводных реках, берега которых стянуты гранитом,— таким рисуется писателю будущее края изгнания и ссылки. «От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням, где все лето бороздят и ровняют поля стальные чудовища — машины. Необитаемая прежде степь и тундра стали житницей всего света». Красноярск превращается чуть ли не в мировой центр науки и культуры, у берегов Оби пристают океанские пароходы, сюда подходят беспрерывно по сверкающим рельсам экспрессы, тысячи заводских труб высятся над Новониколаевском — Стальгородом и т. д.

«Экспресс», по свидетельству родных писателя, был одним из любимых произведений А. Гастева, мечтавшего о грандиозном преобразовании Сибири. Сам В. Гастев так писал в 1924 г. о своем рассказе: «Сибирь на автора произвела... огромное впечатление, и так получилась возможность написать «Экспресс», в котором отразилось предчувствие новой революционной колонизации России. Чтобы написать эту вещь, нужно было предварительно просидеть по счастливой случайности в нарымской каталашке около трех месяцев и изучить как сибирскую литературу, так и послушать различного рода рассказы сибиряков»[1].

Со времени появления «Сибирской фантазии» прошло полвека. Любопытно отметить, что большинство «фантастических» картин, нарисованных Гастевым, давно уже стали реальностью.

Значительно слабее в «Сибирских записках» был отдел поэзии. Журнал нередко отводил свои страницы под заведомо слабые, бледные, невыразительные стихи, бледные и мыслью и содержанием.

На сером фоне выделялись острым чувством современности только стихи Федора Лыткина, одно-два стихотворения В. Кручинина и технически более совершенные стихи Владимира Пруссака и Георгия Вяткина, опубликовавшего в «Сибирских записках» свой стихотворный цикл об Алтае.

[1] А. Гастев. Поэзия рабочего удара. М., СП, 1964, стр. 27.

В третьем номере «Сибирских записок» за 1917 год появляется стихотворение Федора Лыткина «12 марта 1917 года» — поэтический отклик на события Февральской революции. В следующем номере он публикует свой «Клич русской революции», в котором звучит гордость за Россию, опрокинувшую самодержавие. Революция в представлении поэта — это конец империалистической бойне, начало освобождения угнетенных народов. Революция — это мир.

Вам, к тронам королей склонившим рабски выи,
Вам, истомлечные торгашеской войной,
Несет, как чудный дар, свободная Россия
И мирный труд, и радостный покой.
Под знаменем ее, под знаменем свободы,
Забыв про нищенские, слезные мольбы,
Воспряньте же смелей для воли и борьбы,
Порабощенные народы[1].

В общем, листая журналы тех лет, можно заметить, что всякая литературная жизнь Сибири в преддверии Октября проходила под знаком приближающейся революции. Это наложило особый отпечаток на творчество многих сибирских литераторов, чутко улавливавших близкие громовые раскаты ее. Все честное в этой литературе рвалось навстречу освежающей революционной буре, ждало и приветствовало ее.

[1] «Сибирские записки», 1917, № 4—5, стр. 123.

П. БОРОВСКИЙ

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОЛСТОЛЕТИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА

Летопись борьбы и побед

1920 год

1 января. Идут бои в районе Успенской площади (ныне площадь Декабристов). Это третье наступление, организованное Центральным штабом красных рабочих дружин. Рабочие и солдаты перешли по льду Ушаковки, продвинулись по 1-й Иерусалимской улице (ныне 1-я Советская), заняли район детской больницы.

Из освобожденных политических заключенных сформирована дружина в 250 штыков.

2 января. Иркутский партийный комитет на совещании актива принял решение о развитии и расширении восстания против колчаковского правительства.

— С двенадцати часов 2 января до двенадцати часов 3 января было заключено перемирие, которое было потом продолжено до двадцати четырех часов 3 января.

— В четырнадцать часов на станции Иркутск в салон-вагоне генерала Жанена начались переговоры о передаче колчаковским правительством власти Политцентру.

3 января. У генерала Жанена проводится второе совещание-переговоры. Представители Политцентра заявили, что они против эвакуации оставшихся колчаковских воинских частей, так как «эвакуация армии на восток означает оставление всей территории на запад от Байкала в пользу большевиков». Меньшевик Ахматов откровенно заявил:

— Мы предлагаем здесь образовать буферное государство и демократическое правительство, не покидая мысли о борьбе с большевизмом.

Перемирие продолжено еще на сутки.

4 января. Проводится заседание Иркутского комитета РКП(б), пока еще нелегально. Члены комитета присутствуют под вымышленными именами: Глеб (И. В. Сурнов), Илья (А. А. Ширямов), Кепка (И. М. Касаткин), Моисей (М. И. Бронштейн), Смелый (Лапин).

Обсуждаются информация Глеба (И. В. Сурнова), как представителя большевиков при Политцентре, а также вопросы о лучшей организации работы Центрального штаба рабоче-крестьянских дружин.

— Вечером генерал Сычев бежал по направлению к Лиственичной с ценностями из государственного банка. У Амурских ворот вблизи Крестовоздвиженской церкви обоз с ценностями был отбит дружинниками и возвращен в банк.

Чешское командование взяло под свою охрану адмирала Колчака и золотой запас. Русские солдаты, охранявшие золотой запас, категорически отказались оставить свои посты и передать их чехословацким солдатам. Была установлена совместная охрана от чехословацких войск и от восставших частей.

— Ночью революционные дружины перешли Ушаковский мост, двинулись в центральную часть города, без боя заняли телеграф, банк, почту. При дальнейшем продвижении произошла встреча с повстанцами, двигающимися из Глазково (ныне Свердловский район). В ту же ночь были арестованы многие из министров колчаковского правительства.

5 января. Адмирал Колчак в своем дневнике сделал запись: «Сегодня я начал передачу поезда с государственными ценностями под охрану чехословацкой вооруженной силы».

В этот же день Колчак подписал акт об отречении от верховного управления Россией в пользу генерала Деникина.

— Политцентр объявил себя властью на территории от Иркутска до Красноярска.

— Иркутский комитет РКП(б) рассмотрел вопрос о персональном составе и текущих задачах комитета. Комитет сформирован в составе: К. И. Миронов (Икс), И. М. Касаткин (Кепка), М. И. Бронштейн (Моисей), Гудковский, В. В. Рябиков, М. И. Ербанов (Михей), Краснощеков. На заседании выступил представитель Советской России (ЦК РКП(б) с информацией о внутриполитическом и продовольственном положении республики, об экономической политике Советского правительства.

— На совместном совещании Иркутского комитета РКП(б) и Центрального штаба рабоче-крестьянских дружин решено: до выяснения положения с золотым запасом, в борьбе за который выяснится действительная сила чехословаков, вооруженное выступление отложить. Также решено перенести свою резиденцию в город, заняв комнаты гостиницы

«Гранд-отель» (ныне помещение Кировского райкома партии и райисполкома — ул. Литвинова и Карла Маркса).

— Организовано торжественное шествие революционных дружин и повстанцев из Знаменского предместья (предместье Марата) по городу. Многие вооруженные части шли с лозунгами «Вся власть Советам!». На Ушаковском мосту был проведен митинг. От комитета РКП(б) собравшихся приветствовали И. В. Сурнов и Краснощеков. Шествие прошло по улицам города.

6 января. К председателю губернской земской управы явился бывший заместитель председателя Совета Министров колчаковского правительства Червен-Водали. Представитель Политцентра объявил министра арестованным и он был препровожден в губернскую тюрьму в одиночную камеру.

— С парохода «Александр I» неизвестными лицами был сорван японский флаг явно с провокационной целью, дающей возможность вмешаться японцам в происходящие события в Иркутске. Конфликт с трудом был улажен дипломатическим путем.

Зверски убиты заложники, увезенные генералом Сычевым из Иркутска. Они были помещены в каюту ледокола «Ангара» на станции Байкал. По пути в Лиственичное их по очереди выводили на палубу, подводили к корме, били по голове деревянной колотушкой и сбрасывали в воду.

7 января. На совместном совещании Иркутского комитета РКП(б) и Центрального штаба рабоче-крестьянских дружин заслушан доклад Антона (А. Я. Флюкова) о состоянии вооруженных сил и формировании крестьянских дружин. Решено взять в свое ведение вопросы труда и снабжения, отстранив от вмешательства в эти вопросы Политцентр.

— Политцентр сформировал делегацию для переговоров о мире с наступающей Красной Армией. В состав делегации вошли: от социал-демократов (меньшевиков) И. И. Ахматов (председатель делегации), от эсеров — В. М. Коногов, от земства — Е. Е. Колосов.

— В четырнадцать часов Политцентр дал согласие командующему союзными войсками Жанену пропустить беспрепятственно поезд с адмиралом Колчаком за пределы Сибири, но в шесть часов вечера составленный акт по этому поводу подписать отказался.

— Из-за недовольства солдат старыми порядками в армии штаб народно-революционной армии Политцентра вынужден был издать приказ об отмене погон и кокард колчаковского образца и замене их «наружным щитком защитного цвета». Но старый колчаковский офицерско-командный состав сохранялся.

10 января. В «Бюллетене информационного бюро Политцентра» приведен список заложников, захваченных семеновцами и казненных на ледоколе «Ангара».

10—11 января. Политцентр провел выборы представителей во временный Сибирский совет народного управления, к которому должна перейти вся полнота власти. В Совет вошли: шесть представителей от земств, три от городской думы, три от кооперативных организаций, три от объединенного трудового крестьянства и три от профсоюзных объединений.

11 января. Делегатское собрание Иркутского губернского Совета профессиональных Союзов потребовало от Политцентра передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

— Из Иркутска навстречу Красной Армии выехала под охраной чехов сформированная Политцентром «мирная делегация», перед которой была поставлена задача договориться с командованием Красной Армии об образовании буферного государства в Восточной Сибири.

— Вышли первые номера газет «Рабочий и крестьянин» — орган Центрального штаба рабоче-крестьянских дружин, «Известия рабочей дружины» — орган глазковской рабочей дружины.

12 января. Политцентр провел совещание созданного им Временного Совета народного управления. Представители большевистской партии в Совете отсутствовали.

Совет принял и утвердил декларацию, предложенную Политцентром: в области политической — прекращение состояния войны с Советской Россией; борьба с внутренней реакцией; установление договорных отношений с иностранными государствами; созыв Сибирского народного собрания; созыв Учредительного собрания. В области народного хозяйства — коллективизация и национализация угольной промышленности и транспорта и промышленности по обработке сырья, предназначенного для товарообмена с иностранными державами; временное, не предрешающее окончательного разрешения земельного вопроса, а лишь регулирование земельных отношений на основе решений Всероссийского учредительного собрания.

— Иркутский Губпрофсовет вручил Политцентру резолюцию с требованием передать власть Советам рабочих и солдатских депутатов.

— Вышла однодневная студенческая газета «Татьянин день».

13 января. К Иркутску приближается поезд с адмиралом Колчаком и золотым запасом. На станции Черемхово шесть тысяч рабочих-шахтеров вышли с плакатами, на которых было написано: «Не дадим угля, пока не выдадите Колчака». Поезд с Колчаком проскочил мимо Черемхово. Но рабочие дружинники нагнали его на станции Половина, установили охрану Колчака в его вагоне.

— Состоялось второе заседание Временного совета народного управления. Сформирован президиум Совета в составе: Я. Н. Ходукин (председатель), И. И. Галактионов (товарищ председателя), Сикорский (секретарь). Политцентр постановил считать уволенными министров, товарищей министров, главноуправляющих и их товарищей всех ведомств свергнутого правительства адмирала Колчака, а равно управляющего делами Совета Министров от их занимаемых должностей с 27 декабря 1919 года. Об их аресте или изоляции не было и речи.

— Начальник штаба иркутских коммунистических отрядов сообщил через Красноярск в Москву газете «Правда»: «На все командные должности гарнизона поставлены коммунисты. Весь гарнизон ждет приказаний от коммунистического штаба. Присутствие чехов и японцев, стоящих в оппозиции к нам и располагающих достаточными силами, парализует действие, отодвигая момент Советского переворота. Магистраль Иркутск—Верхоленск занята чехами и японцами. Крупные силы партизан постепенно охватывают Иркутск кольцом. Часть правительства Колчака арестована. Сам Колчак проехал станцию Зима. В Черемхово поставлен крепкий заслон и будет предъявлен ультиматум о выдаче Колчака. В противном случае будет отдан приказ об открытии военных действий. Все усилия партизан направлены к восстановлению Советской власти. Вокруг Иркутска Советская власть уже восстановлена. Все члены Иркутского Советского штаба коммунисты. Эсеры и меньшевики никакого влияния на массы не имеют».

Это сообщение было опубликовано в газете «Правда» 21 января.

— Вышел первый номер социалистической газеты «Народная мысль».

— Вышла газета «Знамя борьбы» — орган автономной группы левых социал-революционеров под лозунгом: «Вся власть Советам!»

14 января. Коммунисты станции Иннокентьевская (ныне Иркутск-сортировочный) на своем собрании заявили, что они пожертвуют всем,

включительно до жизни, для осуществления лозунга «Вся власть Советам!»

— Дипломатический корпус иностранных держав покинул Иркутск.

15 января. Союзники передали Колчака представителям Политцентра. Колчак и Пепеляев направлены в иркутскую тюрьму.

— В Иркутск прибыл «золотой эшелон».

— На собрании союза печатников признано, что вся полнота власти на территории Российского государства безраздельно должна принадлежать Советам рабочих и крестьянских депутатов.

16 января. На третьем заседании Временного Совета народного управления обсуждались обстоятельства зверского убийства 31 заложника. Больше всего члены Совета выражали негодование по поводу убийства представителей Политцентра, эсеров, оказавшихся среди заложников. На этом же заседании Политцентр утвержден правительственным органом. Состоялась встреча делегации Политцентра с командующим союзными войсками генералом Жаненом. В состав делегации входили А. А. Иваницкий, Я. Н. Ходукин, представитель штаба народной армии П. И. Кириллов.

На вопрос, что думает Жанен о намерении японцев ввести свои войска в Иркутск, генерал ответил: «Может быть, японцы рассчитывают, что вы не сможете противопоставить ваши силы Советской Армии. Возможно, что придется ввести войска для противодействия большевистскому продвижению... Решение японцев может быть предпринято лишь с согласия парламента, который должен обсуждать этот вопрос между 10 и 15 января».

На вопрос о сохранности золотого запаса России Жанен заявил: «Высокие комиссары желают сохранить золото для русского народа и думают, что его необходимо было бы держать в безопасном месте».

Генерал не мог откровенно сказать, что союзники надеются воспользоваться этим золотом, как оплатой за помощь в борьбе с Советской Россией: в период царствования Колчака немало ценностей из этого запаса перешло в банки союзников.

Утратив всякое чувство достоинства, делегация унизительно просит Жанена: «Может быть, вы, господин генерал, разрешите ввести наши части до пределов станции Мысовой?».

Жанен: «Если мы вам разрешим предпринять этот шаг, то это будет против нашего соглашения с Японией. Лучше было бы устроить совместное совещание представителей Японии, Америки и меня с вами».

17 января. Делегация Политцентра встретилась с представителем Америки полковником Марроу. Он заявил: «Всем выступающим против порядка придется столкнуться с американскими войсками».

Это была прямая угроза интервенцией.

— На общем собрании солдат Первого революционного отдельного батальона по докладу коммуниста Громова было вынесено решение «О необходимости немедленного создания Советов рабочих и крестьянских депутатов с передачей им всей полноты власти». «Не признавая за Политическим центром права быть властью, мы заявляем: долой ту торговлю, которую думает вести Политический центр с Советской властью. Да здравствует Федеративная Советская Республика! Да здравствует Совет Народных комиссаров! Да здравствует III Интернационал!»

— В городском театре шел спектакль «Потонувший колокол», поставленный театральной труппой в антрепризе Н. И. Дубова. В составе труппы: Самарин-Эльский, Невская, Борцова, Камиэ и др. В репертуаре театра пьесы: «Мария Стюарт», «Лес», «Казнь», «Три сестры» и др.

18 января. Состоялись торжественные похороны павших в боях с колчаковцами рабочих-дружинников, солдат и партизан (всего 145 человек). У братских могил на горе коммунаров (возле нынешнего ЦПКиО) проведен митинг под лозунгом быстрейшего восстановления власти Советов.

Политцентр постановил перечислить для своих нужд из Госбанка 5 925 000 рублей для партии эсеров; военно-социалистическому союзу — 2 432 500 рублей и на другие расходы 2 000 000 рублей, всего 10 375 500 рублей. Но зато Политцентр отказал в помощи нижнеудинцам в их борьбе с белогвардейщиной.

19 января. Состоялись переговоры мирной делегации Политцентра с Реввоенсоветом 5-й Армии и с Сибревкомом. Делегация требовала прекратить продвижение 5-й Армии на Восток и дать возможность создать в Восточной Сибири буферное «демократическое» государство. Председатель Сибревкома И. Н. Смирнов заявил, что Красная Армия должна дойти до Байкала, а буферное государство может быть организовано лишь в Забайкалье. «Мы сообщим в Москву наше мнение», — сказал в заключение И. Н. Смирнов.

«Относительно золотого запаса,— писалось в протоколе переговоров,— т. Ахматов (председатель делегации Политцентра) полагает, что гарантировать оставление ценностей в России Политцентр не может, так как для этого у него нет надлежащих военных сил».

— Со станции Иркутск отошел на восток поезд с отрядом японцев в составе пяти рот.

20 января. Руководящими партийными органами создан военно-революционный комитет. В него вошли: А. А. Ширямов, Д. К. Чудинов, А. Л. Сноскарев, И. В. Сурнов, В. И. Литвинов.

— ЦК сибирских организаций РКП(б), Иркутский комитет РКП(б), Центральный штаб рабоче-крестьянских дружин на совместном совещании постановили: предложить Политцентру до созыва Советов, который намечен на 25 января, передать власть Военно-революционному комитету.

— Произошла встреча представителей Иркутского комитета РКП(б) с Политцентром по обсуждению вопроса о передаче власти последним Военно-революционному комитету.

— Газеты сообщают, что по сведениям чехословацкого командования установлены главные виновники гибели 31 заложника на ледоколе «Ангара» — это полковник Сипайло, штабс-капитан Годлевский, зауряд-капитан Грант, казак Лукин, солдат Карапетов, агент контрразведки Бабосов, солдат Гладышев, полковник Понтович, агент контрразведки Молчанов.

— Медицинское отделение физико-математического факультета госуниверситета реорганизовано в самостоятельный медицинский факультет.

21 января. Партийные и советские организации Иркутска объявили о переходе власти в руки Военно-революционного комитета.

Иркутский Военно-революционный комитет издал приказ о взятии им власти и принятии мер по укреплению власти Советов рабочих, солдатских депутатов.

Приказом назначаются: временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточной Сибири А. Г. Нестеров, комиссаром финансов В. Литвинов, комиссаром министерств свергнутого правительства Колчака — Д. Чудинов, председателем следственной комиссии — С. Чудновский, управляющим делами Ревкома — Оборин.

Собрание делегатов профсоюзов г. Иркутска решило, что рабочие избирают в Совет одного депутата от 50 человек, воинские части — по одному депутату от одной роты.

— Реввоенсоветом 5-й Армии получена телеграмма В. И. Ленина, в которой говорится: «В отношении буферного ваше предложение одобряю. Необходимо лишь твердо установить, чтобы наш представитель или лучше два представителя при Политцентре были осведомлены обо всех решениях, имели право присут-

ствия на всех совещаниях Политцентра».

— В период властвования Политцентра плата за чтение в городской библиотеке увеличилась с трех до десяти рублей в месяц.

22 января. Состоялась официальная передача Политцентром всей полноты власти Военно-революционному комитету. Акт передачи власти подписали: от Политцентра его председатель Ф. Федорович, члены А. Самохин, Л. Гольдман, Л. Герштейн, А. Иванинский-Василенко, Б. Косминский, секретарь Ваксберг; от Военно-революционного комитета — председатель его А. Ширямов, члены Д. К. Чудинов, В. Литвинов, И. Сурнов, А. Снoскарев.

— Военно-революционный комитет приказом № 2 предложил всем, борющимся против Советской власти, сложить оружие. При этом Ревком объявляет о состоявшемся постановлении Совнаркома Советской Республики об отмене высшей меры наказания к врагам народа — расстрела, и, таким образом, немедленная и беспрекословная сдача упоминаемых частей гарантирует им персонально сохранение жизни при разборе их дел судом Республики.

— За подписью Чудинова от имени Реввоенсовета издан приказ, в котором говорится: «Все государственные, общественные и частные учреждения должны производить работу в обычном порядке. Все должностные лица и служащие этих учреждений должны оставаться на своих местах впредь до особого распоряжения. Виновные в неисполнении сего приказа подлежат строгой ответственности перед Ревкомом».

23 января. Приказом Ревкома командующим Восточно-Сибирской армией назначен Д. Е. Зверев, его помощником А. Г. Нестеров, комиссаром труда и промышленности Яков Шумяцкий, комиссаром транспорта В. В. Рябиков, комиссаром Советского управления И. В. Сурнов.

— Создан военно-гражданский комиссариат здравоохранения. Председателем, с правами комиссара, назначен Ф. Н. Петров.

24 января. Иркутский Военно-революционный комитет постановил произвести «учет всех товаров, продовольствия, фуража, фабрикатов, полуфабрикатов и сырья всех видов, принадлежавших фирмам и частным лицам». Военно-революционный комитет запретил оптовую торговлю, продажу или передачу предприятий иностранным подданным, запретил также вывоз продуктов из Иркутска.

— Вышли первые номера газет: «Известия иркутского Военно-революционного комитета» и «Красная Армия».

25 января. В 6 часов вечера состоялось первое заседание Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов. Присутствует 543 депутата, из них 336 коммунистов, 16 эсеров, 79 левых эсеров, 25 меньшевиков, 5 анархистов. Совет отправил приветственную телеграмму В. И. Ленину.

Открыл заседание Совета председатель Военно-революционного комитета А. Ширямов словами: «Советская власть сделала только перерыв в своей деятельности — ныне перерыв кончился и с сегодняшнего дня она во веки веков будет защищать трудящихся и угнетаемых от насилия реакции. Да здравствует власть Советов!»

С приветствием выступил Н. А. Каландарашвили. Он говорил: «Ровно два года тому назад эту шашку я получил от Иркутского Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казацких депутатов. Ныне, совершив долгий, кровавый путь, я пришел к новому составу Совета, пришел для того, чтобы рассказать о том, что сделала эта шашка. По наказу Совета она должна была обнажаться только против угнетателей народа и ею же я должен был защищать сирот, женщин и обездоленных от людской неправды и жестокости. И сейчас я открыто заявляю вам, что данный мне наказ мною выполнен честно».

26 января. Проходит второй день заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов. Заслушан доклад А. Ширямова о деятельности Военно-революционного комитета. Работа комитета одобрена. Избирается исполком Совета, в который вошли А. Ширямов (председатель), К. Миронов (заместитель), В. Онучин (секретарь), И. Сурнов, А. Снoскарев, Д. Чудинов, Я. Шумяцкий, В. Литвинов, Левенсон и другие.

27 января. Ввиду возникновения угрозы со стороны приближающихся к Иркутску остатков колчаковских войск Военно-революционный комитет издал приказ о введении военного положения в г. Иркутске.

— В Утае умер генерал Каппель. Командование войсками перешло к генералу Войцеховскому.

28 января. Сообщается, что произведена национализация золотых Бодайбинских приисков.

— Чрезвычайная следственная комиссия, возглавляемая С. Чудновским, начала допрос адмирала Колчака.

29 января. Произведя с воздуха разведку головных каппелевских сил, наступающих на Иркутск, установили, что войска Каппеля вошли в Куйтун.

— В газете «Дело» группа поэтов — Г. Вяткин, А. Оборин, К. Дубровский и другие — извещает об организационном собрании, которое назначено на 30 января, по вопросу издания сборника стихов.

30 января. Иркутский Совет сформировал ревтрибунал в составе: Гаврилов, Касаткин, Лапин, Щербина, Бабкин, Кожев.

— Комиссар по просвещению собрал представителей всех учебных заведений для обсуждения вопроса организации занятий в школе в текущем полугодии.

31 января. Военно-революционный комитет объявил Иркутск на осадном положении ввиду приближения вражеских каппелевских войск.

— «Известия иркутского Военно-революционного комитета» сообщают, что Центросовет передал власть иркутскому Военно-революционному комитету, прекратив свою деятельность.

— В Иркутске проводится «День русского актера». По окончании спектакля в первом общественном собрании и городском театре состоялись артистические рауты. С разрешения Военно-революционного комитета билеты в театры в этот день являлись пропусками для движения по городу до 10 часов ночи.

1 февраля. За номером 9 Ревком издал приказ, в котором говорится: «31 января с. г. в 2 часа дня по Жандармской ул. № 35 было совершено дерзкое разбойное нападение на квартиру граждан Цицарского и Мякишева. Грабители были одеты в форму бойцов Красной Армии с красными лентами на шапках. Стоя на страже революционного порядка, Военно-революционный комитет в целях пресечения подобного рода преступлений на основании военного положения постановил: пойманных на месте преступления Эдуарда Ромбарта, Пьянкова, Ивана Церетели и Витольда Герваровского — расстрелять. Вместе с тем Военно-революционный комитет предписывает впредь в случаях вооруженных грабежей пойманных грабителей и разбойников расстреливать на месте».

— Состоялось собрание журналистов по вопросу организации своего профессионального союза.

— В «Известиях иркутского Военно-революционного комитета» помещено объявление: «Я, Василий Беспалов, всем своим существом приветствую постановление ВЦИК об отмене смертной казни и как артист-певец не могу пропустить молча такой исключительный шаг в жизни людей. В честь этого великого события я буду петь в воскресенье 8 февраля с. г. в первом общественном собрании с 1 часу до 2,5 часа дня. Подробности концертной программы в афишах. Вход в зал свободный».

2 февраля. Проходит I иркутская губернская партийная конференция. На повестке дня: 1) текущий мо-

мент и задачи парторганизации; 2) выборы губкома партии.

3 февраля. В газете «Красная Армия» опубликовано обращение Военного комиссариата Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов «Красный Иркутск в опасности». В обращении говорится: ...«Голодные, полузамерзшие части остатков колчаковских войск, собирая последние силы, стремятся на Иркутск... Грабежи и насилия — вот оружие этих банд. Рабочие и крестьяне, все как один вставайте на защиту нашего красного Иркутска. Рабочие и солдаты, перед нами славная задача, защита красного Иркутска — сердца Советской Сибири».

— Командующий каппелевскими войсками генерал Войцеховский предъявил Военно-революционному комитету ультиматум: выдать Колчака, министров и эшелон с золотым запасом.

— На заседании Иркутского комитета РКП(б) обсуждаются меры обороны Иркутска с связи с подходом каппелевских войск.

— Чрезвычайная следственная комиссия представила в Военно-революционный комитет список 18 человек, которых комиссия сочла необходимым приговорить к расстрелу. Среди них Колчак и Пепеляев.

— Иркутский Военно-революционный комитет образовал при Ревкоме военно-революционный трибунал в составе пяти человек.

— Состоялось собрание Совета немецкой и мадьярской секции интернационалистов при Центральном штабе рабоче-крестьянских дружин. Комиссаром отряда избран Шандор Ланперт (мадьярская секция), помощником Карл Бауэр (от немецкой секции).

— Комиссар просвещения Д. К. Чудинов издал приказ о внесении упрощений правописания во всех учебных заведениях по новым правилам.

4 февраля. Начальником обороны г. Иркутска назначен член Военно-революционного комитета А. Л. Сноскарев.

— Газета «Известия Военно-революционного комитета» вышла с призывом: «Красный Иркутск в опасности! К оружию! Все на защиту сердца Советской Сибири! Пусть преступная нога душителей трудового народа не осквернит улиц города, политых пролетарской кровью!»

— Собрание командного состава Иркутской кавалерийской советской дивизии вынесло резолюцию о поддержке Советской власти.

— Комиссариат просвещения постановил: «Женское епархиальное училище, как не отвечающее требованиям современных средних учебных заведений,— закрывается. Восемь учениц 6-го класса переводятся в Иркутский женский институт».

5 февраля. Председатель Военно-революционного комитета А. А. Ширямов отдал распоряжение главкому Д. Е. Звереву: «Кончайте скорее с Каппелем... Он не должен быть допущен до города. Надо одним ударом на наиболее удобной позиции покончить с ним, чтобы развязать скорее себе руки на случай нападения чехов».

В этот же день Д. Е. Зверев отдал приказ: «В интересах пролетарской революции и полной победы над жалкими остатками черной реакции в лице кучки контрреволюционного офицерства, приказываю: всем войскам Восточно-Сибирской армии беспощадно уничтожать сопротивляющиеся с оружием в руках жалкие остатки войск Каппеля. Право уничтожения бандитов, врагов рабочих и крестьян, дано каждому в отдельности красноармейцу. Всем же врагам, добровольно сдавшимся и сложившим оружие, приказываю не чинить никаких насилий. Всех, добровольно перешедших до принятия боя с советскими войсками, препровождать в распоряжение политических комитетов частей».

5—7 февраля. Восточно-Сибирская советская армия, созданная из партизанских отрядов, разгромила в боях каппелевские воинские части, устранила угрозу захвата ими Иркутска. Активное участие в разгроме каппелевцев принимал отряд Каландарашвили.

6 февраля. Иркутский Военно-революционный комитет вынес постановление, в котором говорилось: ...«в городе существует тайная организация, ставящая своей целью освобождение одного из тягчайших преступников против трудящихся — Колчака — и его сподвижников. Во избежание излишних жертв Военно-революционный комитет постановил:

1) бывшего верховного правителя адмирала Колчака и

2) бывшего председателя Совета Министров Пепеляева расстрелять.

Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».

Постановление подписали председатель Ревкома А. Ширямов и члены ревкома. В тот же день Военно-революционным комитетом был издан приказ: «Ни в коем случае не допустить движения по линии Заб. жел. дороги на восток от Иркутска поезда с золотым запасом России, кто бы его ни сопровождал».

— В Военно-революционный комитет прибыла чешская делегация для мирных переговоров.

— За подписью комиссара просвещения Д. К. Чудинова издано постановление о прекращении преподавания в учебных заведениях закона божия.

7 февраля. В пять часов утра в присутствии председателя Чрезвычайной следственной комиссии С. Чудновского, коменданта г. Иркутска и коменданта Иркутской тюрьмы были расстреляны адмирал Колчак и Пепеляев.

На заседании Сибирского комитета РКП(б) решено настоящий комитет ликвидировать. Его члены А. А. Ширямов, К. В. Миронов, И. В. Сурнов, Я. Щумяцкий вошли в новый состав губкома РКП(б).

7—8 февраля. Советские воинские части продолжали наносить удары по каппелевским войскам, заняв станции Тельма, Мальта, Усолье, Усть-Кут, Белектуй. Противник окружен и несет большие потери.

10 февраля. Советские войска заняли станции Иннокентьевская и Батарейная. Ввиду того, что опасность нападения на Иркутск со стороны каппелевских войск миновала, осадное положение в Иркутске снято. Военное положение еще сохраняется.

— Приказом комиссара отдела советского управления Иркутской губернии иркутское уездное земство упраздняется. Приказ подписан заместителем комиссара отдела Сов. управления — М. Е. Ербановым.

— Арестован бывший заместитель управляющего губернией Церерин.

11 февраля. После разгрома каппелевских войск в Иркутск прибыл командующий Восточно-Сибирской советской армией Д. Е. Зверев со своим штабом. В 14 часов состоялся парад войск перед зданием Военно-революционного комитета, с приветственной речью к войскам обратился А. А. Ширямов.

Командование Восточно-Сибирской советской армии особым приказом выделило Забайкальскую группу войск в составе частей: 7-й Забайкальской дивизии, 1-го кавалерийского дивизиона, 1-й интернациональной бригады и Верхоленского полка. Командующим назначен Н. А. Каландарашвили.

— В Иркутск прибыл уполномоченный наркома путей сообщения — Рудый.

13 февраля. Снято военное положение в Иркутске и по всей губернии.

— Губернский отдел народного образования постановил: «Произвести опись галереи Сукачева и дать заключение о ее состоянии и о том, найдется ли для нее в городе подходящее помещение. В связи с последним посмотреть помещение бывшее Второва и дать заключение о пригодности его для галереи Сукачева».

— Городской театр передан в ведение города. Идейное руководство осуществляется политотделом искусств.

14 февраля. Началась реорганизация университета. Юридический и историко-филологический факультеты слиты в один, гуманитарный. Определен новый состав Совета: 78 профессоров, 26 представителей студенчества.

— Газета «Известия иркутского Революционного комитета» публикует постановление комиссара народного просвещения о закрытии Иркутского женского института и реорганизации его в первую Иркутскую гимназию. Временно заведующей гимназией назначена О. И. Патлых.

16 февраля. В городском театре заседал Совет рабочих и крестьянских, красноармейских депутатов. От 5-й Армии Совет приветствовал председатель Сибревкома И. Н. Смирнов.

— Совет рабочих и армейских депутатов вынес решение о переходе всей полноты власти в г. Иркутске и губернии от Военно-революционного комитета г. Иркутска к губернскому революционному комитету. Председатель — Я. Д. Янсон, члены — А. Ширямов, А. Флюков.

— Губернский революционный комитет утвердил заведующих отделами комитета.

— Отдел труда и промышленности преобразован в Иркутский губернский совет народного хозяйства (совнархоз).

— Кожевенный завод, принадлежавший С. И. Фуксы, передан в распоряжение Ирсоюза.

— В здании бывшего института благородных девиц 58 комнат предоставлены для размещения народного университета и его студий.

17 февраля. Сибревком послал телеграмму В. И. Ленину, в которой говорится: «Сообщаем о находящихся в нашем распоряжении ценностях, захваченных от павшей власти. На вокзале в Иркутске находится в вагонах под смешанной охраной — нашей и чехов — запас золота по оценке 5 руб. 50 коп. золотом золотник: в слитках на 13 005 359 руб. 45 коп., в монетах на 396 062 743 руб. 78 коп., всего на 409 068 103 руб. 28 коп.»

— Забайкальская группа войск двинулась из Иркутска в Забайкалье на соединение с партизанскими отрядами и 23 февраля вступила в село Кудару Усть-Селенгинского района.

18 февраля. Постановлением Иркутского губернского революционного комитета все денежные знаки бывшего правительства аннулированы. Вводятся в обращение денежные знаки: а) действующие на территории РСФСР, б) «романовские» и «керенские».

20 февраля. Постановлением губревкома городская дума и городская управа распущены. Дела сдаются назначенному губревкомом заведующему коммунальным отделом В. В. Рябикову. Он же назначается комиссаром Забайкальской железной дороги.

— Состоялось организационное собрание трудовой молодежи, положившее начало иркутской организации Российского Коммунистического Союза молодежи. Избрано временное бюро в составе пяти человек.

21 февраля. Постановлением губревкома организована чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом (чекатиф). Председателем комиссии назначен доктор Ф. Н. Петров (исполняющий обязанности комиссара здравоохранения).

— Губревком постановил: «... Сукачевская галерея национализируется, все ее имущество передается в распоряжение губернского отдела народного образования...»

22 февраля. Состоялось общегородское собрание коммунистов. Присутствовало 400 человек. Собрание вынесло резолюцию об установлении партийной дисциплины и партийного суда.

23 февраля. В честь двухлетия со дня создания Красной Армии на Тихвинской площади (ныне сквер им. Кирова) состоялся парад войск Иркутского гарнизона.

Части 5-й Армии вступили на станцию Иннокентьевскую (ныне Иркутск-сортировочный).

25 февраля. На заводе «Ангарометалл» начато производство металла.

— Создан Иркутский отдел РОСТа.

26 февраля. В женском институте состоялось собрание коммунистов-большевиков городского района. На собрании выступил Я. Д. Янсон.

— По приказу Иркутского губревкома из частей Вост.-Сиб. армии началось формирование 1-й Иркутской стрелковой дивизии трехбригадного состава. Командиром дивизии назначен В. И. Буров, комиссаром А. А. Ширямов. Командованию дивизии были также подчинены партизанский отряд Н. А. Бурлова (бывшая 2-я Братская партизанская дивизия) и части Забайкальской группы советских войск.

27 февраля. Проведена проверка фонда золотого запаса. Проверка подтвердила сохранность того фонда, который был взят у колчаковских властей, ценностей учтено на 409 068 103 руб. 23 коп.

28 февраля. Создана Иркутская губернская учетно-реквизиционная комиссия (губучрекком) из представителей от иркутского губревкома, от губсовнархоза, от губпродкома, от Поарма 5, от госконтроля. На учет брались товары, не только брошенные колчаковцами, но и запасы местных купцов, частных предприятий, а также товары американских фирм.

29 февраля. Отдел здравоохранения постановил: «Ввиду грозного развития эпидемических болезней и в целях предупреждения передачи их через рукожатие,— приветствия в виде рукопожатий отменить».

1 марта. Вышел первый номер журнала «Сибирская правда»— орган Иркутского комитета РКП(б).

2 марта. В советском театре (гортеатр) идет опера «Русалка». В военном театре для солдат идет «Псиша».

3 марта. В Иркутске проведена национализация всех аптек и находящихся в них медикаментов.

— Ряд иркутских большевистских деятелей вошли в образованное Дальневосточное бюро РКП(б).

5 марта. Ввиду того, что город Иркутск находится в прифронтовой полосе, город объявлен вновь на военном положении.

6 марта. Началась переброска частей 1-й Иркутской стрелковой дивизии из Иркутска в Забайкалье, против атамана Семенова.

7 марта. В Иркутск торжественно вступила 30-я дивизия 5-й Армии под командованием А. Я. Лапина. Город заранее был украшен ледяными арками, статуями, красными полотнищами и флагами.

Газета «Известия иркутского губернского Рев. комитета» вышла с красными заголовками, с материалами, посвященными встрече освободителей Сибири от колчаковщины — 5-й Армии.

Торжественное вступление войск 5-й Армии подробно освещала газета «Власть труда». В ней писалось: «В 10 часов утра сгрудилась огромная масса народа на Ангаре. Горячие приветствия и несмолкаемые крики «ура». Впереди идет конница уральцев, за ней старый Красноуфимский полк и другие части 30-й Советской дивизии. На Тихвинской площади выстроился шпалерами местный гарнизон, представители партии, союзов и масса неорганизованной публики. Произносятся приветственные речи. Над площадью аэропланы, сбрасывающие прокламации и различные воззвания. В 3-м часу войска проходят мимо Ревкома, приветствуя доблестного командира 30-й дивизии тов. Лапина, идут в казармы. Вечером город иллюминирован».

АЛЬМАНАХ „АНГАРА“ № 4

Худож. редактор А. И. Аносов

Техн. редактор А. В. Пономарева

Корректор Л. А. Васильева

Сдано в набор 14 октября 1966 г. Подписано в печать 1 декабря 1966 г. Печ. л. 12,18 + вклейки 1 л. Уч.-изд. л. 17,91. Бумага типографская № 2, формата 84 X 108 1/16. Тираж 4000. Заказ № К-537. НЕ 06287. Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.

Типография № 1 областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

